

Аверинцев и Мандельштам



РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Мандельштамовское общество

Кабинет
мандельштамоведения
научной библиотеки
РГГУ

Аверинцев и Мандельштам

Статьи и материалы

Москва
2011

УДК 82(08)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6я43
А19

Записки Манделъштамовского общества. Выпуск 17

Редколлегия:

М. Гаспаров, Г. Кнабе, О. Лекманов,
Д. Мамедова (секретарь),
П. Нерлер (председатель), Ю. Фрейдин

Редакторы-составители:
П. Нерлер, Д. Мамедова

Художник Михаил Гуров

ISBN 978-5-7281-1182-5

© Мамедова Д., сост., 2011
© Нерлер П., сост., 2011
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2011

Памяти Сергея Сергеевича Аверинцева

Содержание

<i>От составителей</i>	9
Мандельштамиада Сергея Аверинцева	11
<i>Сергей Аверинцев</i> Статьи об Осипе Мандельштаме	
«Мы – смысловики...»	19
Ответы С.С. Аверинцева на анкету журнала «Вестник Русского христианского движения» .	25
Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления	29
Судьба и весть Осипа Мандельштама	37
«Золотистого меда струя из бутылки текла...»	120
Так почему же все-таки Мандельштам?	123
«Город изгнания, город беды...»	132
Хорей у Мандельштама	134
Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама	147
Предисловие к книге Елены Глазовой «Поэтика Мандельштама: сдвиг к постмодернизму»	155
Из переписки об Осипе Мандельштаме	159
Памяти Иосифа Бродского	165
Набросок к статье «Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама»	166

Приложения

1. Воспоминания о С.С. Аверинцеве	171
Н. Брагинская	171
Л. Жуков	173
О. Лекманов	175
П. Нерлер	176
О. Седакова	178
Н. Струве	181
Ю. Фрейдин	183
Р.-М. Циглер	185
Д. Черашняя	190
Р. Гальцева	206
2. Вечер памяти С.С. Аверинцева в РГГУ 18 мая 2004 года (Стенограмма)	218
3. Конспекты лекций С.С. Аверинцева 1970-х годов .	257
4. Курсы лекций, прочитанные С.С. Аверинцевым в Венском университете	300
5. Из переписки с С.Н. Есиным	306
Мандельштамиана Сергея Аверинцева (Библиография)	309

От составителей

Сергей Сергеевич Аверинцев, крупнейший гуманитарий своего времени, был одним из самых глубоких исследователей творчества Осипа Мандельштама и первым председателем Мандельштамовского общества.

Настоящий сборник – знак благодарной памяти о Сергее Сергеевиче. По своей структуре он мандельштамоцентричен и начинается с его биографического очерка, в центре которого находятся мандельштамоведческие аспекты жизни и творчества Аверинцева.

Статьи ученого об О.Э. Мандельштаме, а также некоторые письма о нем составили основу сборника. В Приложениях помещен материал, выходящий за рамки чистого мандельштамоцентризма. Он включает подборку воспоминаний о С.С. Аверинцеве, а также стенограмму вечера его памяти, состоявшегося в Профессорской аудитории РГГУ 18 мая 2004 г. Кроме того, книга содержит конспекты лекций С.С. Аверинцева, ранее не публиковавшиеся. Завершает сборник «Мандельштамиана Сергея Аверинцева», библиография публикаций ученого о поэте.

Составители сердечно благодарят издателей А. Кошелева («Языки русской культуры»), Н. Струве («УМСА-Press»), А. Василевского («Новый мир»), С. Чуприна («Звезда»), М. Боравлеву («Переправа», Вена) за разрешение на републикацию текстов С. Аверинцева, первоначально вышедших в их изданиях, а также Л. Брусиловскую,

В. Василевскую, Н. Кулакову, Н. Поболя, С. Симонека и Р.-М. Циглер – за оказанную помощь.

Особая благодарность Наталье Петровне Аверинцевой – за многочисленные консультации и всестороннюю поддержку в подготовке настоящего издания.

П. Нерлер, Д. Мамедова

Мандельштамиада Сергея Аверинцева

Выдающийся русский ученый, культуролог, литературовед и переводчик Сергей Сергеевич Аверинцев родился 10 декабря 1937 года в Москве поздним ребенком в профессорской семье (отец и мать были биологами). В 1961 году он окончил классическое отделение филологического факультета МГУ, где в 1967 году по теме «Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра» защитил кандидатскую диссертацию (отмечена премией Ленинского комсомола в 1968 году, опубликована в 1973 году). На время работы в 1965–1971 годах в Институте истории искусств в Козицком переулке пришлось такие его работы, как «Культурология Иоганна Хейзинги» (1969) и серия блестящих новаторских статей для четвертого и пятого томов «Философской энциклопедии» (1967 и 1970), среди них «Новый Завет», «Теизм», «Теократия», «Христианство», «Эсхатология» и др.

В 1971–1991 годах С.С. Аверинцев работал в Институте мировой литературы АН СССР, где в течение ряда лет заведовал отделом античной литературы. В этот период им были написаны монографии «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977, переиздана в 1997) и «Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье» (1986), главы в коллективных трудах по истории Византии, «История всемирной литературы», концептуальные статьи «К истолкованию символики мифа об Эдипе» (1972), «На перекрестке литературных традиций» (1973), «Судьбы

европейской традиции в эпоху перехода от античности к средневековью» (1976), «Поэтика ранневизантийской литературы» (1977), «Культура Византии IV – первой половины VII века» (1984), «От берегов Босфора до берегов Евфрата» (1987), «Бахтин. Смех. Христианская культура» (1988), «Попытки объясниться: беседы о культуре» (1988), «Византия и Русь: два типа духовности» (1988), «"Морфология культуры" Освальда Шпенглера» (1991), «Культура и религия» (1991), «Христианство и культура в Европе» (1992) и др. В статьях поражали не только широта и энциклопедизм знаний, но и самый их тон и непривычный для таких тем свободный, художественный стиль. Не прерывалась и работа над энциклопедическими изданиями, причем и здесь многие статьи Аверинцева, как бы вопреки жанру, носили характер не традиционных сухих и суммирующих сводок, а оригинальных историко-литературных и теоретических открытий. Назовем, для примера, статью «Филология» в Краткой литературной энциклопедии (т. 7, М., 1978) или статьи «Архетипы» и «Христианство» в энциклопедии «Мифы народов мира» (М., 1987–1988). Книга «Поэтика ранневизантийской литературы» легла в основу защищенной в 1981 году докторской диссертации, однако выход на Западе в том же году сборника статей «Религия и литература» не прибавил ученому любви начальства. В это же двадцатилетие обозначился глубокий исследовательский интерес Аверинцева к русской поэзии, отразившийся в серии статей и подготовке изданий Вяч. Иванова (1978), Г. Державина (1985) и В. Жуковского (1985). В конце 1980-х годов ученый приступает к систематическим занятиям творчеством О. Мандельштама, также воплотившимся в знаковом издании – «черном» худлитовском двухтомнике (1990). На волне горбачевской перестройки и гласности С.С. Аверинцев был избран членом-корреспондентом АН СССР (РАН) по Отделению литературы и языка (23 декабря 1987).

В 1985 году Аверинцев был принят в Союз писателей СССР. В начале 1990-х годов его избирают президентом Ассоциации культурологов и Библейского общества (1990–1991), а в январе 1991 года – председателем международного Мандельштамовского общества.

В декабре 1991 года ученый перешел в МГУ, где он заведовал отделением Института истории мировой культуры

и преподавал на философском факультете. На 1990-е годы пришлось его тесное сотрудничество с РГГУ, в частности с Институтом высших гуманитарных исследований и по линии Манделштамовского общества, бессменным председателем которого он являлся. Это было время углубленных занятий Аверинцева исторической поэтикой и русской поэзией (Вяч. Иванов, О. Манделштам, А.С. Пушкин в сопоставлении с Гёте). Одна за другой выходят многочисленные статьи и книги ученого: «Риторика и истоки европейской литературной традиции» (1996), «Поэты» (1996), «София-Логос» (1999; 2001), «От слова к смыслу» (2001), «"Скворец вольный гражданин". Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами» (2001) и др.

Начиная с декабря 1994 года работу в Москве Сергей Аверинцев совмещал с профессурой в Институте славистики Венского университета.

Сводную библиографию С.С. Аверинцева еще предстоит составить, но по самым приблизительным подсчетам это как минимум 650–700 наименований. Основные направления его научных исследований – история позднеантичной, раннехристианской, византийской, европейской и русской культур и литератур, история богословской и философской мысли, христианская традиция в европейской мысли и литературе, новозаветная литература на фоне позднеантичной культуры, патристика, средневековая христианская гимнография и агиография, византийская литература и философия, схоластика, историческая поэтика, немецкая литература романтизма (К. Brentano) и неоромантизма (Г. Trakl, Г. Gessé).

Характерными для научного стиля Аверинцева были отталкивание от текста в сочетании с острой литературно-критической аналитичностью и поистине ренессансной эрудицией, а также подчеркнутое внимание к проблемам взаимодействия различных культур и религий. По замечанию А.Ф. Лосева, Аверинцев акцентирует в составе гуманитарного знания момент человеческого понимания, не сводимого ни к субъективно-эстетическому чувству, ни к рационалистическому исчислению. При этом объект анализа берется в перспективе современной духовной ориентации, постигается внутри ситуации диалога исследователя с автором; литературное

слово истолковывается как человеческий жест, а стиль – как жизненная установка.

С.С. Аверинцев – автор многочисленных переводов древних (с древнегреческого, латинского, древнееврейского и сирийского языков) и современных авторов (с немецкого, французского и польского языков). Особо выделим его переводы трех евангелистов, а также Каллимаха, Платона, Плутарха, Гёльдерлина, Гессе, Тракля и Бенна.

Начиная с 1980-х годов ученый писал и собственные духовные стихи, ориентирующиеся на европейские фольклор и поэзию («Стихи духовные», 2001), а в последние годы – шуточные и иронические стихи.

Востребованность С.С. Аверинцева за рамками обширной и непрерывной научной работы оказалась настолько значительной и многосторонней, что его общественная деятельность с трудом поддается учету. Характерны в связи с этим слова Г. Явлинского, высказанные на 65-летие Аверинцева и намекающие на его депутатство в Верховном Совете СССР первого созыва (1989–1991), куда его избрали от Академии наук СССР: «Гуманитарные науки, филология особенно, редко оказываются в центре внимания общественной мысли. К счастью для гуманитарной мысли и к несчастью общественной. Иногда случаются совпадения, и в самые переломные моменты истории даже такой сугубо академический человек, как Вы, оказывается в эпицентре политики. Тогда сложилась неплохая компания. “Теперь не то”. Проиграла ли от этого политика – Бог знает, но наука выиграла. Быть Вашим соотечественником и современником – большая честь».

В разное время С.С. Аверинцев являлся членом попечительских советов АО «Общественное российское телевидение» (с 1994) и Свято-Филаретовского православно-христианского института, входил в состав редколлегий или общественных советов издательства «Большая Российская энциклопедия» (с 1996), а также многочисленных периодических изданий: «Альфа и Омега» (с 1994), «Вестник древней истории», «Вестник Русского христианского движения», «Знамя», «Иностранная литература», «Литературная газета» (1990–1997), «Наше наследие», «Независимая газета», «Новая Европа», «Новый мир» (с 1996), «Православная община», «Родина», «Символ» (Париж), «Человек», «Arbor mundi. Мировое древо» и др. Отдавая себе отчет в

том положительном заряде, который несло и придавало той или иной инициативе уже одно его имя, Аверинцев редко отказывал в такого рода поддержке многообразным проектам, если находил их хорошими.

Научная и общественная деятельность Сергея Сергеевича получила поистине мировое признание. Он являлся членом Европейской академии (*Academia Europea*, 1991), Всемирной академии культуры (*Académie universelle des cultures*, 1992), Папской академии общественных наук (1992), Национальной академии Украины (2000), почетным доктором *Scientiarum Ecclesiasticarum* Папского Восточного института в Риме (1992), Киево-Могилянской Академии в Киеве (1998), Софийского университета (1998) и Европейского университета в Минске (2000), членом Международного общества о. Павла Флоренского.

Заслуги ученого и общественного деятеля были отмечены премией Ленинского комсомола (1968), Государственной премией СССР (1990), премией «Триумф» (1992), Государственной премией Российской Федерации (1996), премией журнала «Новый мир» (1999), а также международной премией им. Леопольда Лукаса (1995), присуждаемой Тюбингенским университетом за усилия, направленные на сближение народов и культур, и премией «За диалог между культурными вселенными», присужденной ему в 2001 году Фондом Джованни Аньелли (Турин) за заслуги в утверждении ценностей демократии и правового государства в современной России.

Сергей Аверинцев охотно и часто читал лекции и выступал с докладами во многих российских и зарубежных аудиториях. Еще в советское время, в трудные 60–80-е годы прошлого века на них ходило множество людей, подчас не имевших отношения к философии или филологии: ими двигало не только желание узнать что-то новое и интересное, но и потребность удостовериться в том, что внутренне свободная интеллектуальная мысль жива.

Как носитель абсолютно свободной мысли, Сергей Аверинцев был не просто блестящим представителем российской культурной традиции и интеллектуалом мирового класса, но и духовным лидером советской и российской ин-

теллигенции. Отца Александра Меня он называл «миссионером для племени интеллигентов». Самого же Сергея Аверинцева можно было бы назвать одним из вождей этого ныне вымирающего племени, но только не в организационном, а в высшем плане – плане интеллектуальной, подлинно духовной самостоятельности и состоятельности.

В последние годы круг интересов Сергея Аверинцева, как это ни удивительно, еще более расширился. Он интересовался вопросами семьи и воспитания и находил, что сейчас человечество столкнулось с кризисом культуры как системы воспитания (буквально – культивирования, «воздвигания») ума, души, духа. Постмодернистский подход к культуре как к некоей совокупной продукции искусства, науки, философии и т. п. он решительно отвергал и с большой тревогой рассуждал о пирровой победе современного постмодернизма. Он полагал, что любое конкретное событие, даже такого масштаба, как террористические акты 11 сентября, нуждается в осмыслении, в рефлексии, но при этом определенность не должна переходить в упрощение, а чуткость к нюансам – в релятивизм.

В конце мая 2003 года Сергей Сергеевич был избран действительным членом Российской академии наук, но этой новости фактически не узнал. 3 мая в Риме, где ученый присутствовал на конференции «Италия и Петербург», с ним случился обширный инфаркт, и он впал в кому. Последние девять месяцев, балансируя на границе жизни и смерти, Аверинцев провел в больницах Рима, Инсбрука и Вены. Состояние оставалось относительно стабильным, что давало призрачную, но надежду. Все это время с ним рядом, как всегда, находилась жена, Наталья Петровна, мужественно и подвижнически переносившая нравственные и физические тяготы ухода за тяжело больным мужем.

21 февраля 2004 года в Вене Сергея Сергеевича Аверинцева не стало. 24 февраля 2004 года в Никольском православном храме г. Вены состоялось отпевание, а 4 марта – кремация. Урна с прахом ученого, согласно его завещанию, в мае 2004 года была перевезена в Москву и захоронена на Даниловском кладбище.

Павел Нерлер

Сергей Аверинцев
Статьи об Осипе Мандельштаме

«Мы – смысловики...»

Стихи О. Мандельштама, написанные в 1937 году, перед концом и в последнем расцвете дара, приобретают – не просто силою обстоятельств, но и своей собственной силой как стихов – весомость завещания. Этого он и сам от них требовал: достаточно прочитать у Н.Е. Штемпель, в каком тоне он говорил о своем предсмертно просветленном стихотворении «К пустой земле неволью припадая...». (Как сказал еще Гёльдерлин, тот, кто прощается навек, может позволить себе торжественность.) Задача была уже названа чуть раньше: жить, «перед смертью хорошея». А еще раньше было описано, как рушат липу на глухом замоскворецком дворишке: «Дерево сопротивлялось с мыслящей силой, – казалось, к нему вернулось полное сознание» («Путешествие в Армению»). Это пронзительное описание – словно эпиграф к поздней поэзии Мандельштама. Борьба за полное сознание на самой границе бреда, борьба за катарсис на самом пределе абсурда наполняет эти прощальные стихи, дает им драматическую пружину.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия,
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом –
Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом. –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...

Тихо, тихо его мне прочти...

15 марта 1937, Воронеж¹

То свойство окончательности, которое отмечает поэзию Мандельштама в целом, достигает в таких условиях максимума. Все плотнеет и сгущается. Концентрированнее проступают и существенные противоречия, которые имеют для мандельштамовской поэзии конструктивное значение.

Мандельштам всегда искал противоречий, так сказать, большой мощности: они были источником энергии для его стихов. Вспомним, что еще в 20-е годы поэт пристально вчитывался в книгу отца Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». Здесь не место говорить ни о самой книге, ни о ее роли в биографии поэта (одной из тех «разночинских» биографий, для которых согласно его же острой гиперболе из «Шума времени» достаточно списка прочитанных книг). Но вот – независимо от контекста – слова, которые Мандельштам, во всяком случае, должен был читать с живым сочувствием, с внутренним согласием и которые многое поясняют у него самого: «Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философов! Пусть противоречие остается глубоким, как есть»². И чуть нижеприятие противоречия названо бодрим, т. е. отождествлено с витальностью мысли, чуть ли не физиологически понятой, – с победой над «склерозом», как сказал бы Мандельштам на языке своего «Разговора о Данте». Или прибегнем к космологической метафоре, важной для эпохи и близкой именно Флоренскому: столкновения «да» и «нет», перепады жара и холода – единственное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса, поскольку выравнивание температуры, приведение всего сущего к безразличной теплоте,

не горячей и не холодной (уж не той ли, которая проклята в Апокалипсисе?), есть согласно второму началу термодинамики «тепловая смерть вселенной».

Мандельштам тревожился не столько за вселенную, сколько за историю, прекращение которой внушало ему больший ужас, чем все катастрофы самой истории. Пока кипит гнев и спор, пока живет удивление, жива история. Отсюда характерная для поэта парадоксальная апология «литературной злости» некрасовской поры русской словесности, подобие которой он увидел в крутом, несговорчивом нраве тех новгородских икон, на которых «сердятся» рядами представленные заказчики, «спорщики и ругатели», «удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы». Здесь каждое слово важно: есть на что, значит, сердиться, есть чему удивляться, есть о чем спорить, раз есть событие. Синоним события – поступок («Чтоб звучали шаги, как поступки...»). Но вот если «буддийское» отвлеченное безразличие или «египетское» чиновничье самодовольство сможет «тупым напильником» (как сказано по другому поводу в статье о Чаадаеве) притупить острие готического шпателя, знаменующего напряженность события, поступка, бросающего вызов пустоте, – это беда горше всех бед, и о ней у поэта сказано: «...наступает глухота паучья». В этой связи мыслей понятно, с какого боку интересен Мандельштаму Константин Леонтьев. Понятно также, почему сущность «филологии», т. е., собственно, той же исторической стихии, увидена в «нетерпимости», а «всеперпимость» припечатана лихим польским ругательством³.

Вернемся, однако, к поэзии Мандельштама. Одно из противоречий, которыми она жива, касается основ ее собственной природы. «Мы – смысловики», – говорил поэт, и слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с которой ум поэта прослеживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую на глубину, то выступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то так, то эдак поворачивает в вариантах (имеющих у Мандельштама, как давно выяснено, самостоятельное значение). Его обеспечивает высокая степень связности, которую открывают пристальному взгляду самые, казалось бы, шальные образы и метафоры, если не лениться рассматривать их в «большом контексте».

те». Отсюда соблазн, которому пока чаще поддавали зарубежные истолкователи: увидеть в мандельштамовской поэзии хитрый шифр, скрывающий некую «историософию», которая по дешифровке окажется не просто умной, но и специально «умственной» («интеллектуальной»). Но так дело не идет. Почему, собственно? Проще простого припомнить, как Мандельштам не смог сдать экзамена, как спрашивал у собеседницы, кто такие Аониды, и вознегодовать – тоже еще умник нашелся, но это было бы просто глупо, потому что «знать» для поэта совсем не то, что для ученого. В современном поэте, говорил Мандельштам, «поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы»⁴; уж если поют, где тут экзамен сдавать? (Как раз способность сдать экзамен изобличала бы недостаточно полную переработку знания – в поэзию.) Но смысл, который «поет», – это все ли еще смысл, или он должен называться каким-то другим именем? Да, поэт назвал себя смысловиком, но он же сказал о «блаженном, бессмысленном слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть сведено на нет никаким умным истолкованием. Отсюда противоположный соблазн: увидеть в мандельштамовской поэзии абсолютно произвольную сюрреалистическую игру ассоциаций, ничем не регулирующую, кроме случайностей фоники и темных порывов подсознания. Но так дело тоже не идет. И установка «смысловика», и жизнь «блаженного бессмысленного слова» остаются, оспаривая друг друга, просвечивая друг сквозь друга, неожиданно меняясь местами. Верлен, тень которого лежала на рождении поэзии Мандельштама, выразил пожелание, чтоб в стихах «точное сопрягалось с неопределенным» (*Rien de plus chef que la chanson grise ou l'Indécis au Précis se joint*). Читатель Мандельштама не раз встретит это взаимопроникновение «точного» и «неопределенного», сказанного и несказанного. Поэтому его стихи так заманчиво понимать – и так трудно толковать.

Что во всем этом отличает Мандельштама от всесветного типа поэта нашего столетия, так это острое напряжение между началом смысла и «темнотами». Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцессами антиинтеллектуализма. Это

действительно противоречие, которое «остается глубоким, как есть», – и должно таковым оставаться в любой интерпретации. Противоречие не оставляет места для самодовольства, совершенно исключаемого тюгчевской традицией.

Еще одно противоречие, особенно важное для понимания «Стихов о неизвестном солдате», – это спор между личностью поэта, умевшей «топорщиться» («...нрава он не лейного...»), включавшей даже черту почти отроческой заносчивости, и глубокой волей «быть как все», жить и гибнуть «с гурьбой и гуртом», не отделять себя от судьбы безымянных. Такая воля выявилась по-настоящему у позднего Мандельштама. «Всех живущих прижизненный друг», – сказал он о себе, этим он хотел быть. Окончательная, суровая анонимность человеческой участи: «миллионы убитых задешево», – вся прежняя поэзия не знала, не могла знать такой темы. «Истертый год рожденья» – уже не знаменательная дата начала индивидуальной биографии, а бирка в кулаке, соединяющая призывника с поколением, с товарищами по призыву, растворяющая его в их потоке. Человеческая мера взорвана и развезена «молью нулей». Настоящее – безымянная мука голода, холода и равнодушной к человеку смерти под неприветливым дождем, «пасмурный, оспенный и приниженный гений могил». Будущее – «воздушная яма». Но тягой контраста и конфликта в стихотворение втягивается катарсис, необъяснимый никаким рациональным толкованием, но пронизывающий весь его состав: «От меня будет свету светло». «Небо крупных оптовых смертей» названо не только неподкупным, но и целокупным, как в любовном *lamento* «К пустой земле невольно припадая...», – в обоих случаях через смерть дается образ некоей строгой гармонии, которая несовместима со счастьем, но глубже счастья и, может быть, дороже счастья. А в эпизоде «Для того ль должен череп развиться...» время словно обращено назад, так что уже после смерти, после «войск», после конца триумфально является начало – непорочное и многодумное сияние младенческого лба.

¹ Печатается по тексту, подготовленному И.М. Семенко.

² *Флоренский П.* Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 157.

³ В «Четвертой прозе», еще ждущей опубликования: «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала все терпимость...»

⁴ *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987. С. 43.

Впервые: Вместо послесловия: Последние творческие годы. Стихи. Письма. Воспоминания о поэте // Новый мир. 1987. № 10. С. 234–236. В подборку материалов об О. Мандельштаме, послесловием к которой служила данная статья, входили «Стихи о неизвестном солдате», подготовленные к печати И.М. Семенко, письма О. Мандельштама, подготовленные П. Нерлером, и воспоминания Н.Е. Штемпель «Осип Мандельштам в Воронеже». Отдельные фрагменты использованы в фундаментальной статье С.С. Аверинцева «Судьба и весть Осипа Мандельштама» (см. ниже). Настоящее название статьи дано редакторами, поскольку журнальный вариант названия малоуместен в контексте раздела, который статья открывает.

Ответы С.С. Аверинцева на анкету журнала
«Вестник Русского христианского движения»

1. Какое место занимает О. Мандельштам в Вашем пантеоне русских поэтов XX века? В Вашей личной жизни?

2. Назовите пять самых любимых Вами стихотворений Мандельштама.

3. Согласны ли Вы с утверждением самого Мандельштама, что он «кое-что изменил в структуре и составе русской поэзии»?

4. Многие считают, что Мандельштам – поэт для немногих, жалуется на его непонятность. Каково Ваше отношение к непонятному у Мандельштама?

5. Надежда Мандельштам пишет, что русское и еврейское начала уживались в Мандельштаме спокойно. Согласны ли Вы с этим суждением? В какой степени и в чем именно сказалось еврейское происхождение Мандельштама?

6. Ощущаете ли Вы Мандельштама как поэта христианского?

7. Как Вы себе объясняете и как определили бы «божественную музыку» и «поэтическую мощь» Мандельштама?

1. Я предпочел бы избежать слова «пантеон». Если это стершаяся метафора, она плохо подходит к разговору о поэте, так остро относившемся к словам и смыслам. А конкретные коннотации слова ведут либо к профанированному храму на холме св. Женевьевы, либо прямо к язычеству; но каким бы ни было место Мандельштама в моей жизни, я никоим образом не могу и не хочу делать из него предмет язы-

ческого культа. Наконец, в слове «пантеон» есть некая статусная импозантность, а Мандельштам видел себя как собрата Биллона, как жаворонка, не перестающего звенеть «перед самой кончиною мира».

Покойница Надежда Яковлевна говаривала даже: «Оська был петушок».

По существу же дело определяется для меня, во-первых, тем, что я верю в объективную исключительность ранга Мандельштама, Пастернака, Ахматовой и Цветаевой среди русских поэтов их поколения – не трех и не пяти, а именно четырех; а во-вторых, тем, что из этих четырех Мандельштам – для меня лично самый близкий, потому что самый точный. Чарльз Уильямс сказал: «Аду свойственна неточность». Соответственно точность – оружие против ада. Сосредоточенность на субстанциальных признаках, на объективном. Я бы сказал – аналог «феноменологической редукции».

2. Из самых ранних – стихи о Голгофе: «Неумолимые слова...» Далее «Сестры – тяжесть и нежность...», хотя стихотворение это представляется мне иногда неровным, но траурный марш в 3-й и 4-й строках первого катрена – как же без него? Оба парных стихотворения 20 г. о нежном цветении русской культуры в ночи советской и на петербургском морозе – «В Петербурге мы сойдемся снова...» и «Чуть мерцает призрачная сцена...».

И наконец, самое целомудренное любовное стихотворение нашего столетия – «К пустой земле невольно припадая...». А вообще было бы куда легче выбрать пять его стихотворений, которые для меня – не самые...

3. Да, конечно. Это не значит, что мне представляется возможным или желательным чересчур прямое влияние Мандельштама на русские стихи настоящего и будущего, так сказать, «Мандельштамовская школа». Во-первых, совершенству не свойственно оказывать прямое влияние. Подсказки надо искать у поэтов гениальных, но несовершенных, не до конца реализовавших возможности собственной поэтики, – как Мандельштам и его сверстники учились у Иннокентия Анненского. Но кто, спрашивается, «продолжил» Пушкина? В очень общем смысле – вся русская поэзия; в смысле конкретном – никто, ибо эпигоны не продолжают, а повторяют. Во-вторых, трюизм, что мы дав-

но не живем в мандельштамовскую эпоху. В 1899 г. русские люди ясно отдавали себе отчет в том, что не являются современниками Пушкина.

4. У Мандельштама есть стихотворения, сами в себе непрозрачные. Как правило, они относятся к кризисному периоду 20-х годов, периоду «Грифельной оды», за которым пришла немота; и только за чертой немоты – новое прояснение. Кризис – это кризис: не просто болезнь (как не просто болезнь – состояние будущей матери), но переход, когда все сдвинуто, не равно себе. Но мандельштамовская «классика» по обе стороны кризиса – по одну сторону «Камень» и «Tristia», по другую сторону стихи 30-х годов, – как правило, достаточно прозрачна для внимательного читателя, держащего в уме большой контекст мандельштамовского корпуса в целом, готового к умственной работе, но одновременно имеющего вкус к свободной игре, к «блаженному, бессмысленному слову». Не ребус, не тайнопись – а музыка. Без взаимоупора, без играющего спора двух видов точности – логической и музыкальной – мандельштамовская поэзия немислима. Но она ждет от читателя не усидчивости любителя кроссвордов, а веселого угадывания полуслова. И вообще ее надо не читать, хотя бы и пресловутым «медленным чтением» – а слышать. Как она создавалась «с голоса», так ее и надо ловить: тоже «с голоса».

5. Надежде Яковлевне было виднее. Мне кажется важным, что Мандельштаму несвойственно было оценочное отношение к своей идентичности, принимаемой как данность, возможно более просто. Пастернаковский вздох: «О, если б я прямой возник!» – у него невозможен: как возник, так и возник. Разговор с Клычковым о «еврейских мозгах» и «русских стихах» – в тоне чудной непринужденности. Возникает тоска по временам, когда такие темы можно было обсуждать без натуги... Впрочем, тосковать не надо – просто в тот черный час деление на породу убийц и породу убиваемых, как единственно важное, сделало невинной шуткой все другие деления: и по этому счету Клычков и Мандельштам принадлежали, конечно, к одной и той же породе.

Здесь есть проблемы более сложные – но они скорее для статьи, чем для анкеты. Вообще же Мандельштам, не отрекаясь от своего происхождения, сделал выбор в пользу того, чтобы поэтом быть именно русским. Такова была его

воля. И Мандельштам верно сказал тому же Клычкову – стихи его не «русскоязычные», а действительно русские.

О чертах еврейской, как и любой национальной психологии говорить не решусь: все несомненное будет тривиальным, все нетривиальное – очень сомнительным. И взгляд извне, даже искренне сочувственный, всегда видит не совсем так.

6. На этот вопрос можно ответить либо очень пространно – я это отчасти и сделал в своей статье, отчасти, даст Бог, еще сделаю; либо очень коротко. Отвечаю – утверждением. Дело не в христианских «образах» и «мотивах». Без глотка новозаветного воздуха мандельштамовская поэзия немислима как целое.

7. Что тут объяснять? «Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть от Отца Светов». Что тут определять? Поэтику разбирают – а музыку слушают, тем более «божественную».

Впервые: Вестник Русского христианского движения. Париж – Нью-Йорк – Москва. 1990. №. 160. С. 187–191.

Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления

Если мы будем описывать самую начальную пастернаковскую поэтику, буквально в точке ее прихода к самой себе, скажем, в фазе стихотворений 1914 года «Цыгане» и «Мельхиор», нам придется прибегнуть к ряду утвердительных констатаций; в первую очередь важно, что у Пастернака есть.

Если мы будем описывать самую начальную мандельштамовскую поэтику, поэтику стихотворений из писем 1909–1911 годов к Вяч. Иванову и первых стихотворений «Камня», центр тяжести переместится на констатации отрицательные; крайне важно, чего у Мандельштама нет.

Словарь первых стихотворений Пастернака буквально перенасыщен словами, по тем или иным признакам бросающимися в глаза, – неологизмами, архаизмами, диалектизмами, вообще редкостными речениями всех родов, как бы яркими лексическими пятнами. Яркость их подчеркнута густо положенными созвучиями. Рифма используется как мощный компонент энергии стиха: «Храмовой в малахите ли холен, / Возлелеян в серебре ль косогор – / Многодольную голь колоколен / Мелководный несет мельхиор...»

Мандельштамовский словарь отмерен с поражающей скупостью. При наличии исключений, подтверждающих правило, он ориентирован на лексическую норму и не допускает одноразового употребления необычных слов. Ключевые слова и обороты переходят из одного текста в другой (в частности, из стихов в прозу). Это словарь, условно гово-

ря, классический – как в «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря или в трагедиях Жана Расина, словарь, доблесть и гордость которого в том, как тщательно он отобран. Соответственно исключены чересчур приметные рифмы, например экспериментальные. Мандельштамовская рифма – как правило, одновременно точная и намеренно бедная. Ни в словах, ни в рифмах нет красок. Прозрачность предпочтена красочности: «Стояли воины кругом / На страже стынущего тела; / Как венчик, голова висела / На стебле тонком и чужом...»

Любопытно, что в статье Мандельштама, в сущности, посвященной Пастернаку (окончательное заглавие – «Заметки о поэзии», вошла в сборник «О поэзии»), мы встречаем довольно неожиданные выпады против ограниченности словаря: «Воистину, русские символисты были столпниками стилия: на всех вместе не больше пятисот слов – словарь полинезийца. Но это по крайней мере были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине – это уже паркетное столпничество». Мандельштаму не пристали подобные выпады, он и сам был такой – «емлет звуки, опрятен и скуп», как будет сказано в воронежском стихотворении. Если, однако, верить свидетельству Н.Н. Вильмонта, Борис Леонидович еще в середине 10-х годов убеждал Гумилева и Мандельштама в порочности ориентации символистов на скудный словарь, – и тогда все становится на свое место: пассаж из «Заметок о поэзии», совершенно не соответствующий мандельштамовской поэтике, знаменует меру страстной, неразделенной, драматической влюбленности Мандельштама в Пастернака. Как отблеск строки Пастернака «С чем бы стал ты есть земную соль?!» – в мандельштамовской прозе «Шума времени». Как эмоциональные всплески, воркотня, проговорки, сохраненные памятью мемуаристов. Чтобы написать этот пассаж, Мандельштаму нужно было на мгновение увидеть проблему поэтического языка глазами Пастернака. Его собственные глаза видели иначе.

Вернемся, однако, к нашей теме. Каждый из поэтов, о которых мы говорим, очень решительно сопротивлялся символистскому возведению поэта в ранг метафизика и теолога; выдавать их самих за метафизиков и теологов не следует. И все же трудно обойтись без старинной богословской

терминологии. Традиция учит, что есть два пути познания Бога: катафатическое богословие, или *via positiva* («путь утвердительный»), и апофатическое богословие, или *via negativa* («путь отрицательный»). В первом случае к Богу восходят от вещей в совокупности признаков последних, во втором – через последовательное отрицание признаков и столь же последовательное отрешение от вещности. Пастернак ближе к первому; Мандельштам ближе ко второму, и потому его собственное мастерство так часто приходится характеризовать, выстраивая цепочку отрицаний. Физическое ощущение от Пастернака – густота, от Мандельштама – разреженность. В одной повести английского писателя нашего столетия Чарльза Уильямса есть умный мистик, который имеет обыкновение при виде каждой новой святыни твердить про себя одну и ту же молитву: «И в этом – тоже Ты; и это – тоже не Ты». Кажется, что поэты поделили эту молитву между собой: Пастернак взял себе ее первую часть, Мандельштам – вторую.

Трудно удержаться от искушения пожать плечами, вспоминая, что учебники приписывают акмеистам особое внимание к пластической, осязаемой конкретности вещей. У Ахматовой, особенно ранней, вещи, разумеется, заметны – но скорее как обстановка разыгрываемой драмы, ее декорация и реквизит, как метафора очередной фазы психологического сюжета, построенного вполне «антропоцентрично». Сказанное относится отнюдь не только к знаменитой перчатке с левой руки, надетой на правую, но и к вещам иного масштаба, например к ландшафтам. «Замечаю все как новое. / Влажно пахнут тополя» – это не о тополях, а о так называемой лирической героине. Что до Мандельштама, он умел, конечно, чрезвычайно экономными словами вводить в свои стихи атмосферу быта, и дореволюционного, и советского, от эластичного сумрака кареты до белого керосина, сладко пахнущего на кухне, – но скупая дозировка таких образов для него принципиально важна (по крайней мере, в стихах, ибо «Египетская марка» написана иначе). Еще важнее другое: мандельштамовская поэзия тяготеет к выделению признаков, которые на языке традиции аристотелизма именуется «субстанциальными», сущностными, к отсечению случайных «акциденций». Напротив, символ веры Пастернака – уравнивание случайного с сущ-

ностным: «Чем случайней, тем вернее». «Вещам обихода» придан статус поистине космический: вспомним заочные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не было и нет». Дистанция между бытом и бытием у Пастернака до конца упразднена: не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, интеллигентский обиход, например консерваторский, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без малейшего препятствия становится у него равноправной составляющей лирической темы.

У Мандельштамов было характерное семейное суеверие: конкретная вещь, которая попала в стихи, должна погибнуть. Когда Мандельштам помянул в одном стихотворении «белорукою» трость, сопровождавшую его на прогулках, тросточка пропала. Когда он воспел зрачок глаза Надежды Яковлевны, та некоторое время ждала, что ослепнет. В шутку попробуем прикинуть объем разрушительных катастроф, которые разразились бы, будь такое действие у пастернаковских стихов! Неистово, взхлеб перечисляемые предметы планетарного масштаба – «Горы, страны, границы, озера, / Перешейки и материки» – у него такие же «вещи обихода», как те же стаканчики с купоросом. «Афиши, ниши, крыши, трубы...» Впрочем, никто разрушительного действия от этих перечислений не ждал, и это вполне характерно.

В конце своего пути Мандельштам, избегавший дотолле подобных заявлений, сказал о себе: «Всех живущих прижизненный друг». Мы помним, что эти слова введены в контексте мысли о смерти. Но хотелось бы подчеркнуть другое: Мандельштам говорит о дружбе со всеми живущими, то есть с людьми, с другими «Я». Раньше это называлось у него «сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия». «Сущие» – это человеческие личности, и фон для их личного бытия – ненавистная пустота. Но у Пастернака иерархия, выделяющая человеческое среди мира вещей, упразднена:

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети –
Дворы и бабы, галки и дрова.

Мандельштамовская поэзия ищет отвлечения от вещей и смотрит на них всегда издали, с рассеянным удивлением. Ее торжественность не относится ни к вещам, ни к себе самой; ее можно отнести только к бытию как таковому, «абстрактному бытию», постижимому лишь через отказ от конкретного («любите существование вещи больше самой вещи»). У Пастернака, напротив, взгляд из близости, до полного погружения в вещи. Важен мотив снегопада – все близко, далее вообще не увидеть, физический контакт со стихией неизбежен. «Снежинки непрошено велятся на руки». Стих Пастернака – поток, управляемый законами динамики, а потому исключая симметрию и равномерность; движение возрастает, и этот переход потенциальной энергии в кинетическую мы ощущаем к концу каждой строки. Рифма – звучный разряд этой энергии. «А в саду, где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разохались, Соловьем над лозою Изольды Захлебнулась Тристанова захолодь».

Напротив, Мандельштаму важно как раз сдержать движение потока – ради создания молчащей апофатической ниши в самом его средоточии. Поэтому его стих живет статикой, равновесием. И поэтому, как мы уже видели, – никаких рифменных взрывов.

Тот же контраст остается в силе, когда мы от масштаба отдельной строки переходим к масштабу стихотворения в целом. Для Мандельштама характерна стабильная интонация, выдерживаемая от начала до конца – разумеется, при движениях голоса, который явственно понижается, например, при переходе от первого четверостишия «Ламарка» ко второму. Напротив, для Пастернака почти правило – если стихотворение кончается на *forte*, оно должно начать с *piano*, и обратно. Скажем, звучный торжественный финал:

И это ли происки Мэри арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог, –

властно требует в первой половине раскачки, разборматывания, полуневнятицы под сурдинку:

В дни съезда шесть женщин топтали луга. / Лениво паслись облака в отдаленьи. / Смеркалось, и сумерек

хитрый маневр / Сводил с полутьмою зажженный репейник...

Напротив, если в начале стоит:

Будущего недостаточно. / Старого, нового мало. / Надо, чтоб елкою святочной / Вечность среди комнаты стала, – требуется сейчас же сбавить тон:

Чтобы хозяйка утыкала / Россыпью звезд ее платье, / Чтобы ко всем на каникулы / Съехались сестры и братья, – и так идет дальше, вплоть до последней строки (о раннем закате зимнего солнца):

Село, истлело, потухло.

«Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии, – писал Пастернак в "Охранной грамоте". – Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки». Если у Мандельштама прозаизмы и вульгаризмы демонстративно брошены в поток «высокой» интонации («Нет, не спрятаться мне от великой мур...»), а у поздней Ахматовой используются для лексических коллажей, то и дело перемежаясь с оборотами старой поэзии, то у Пастернака их функция – иная: создавать музыкальные *diminuendo*, идущие большими волнами.

Замкнутость мандельштамовской и разомкнутость пастернаковской поэтики отчетливо выражается в употреблении имен собственных.

Что можно сказать об именах собственных у Пастернака? Их не много и не мало, они названы без всякого нажима, не обведены никакой незримой чертой, они такие же, как и все прочие слова. Нечего и говорить, что в них нет щегольства, хвастовства нехитрым блеском фонической экзотики, как у Брюсова, Волошина или Гумилева; но стыдливости, окружающей каждое имя собственное у Мандельштама, здесь тоже нет. Они вводятся, как в самом обычном интеллигентском разговоре:

...До слез Чайковский потрясал Судьбой Паоло и Франчески.

В составе стихотворения от называния имени ничего особенного не сдвигается. Никакой сакраментальности. Имя – непосредственная апелляция к реальности, лежащей вне стихотворения, где Чайковский, Паоло и Франческа – некоторые опознаваемые для современников персонажи, и все. Такому «мирскому» обращению подвергнуты и сакральные имена:

Ноги я твои в подол уперла, Их слезами облила,
Иисус...

Имя собственное приравнено к имени нарицательному, или, может быть, напротив, имя нарицательное возведено в ранг имени собственного; ибо всякий предмет у Пастернака живет, пользуясь терминологией Бубера, в «мире я-и-ты», не в «мире я-и-оно».

Полный контраст пастернаковскому подходу – стремление Мандельштама табуировать или ритуализировать введение имени собственного. Основа мандельштамовской поэтики – ветхозаветное представление о непроизносимом имени Божия всуе; характерно, что в раннем стихотворении о Голгофе Иисус остается неназванным – от начала до конца лишь местоимение «Он». Не так просто назвать даже имя человеческое. «Легче камень поднять, чем имя твое повторить...» По черновым вариантам видно, как Мандельштам при работе над своими стихами исключал уже введенные имена.

Напротив, у Пастернака имя собственное предстает как частный случай того вполне непринужденного достоинства, которым обладает любое слово. В этой демократии слов сословия упразднены.

И в заключение – несколько слов о попытках обоих поэтов стать, что называется, созвучными своей эпохе. Глубоко утешительно, что попытки эти в обоих случаях не удались. Связность, цельность поэтического взгляда на вещи продолжает держать оборону и тогда, когда поэт как биографический персонаж пытается совершить ошибку. Сама поэзия ему этого не позволяет.

Но результаты были различны.

Мандельштама спасает глубоко присущая ему установка на дистанцию, на взгляд издали. В своей «Оде Сталину» он словно бы каталогизирует мотивы сталинистской мифологии, наподобие того, как можно было поступить с мифами цивилизации, окончившей свое бытие тысячи лет тому назад (например, как писал он сам о египтянах и ассирийцах). Пастернак сделал нечто противоположное: он предпринял попытку еще раз обратиться к «ты», к партнеру в диалоге, окликнуть с одного полюса мироздания – другой полюс.

...Он верит в знание друг о друге Предельно крайних двух начал.

И экспериментально выясняется, что на другом конце провода – однажды, как известно, метафора провода материализовалась! – нет собеседника. Что обращаться не к кому. Что у всемогущего носителя власти отнята данная самому последнему из людей способность: ответить на слово в разговоре.

Впервые: Пастернак и Манделштам: опыт сопоставления // Известия АН СССР. Сер. Литературы и языка. 1990. № 3. С. 213–217.

Судьба и весть Осипа Мандельштама

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей,
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

О. М.

Весть летит светопыльной обною,
И от битвы вчерашней светло.

О. М.

В письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года – таком судорожном и трудном, написанном поистине *de profundis*, из глубины, из бездны, – есть слова:

«Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

Ничего не скажешь – все исполнилось, все сбылось. Предсказание воронежского ссыльного оправдано временем. Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги «в ее строении и составе» необратимы – след алмазом по стеклу, как Мандельштам выразился однажды о воздействии Чаадаева. Масштаб мандельштамовского творчества – объективно уже вне споров. Другое дело, что всегда, может быть, будут люди, которых Мандельштам просто раздражает; что же, в его мысли, в его поэзии, во всем его облике и впрямь есть нечто царапающее, задевающее за живое, принуждающее к выбору между преданностью, которая простит все, и нелюбовью, которая не примет ничего. Отнестись к нему «академически», то есть безразлично, не удастся. Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в ведомственном доме отечественной литературы, отвести для него нишу в пантеоне и на этом успокоиться – самая пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет простой могилы, и это очень важная черта его судьбы. Что касается литературы, не будем забывать, что в его лексиконе это слово бранное: отчасти вслед за дорогим ему

Верленом¹, но куда резче Верлена и с другими акцентами. «Было два брата Шенье – презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил». У нас еще будет случай подумать и поговорить о смысле этой фразы; а пока будем помнить поразительный факт: бытие поэта понято Мандельштамом как смертельная борьба не с «литературщиной», а с литературой, то есть именно с тем, говоря по-соловьевски, отвлеченным началом, которое берется благодушно узаконить поэзию – и через это благополучно нейтрализовать ее. Вот перспектива, перед лицом которой поэт – «оскорбленный и оскорбитель».

Сказав о песни, о своей песни: «утеха для друзей», Мандельштам недаром поспешил добавить: «и для врагов смола». По правде говоря, не одним врагам с ним нелегко. Лермонтов у него назван «мучитель наш»; не раз возникает искушение – переадресовать эти слова ему самому. Если он нас измучил – каково же с ним тем, кто выбрал нелюбовь к нему? Положительно, без темных лучей вражды спектр того ореола, в котором является нам мандельштамовская поэзия, неполон. Если эти лучи погаснут, если Мандельштам перестанет тревожить и озадачивать, это будет плохая примета, знаменующая окончательную победу отношения к его поэзии не как к вести, а как к вещи: утехе уже не для друзей, а для коллекционеров. Но пока этого не случилось – голос вражды вместе с иными голосами по-своему свидетельствует о значении присутствия Мандельштама в нашей культуре и нашей жизни.

Об этом – уже не имеет смысла спорить. Но все, что касается облика поэта и характера его поэзии, – область содержательных разногласий. «Мандельштамисты» в нашей стране и за ее пределами разделены острыми спорами: достаточно вспомнить резкость, с которой делаются заявления «за» или «против» при обсуждении «мифологической» интерпретации, методологии школы Тарановского и т. п.² А как поляризуются черты личности в изображении мемуаристов! Воспоминания Н.Я. Мандельштам и А.А. Ахматовой, отчасти Б.С. Кузина и Н.Е. Штемпель³ дают монументальный образ, в котором к реальности ничего, в общем, не прибавлено, вот только кое-какие «случайные черты», как это называлось у Блока, стерты. Напротив, именно демонументализирующие, дегероизирующие черты выходят на пе-

редний план в записях Э.Г. Герштейн⁴, сила и слабость которых – в отсутствии пропорций, то есть сортировки материала. Но даже у Надежды Мандельштам и Кузина социальная позиция поэта в одни и те же годы выглядит совершенно различной, а интерпретаторы разводят линии еще дальше – на одном полюсе творится либерально-гражданственная легенда о поэте, чуть ли не главной заслугой которого оказывается обличение сталинизма; на другом, как у Г. Фрейдина, все гражданские мотивы мандельштамовской поэзии без остатка сводятся к игре, к «театру для самого себя», к инсценировке импровизируемой мистерии на тему обреченности избранника. Споры об этом непосредственно затрагивают конкретнейшую текстологическую практику – как в случае последней строки стихотворения «Если б меня наши враги взяли...». То же – с отношением Мандельштама, что называется, к культурному наследию; проблема в его случае важная, недаром же хрестоматийной стала мандельштамовская формула об акмеизме как «тоске по мировой культуре», но прийти к согласию хотя бы о подходе к этой проблеме не получается. Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть «Федру» Расина, ту «знаменитую "Федру"» – «Я не увижу знаменитой "Федры"...», – которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу? Ну, положим, именно этот вопрос основан на довольно простеньком недоразумении⁵; однако в целом осциллирование образа Мандельштама между фигурой умника-историсофа, вложившего в хитрые шифры метафорики страх как много премудрости (например, у немецкого исследователя Р. Дутли), и фигурой идиотического невежды, не способного заинтересоваться ничем, кроме капризов сюрреалистического воображения, которое отдано в безраздельную власть самых случайных созвучий, – очень характерно.

Несогласуемые между собой, не сводимые воедино представления о Мандельштаме – словно проекции трехмерного тела на плоскость. (Еще нужно проверить, разуме-

ется, насколько точно снята каждая из проекций, но это уже другой вопрос.) Чтобы получить три измерения, восставляют к прямой перпендикуляр, проводят через две прямые плоскость, а затем восставляют новый перпендикуляр, на сей раз – уже к плоскости. Поэзия, по Мандельштаму, – пространство даже не трехмерное, а четырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается восставлением «перпендикуляров», что он весь – поперек и наперекор самому же себе («себя губя, себе противореча...») и что это – не только от странностей психологии, от извилин биографии, но прежде всего потому, что иначе ему не освоить полноты измерений своего мира. По крайней мере, таков поэт мандельштамовского склада. У других поэтов, даже подлинных, мы найдем и однолинейную динамику порыва, и красоты, остающиеся на плоскости; у Мандельштама – не найдем или почти не найдем, и это сближает его с самыми большими из его собратьев, с его любимым Данте, с его Пушкиным и Тютчевым. А так как по извечному закону расплачивается за поэта человек, не приходится удивляться обилию «перпендикуляров» и «углов», разрывов и контрастов в человеческом бытии Мандельштама. Можно было бы понять, в чем дело, из поэзии самой по себе, даже не вспоминая о свойствах психофизического склада и, что важнее, о свойствах времени. Но те и другие свойства, конечно, присутствовали, чтобы осложнить жизнь человеку и чтобы сполна и без остатка, но преобразованными, преображенными, проясненными войти в поэзию.

* * *

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.

О. М.

2/14 января 1891 года у Эмиля Вениаминовича и Флоры Осиповны Мандельштамов родился старший из трех сыновей – Осип. Вспомним: 1889 – год рождения Ахматовой, 1890 – Пастернака, 1892 – Цветаевой. Со временем будет сказано:

Я рожден в ночь со второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.

А тогда девятнадцатый век шел к своему концу, и чего-чего – огня в нем не чувствовалось. «Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, – девяностые годы слагаются в моем представлении из картин, разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни» («Шум времени»). Тихое убожество и обреченная провинциальность – в поэзии выражением их была надсоединенная, в явление которой Мандельштам будет со временем вглядываться и вслушиваться уже с гигантской дистанции как в «загадку русской культуры», в «непонятый ее звук», но которая успела положить свою тень на его полудетские стихотворные опыты, решительно ничем не предвещавшие того, что будет писать юноша, не говоря уже о взрослом человеке: нормальные образцы народнической лиры.

Отец Мандельштама – странный, причудливый человек, погруженный в изобретение своей, как он выражался, «маленькой философии», тянувшийся к культуре, но не получивший образования; по выражению Н.Я. Мандельштам, он «был не фантазером, а фантастом, вернее фантазмагорией». Торговля кожей доставила ему возможность жить с семьей в Петербурге, но шла незадачливо – мешала сумасшедшинка. «У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? – Нет. Речь немецкого еврея? – Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? – Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза – это было все что угодно, но не язык, все равно – по-русски или по-немецки». На это безумие с тихим испугом смотрела мать поэта – родст-

венница известного историка литературы С.А. Венгерова, тип еврейки в русской интеллигенции. «Речь матери – ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, – но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приbedненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?»

От матери мальчик унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью, обостренное чувство звуков русского языка. От матери были русские книги в книжном шкафу, которому посвящена целая глава «Шума времени», и оторопь перед мозговым вывертом отца. Но свойство «косноязычия» воспринимается как свойство семьи в целом. Атмосфера родительского дома насыщена напряжением невыговоренного и невыговариваемого. «Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения – а между тем у нее было что сказать».

Здесь Мандельштам называет очень важный воспитующий фактор своих начальных лет. Возможно, и то и другое – и «было что сказать», и «косноязычие» – преувеличены восприятием отпрыска, призванного своим дарованием к борьбе за слово. Преувеличены – но не выдуманы. Ему достается странное, трудное наследство: не речь, а неутоленный порыв к речи, рвущийся через преграду безъязыкости. Речь необходимо завоевать, безостановочно расширяя границы выговариваемого, «прирожденную неловкость» нужно одолеть «врожденным ритмом». «Какая боль – искать потерянное слово...» Энергетический источник разогревания слова у Мандельштама – именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя жажда. Три рода косноязычия сливаются в единстве биографического импульса. Это безъязыкость евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием; недаром о матери сказано, что она до русской речи «дорвалась». Это общая безъязыкость надсоновской поры, когда старые возможности языка до предела исчерпаны, а к поискам новых никто покуда не догадывается приступить. И это, наконец, особая безъязыкость будущего

поэта, которому отродясь заказано благополучное пользование готовым языком, потому что он призван к иному; безобразии гадкого утенка – будущего лебедя.

И над этой тройной невнятицей – видение властной, повелительной гармонии: петербургская архитектура (семья перебралась в Павловск, «российский полу-Версаль», затем в столицу). Мандельштам будет вспоминать: «Семи или восьми лет весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, карриатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным». Как в «Медном всаднике» Пушкина, и в повседневном обиходе, в наивности детского восприятия архитектура была неотделима от военных имперских торжеств, так в жизнь Мандельштама вошла тема государственности, жесткой и стройной, тема Рима. «Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немислимым и идеальным всеобщим военным парадом». Но, еще раз как в «Медном всаднике», бранно-архитектурное имперское великолепие требует противовеса, ему идет быть увиденным глазами человека, которому оно, собственно, не по чину, для которого оно – в чужом пиру похмелье. Державный блеск «очень плохо вязался с кухонным чадом среднемецанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами». Между еврейскими истоками мальчика в Петербурге и тем, что развертывается перед его глазами, – неразрешенный диссонанс, описываемый по аналогии с тютчевской антитезой дня как покрова и ночи как утаенной этим покровом бездны. «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накиннутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал».

Заметим, что в этом бегстве, намечающем важное для мандельштамовской поэзии противоположение родимого и

страшного «утробного мира» – и «тоски по мировой культуре», продолжен порыв, гнавший в свое время отца «самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» и приведший мать в российско-интеллигентскую среду, так что для нее и мир отца представлялся допотопным «хаосом». Порыв этот, насколько можно догадываться, определял воспитательную стратегию матери. «Насколько я понимаю, – замечает в своих воспоминаниях Н.Я. Мандельштам, – мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии – и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи» («Вторая книга»).

Тенишевское коммерческое училище, учеником которого Осип Мандельштам был в 1900–1907 годах, – одна из лучших школ тогдашней России. Как в детстве – петербургская архитектура и петербургские парады, так в отрочестве – Тенишевское училище было образцом строгого и ясного рационального порядка, однако в ином варианте, менее праздничном, более интеллигентски-аскетическом, умно-стускленном. «А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых». Таков был фон двух формирующих переживаний: именно тогда в сознание отрока вошли, во-первых, революция, во-вторых, та стихия, которую Мандельштам назовет «литературной злостью».

Первая русская революция со всеми событиями, непосредственно ее подготовившими и непосредственно за ней последовавшими, для мандельштамовского поколения совпала со вступлением в жизнь, явилась как бы «инициацией»: вспомним поэму Пастернака «Девятьсот пятый год». Парадоксальным, но понятным образом революция была пережита в отроческих восторгах тенишевца как обновляющая метаморфоза все той же архитектурно-имперской «славы», которая «переехала», сменила свое место в жизни, оставив защитников режима и перейдя к его противникам. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем

же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем и другим казалось невозможным жить несогретыми славой своего века, и те и другие считали невозможным дышать без доблести». Это – для чувства; для ума – выбор между социал-демократами и социалистами-революционерами. Марксизм импонировал мальчику Мандельштаму своей «архитектурностью» – как противоположность народнической «расплывчатости мироощущения»; однако под влиянием семьи Синани (врач и душеприказчик Глеба Успенского Борис Наумович Синани, чей рано умерший сын был товарищем Мандельштама по Тенишевскому) будущий поэт сближается с эсерами. Весной 1907 года он произносит пламенную речь перед рабочими квартала по случаю событий, касавшихся Государственной думы; в самом конце года, уже окончив Тенишевское, он будет слушать на собрании русских политических эмигрантов в Париже речь Савинкова, поражая присутствующих своей впечатлительностью. «Главным оратором на собрании был Б.В. Савинков, – вспоминает М.М. Карпович. – Как только он начал говорить, Мандельштам весь вострепнулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полужакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, – так что я даже боялся, как бы он не упал». Явственные отголоски настроений этого периода мы будем встречать и много, много позднее: непростая диалектика отношения Мандельштама к народническо-эсеровской традиции – важная составляющая его мировосприятия. Но тогда, на переломе от отрочества к юности, он оставил политику ради поэзии. В 1910 году его новый друг С.П. Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского религиозно-философского общества и знаток православной церковной музыки, запишет о нем в дневнике: «Теперь стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта».

В мир русской поэтической традиции, как и в мир новой, то есть символистской, эстетической культуры, Мандельштама ввел тенишевский учитель словесности Владимир Васильевич Гиппиус, печатавшийся под псевдонимами «В. Бестужев» и «В. Нелединский», довольно слабый поэт, но человек острого и глубокого ума, одаренный критик, а

если верить мандельштамовской характеристике – и рожденный педагог, «формовщик душ». У него можно было учиться «литературной злости» – тону страстного и пристрастного отношения к поэтическому слову. «Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье». Даже если бы мы не знали юношеского письма, в котором ученик объясняется в любви-ненависти к своему учителю, по одной только заключительной главе «Шума времени», специально посвященной В. Гиппиусу, было бы ясно, как много значил в жизни Мандельштама этот человек.

После окончания Тенишевского училища происходят те немногие встречи Мандельштама с Западной Европой, эхо которых звучит в его поэзии вплоть до стихотворения «Я прошу как жалости и милости...», написанного в марте 1937 года: с октября 1907 по лето 1908 года он живет в Париже, после этого путешествует по Швейцарии с однодневным заездом в Геную; второе путешествие на Запад (два семестра в Гейдельбергском университете, посвященные романской филологии, с новыми поездками в Швейцарию и Италию) – с осени 1909 года по весну 1910 года; третье и последнее – в пригород Берлина Целендорф с 21 июля 1910 года по середину октября того же года. В сумму архитектурных впечатлений Мандельштама входит европейская готика, которой суждено было стать важнейшим значащим компонентом мандельштамовской образной системы (занятия старофранцузской поэзией в Гейдельберге подбирали к той же готике словесные, историко-литературные ассоциации).

В перерывах между поездками юноша посещает знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова – средоточие таинств и торжеств символистской культуры. Из Гейдельберга он посылает Иванову письма, странно сочетающие с ломкой мальчишеской заносчивостью тона неожиданную зрелость и уверенность мысли. Но еще больше зрелости и уверенности – в стихах восемнадцатилетнего Мандельштама, приложенных к письмам. Это уже настоящие стихи.

В девятой, августовской книжке журнала «Аполлон» за 1910 год – первая публикация поэта: пять стихотворений. Начинался новый период жизни Мандельштама.

* * *

Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих...
О. М.

Любите существование вещи больше
самой вещи и свое бытие больше самих
себя – вот высшая заповедь акмеизма.
О. М.

Уже в раннем творчестве Мандельштама очень внятно заявляет о себе до упрямства последовательная художническая воля, обходящаяся без демонстративного вызова, но тем более сосредоточенно и бесповоротно отклоняющая все возможности, кроме избираемой.

На поверхности это предстает поначалу как некий негативизм – или, если выразиться более высоким слогом, «апофатизм».

Еще К. Браунм и за ним Н.А. Струве отмечалось преизобилие у раннего Мандельштама отрицательных эпитетов: «небогатый», «небывалый», «невидимый», «невывразимый», «невысокий», «неживой», «нежилой», «недовольный», «незвучный», «неизбежный», «немолчный», «ненарушаемый», «неожиданный», «неостывающий», «нерешительный», «неторопливый», «неузнаваемый», «неунывающий», «неутоленный», «неутолимый» и т. д.; сюда же – «бесшумный», «безостановочный» и проч. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха!

От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей...

Стихотворение часто начинается отрицанием: «Ни о чем не нужно говорить, / Ничему не следует учить»; «Она еще не родилась»; «Быть может, я тебе не нужен»; «Нет, не

луна, а светлый циферблат»; «Я не поклонник радости предвзятой». Или отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из всего сказанного:

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада...

Или оно логически обосновывает некое «да», покоящееся на «нет» как на фундаменте:

...Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал...

Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения:

Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам,
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет, –

Когда, закутанный плащом,
Не согревающим, но милым...

И над техникой, и над образностью господствует принцип аскетической сдержанности: сразу бросается в глаза, чего здесь нет, от чего стихотворение очищено, – отсутствие многозначительнее присутствия.

Нет звонких, редких, изысканно-богатых или экспериментально-небрежных рифм. Мандельштам никогда не будет рифмовать «страстотерпный – неисчерпный», как Вячеслав Иванов; «палестр – де Местр», как Волошин; «дельта – кельта», как Бенедикт Лившиц; «беспокоиться – Троица», как Михаил Кузмин; «сковывающий – очаровывающий», как Брюсов; «баней – Албанией», как Маяковский; «лица – лопается», как Цветаева. У него преобладают рифмы «бедные», часто – глагольные или вообще грамматические, создающие ощущение простоты и прозрачности. Все сделано для того, чтобы рифма как таковая не становилась самостоятельным источником возбуждения, не застила собой чего-то иного.

В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор. Манделъштам избегает слов, чересчур бросающихся в глаза: у него нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова; ни нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского; ни обилия неологизмов, как у Цветаевой и особенно у Хлебникова; ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Кузмина и Пастернака. Очень редки в ранних манделъштамовских стихах имена собственные. Потом их станет больше, появятся строки, целиком из них состоящие («Россия, Лета, Лорелея», «Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита»); но неизменным принципом останется исключительность, выделенность каждого имени собственного, а потому как бы затрудненность его введения – «Легче камень поднять, чем имя твое повторить», – глубоко коренящаяся в том, что можно было бы назвать поэтической верой Манделъштама. Любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, которое нельзя употреблять всуе. Установкой на субстанциальный характер акта именования исключено расточительное употребление «экзотических» имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова или Волошина. Чисто практически это означает отказ еще от одной возможности сделать лексику пряной или пестрой. И здесь строгая прозрачность, представляющая внешне как скудость или скупость, предпочтена «колерам».

Этому соответствует образный строй. В ранних стихах Манделъштама нет ни громких звуков, ни яркого света: звук у него «осторожный и глухой» и даже полдень – «матовый». Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия. Вдохновение ни на минуту не забывает о своей временности, прерывности: ритмический экстаз – «мгновенный», это «только случай, неожиданный Аквилон», который уйдет и «совсем не вернется» или «вернется совсем иной». Восторженность ограждена и уравновешена самоограничением, трезвым различием между своим домашним затвором – и «эфирными лирами» нечеловеческой бездны космоса:

Есть целомудренные чары –
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Недаром замечательный немецкоязычный поэт Пауль Целан, хорошо знавший стихи Манделштама, много их переведивший, в собственном стихотворении связал дух манделштамовской поэзии с идеей «конечного»: «Da hört ich dich, Endlichkeit, singen, / Da sah ich dich, Mandelstam [...] Das Endliche sang, das Stete...» («Я слышал, как поешь ты, о конечно, я видел тебя, Манделштам [...] Пело то, что конечно, то, что пребывает»). Подумаем о том, как разошлись пути поэтов. Цветаева шла к тому, чтобы сделать «безмерность» одновременно темой и принципом своего творчества. Путь Манделштама к бесконечному – противоположный: через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некоей онтологической границы.

Стусклённый, «матовый» колорит ранней манделштамовской поэзии не наделен никакой специфической многозначительностью во вкусе символизма или его эпигонов – это не «лиловые миры» Блока и еще того менее «некто в сером» из ненавистного Манделштаму Леонида Андреева. Но дело здесь обстоит вдвойне непросто, и оба осложняющих фактора – черты нового сравнительно с символистской эпохой.

Во-первых, колорит этот решительно не поддается интерпретации в терминах, носящих оценочный характер, более того, делает любую попытку однозначной интерпретации «со знаком плюс» или «со знаком минус» просто абсурдной. Истолковать его только как выражение мудрости и целомудрия («Есть целомудренные чары») – чересчур благостно; увидеть в нем только знак уныния, безлюбия, юношеской меланхолии («О, позволь мне быть также туманным») – уж слишком бедно. То есть на поверхности одно как будто сменяется другим – в одних стихотворениях речь идет о «высоком ладе», а в других – о «сумрачной жизни»; но внимательный читатель скоро заметит, что на глубине истинным предметом остается одна и та же отрешенность, которую было бы крайне неосторожно отождествить с тем или иным ее аспектом – утешительным или неутешитель-

тельным. Притом отметим, что если тема «высокого лада» не имеет частого у символистов проповеднического, учительного звучания («Ничему не следует учить»), то тема «сумрачной жизни» не выливается в сарказмы, не приводит ни к обвинениям Бога и мира, ни к самообвинениям или, напротив, самооправданиям. Никаких порывов по примеру персонажа Достоевского «возвратить билет» Богу. Никаких поползновений объявить войну Солнцу, как в стихах Федора Сологуба, который до известной меры являлся для раннего Мандельштама образцом. В семнадцать лет поэт скажет, что «ничего не приемлет» от жизни, через два года поправит себя: «Твой мир болезненный и странный / Я принимаю, пустота!» – и уж после никаких разговоров ни о «приятии», ни о «неприятии» мира, столь характерных для символистской и послесимволистской поры, нет как нет. Нет и попыток отделить себя самого от «сумрачной жизни», от болезненного и странного мира пустоты, укоризненно противопоставить себя «всему кругом», как сказано в заглавии одного стихотворения Э. Гиппиус, – и поэт такой же, как все и всё: самое его одиночество – не какой-то удел избранника, а попросту норма в мире, «где один к одному одинок». При этом экстатическое слияние со всем сущим как патетический жест или особо формулируемая тема – будь то в ноте Уитмена, подхваченной у нас Маяковским, будь то в духе программы сборности, теоретически сформулированной Вяч. Ивановым, – абсолютно исключено. Лишь на самом исходе своего пути Мандельштам скажет о себе: «Всех живущих прижизненный друг», – но это будет честно оплаченный итог, вывод из всего сказанного, сделанного и выстраданного, а не исходная презумпция «радости предвзятой», от которой поэт отказался в самом начале и навсегда. Факт собственной единоприродности с невнятицей «тусклого пятна» сырой и серой природы, с «мировой туманной болью», с жизнью разобщенных людей не внушает молодому Мандельштаму энтузиазма, он может только сказать этой безликой стихии: «О, позволь мне быть также туманным / И тебя не любить мне позволь», – но это не гнев, которого было предостаточно у той же Гиппиус и которым будут звенеть стихи зрелой Цветаевой; человеку не за что любить аморфную тусклость, которой так много в мире и в людях, но ее же он ощущает и внутри себя, так что тяжбу ве-

сти не с кем. Ситуация самого поэта перед лицом мира не описывается ни в радужных тонах, как у Бальмонта, но также порой, скажем, у Кузмина («Новые дороги, всегда весение, чаются...» и т. п.), ни в мрачных тонах, как отчасти у Блока («Молчите, проклятые книги...») и стольких других; поэт не лучше и не хуже других людей (в отличие от «литератора», обязанного быть «выше» общества, как Мандельштам заметит в статье 1913 года «О собеседнике»), он относится к самому себе просто – какой есть. «Какая есть. Желая вам другую», – скажет через десятилетия Ахматова; но и в этих словах есть педалирование темы, у Мандельштама отсутствующее. Он даже не скажет о себе «какой есть», настолько это самоочевидно. Вибрация личного самоощущения, со всеми муками «разночинской» неловкости, со всеми эксцессами самоутверждения и стыда, обиды и неуверенности, которая была весьма свойственна личной психологии Мандельштама как человека и которая нашла впоследствии выражение в прозе, например в «Египетской марке», – с самого начала и довольно последовательно изгнана из мандельштамовских стихов. «Я забыл ненужное "я"».

Во-вторых, «матовые» тона, приглушенные звуки, отказ от мифологизации места поэта среди людей – все это странно соединяется с постоянной, равномерной торжественностью тона. Торжественность раннего Мандельштама, не нуждающаяся в пафосе, в восклицательных знаках и высоких материях, почти что вовсе безразличная к теме и предмету, в соединении с медлительным ритмом стиха вызывает ощущение рассеянного взгляда, смотрящего сквозь вещи. С точки зрения поэтики XIX века, также и в ее символистской переработке, эта беспредметная торжественность вызывает мысль о пародии; говорить выпендренно о чем попало – самый избитый прием пародистов. Но у Мандельштама равномерно приподнятости отвечает столь же равномерная серьезность, изливающаяся на все предметы без различия; в некоторых стихотворениях 1913–1914 годов («Старик», «Кинематограф», «Американка», «"Морожено!" Солнце. Воздушный бисквит...», отчасти «Аббат») серьезность эта смягчена или модифицирована выведенным на поверхность юмором («И боги не ведают – что он возьмет: / Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?») – недаром большая их часть появлялась в «Новом Сатирико-

не»; позднее подобные интонации уходят. Вообще говоря, из свидетельств современников, а также из шуточных стихотворений, не введенных поэтом в канонический корпус его сборников, мы знаем, что Манделъштам был наделен исключительно высокой степенью чувства смешного; как это чувство соотносится с его серьезностью? Здесь не место для подробной характеристики манделъштамовского юмора; ограничимся двумя отрицательными констатациями – во-первых, это не традиционный юмор, по конвенциональной схеме выделяющий «комические» предметы среди некомических; во-вторых, это и не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков и особенно Гейне⁶. Получается парадокс: Блок, чья серьезность была несравнимо более наивной, подчас даже тяжеловесной, дезавуировал ее, вводя автородийную иронию «Балаганчика»; напротив, серьезность Манделъштама, которая, пожалуй, с блоковской точки зрения и серьезной-то не была – недаром у Блока нашлось для Манделъштама лишь слово «артист», – остается недезавуированной. По сути дела, взгляд Манделъштама, отрешенно покоящийся на мальчике перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейства или на небеса и землю. Но если торжественность «одичность» тона не мотивирована ни по старинке – выбором «высокого» предмета, ни на более новый, символистский манер – патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии, возникает законный вопрос: чем же она мотивирована? Раз ее предмет – не качества вещей и не ранг вещей, очевидно, это самое бытие вещей. Стускленность колорита и служит тому, чтобы переадресовать интонационную важность от сущего – к самому бытию, «ничем не прикрашенному», как скажет Манделъштам в статье «Утро акмеизма». Нам легче понять такое движение поэтической мысли, чем современникам Манделъштама: между его временем и нашим – такое явление, как философия Хайдеггера, только и старавшегося о том, чтобы *das Seiende* – сущее – не закрывало собою *das Sein* – бытие. Но ведь Манделъштам-то писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя» – еще в 10-е годы, то есть лет за двадцать до того, как Хайдеггер только начал приходить к своим темам; а тогда о нем не

слыхивали даже немецкие философы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком почти и не читавший философов, за вычетом Владимира Соловьева, Бергсона и Флоренского⁷, так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30–50-х годов. Но в пределах поэзии как таковой применение торжественной интонации к «тусклым пятнам», вовсе не демонизируемым, как «пошлость таинственная» у Блока, не вводимым ни в какой мистериальный сюжет, а данным в тождестве себе, – это очень мощное разрушение поэтики символизма. Последняя не могла ужиться с перефункционализированием ее же собственной «жреческой» установки, и это тем более, что такой сдвиг функций не уходит в приготовленные заранее каналы иронии или пародии, не дает – при адекватном восприятии – комической разрядки. Говорят, будто смех убивает; на самом деле убивает совсем иное – серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь. Естественно, что современники некоторое время понимали особенность поэзии Мандельштама как утрировку той торжественности, к которой их приучил символизм (поздний отголосок этого первого впечатления можно встретить, например, в неглупой и задорной рецензии С. Боброва – «Печать и революция», 1923, кн. 4). Это было одновременно и недоразумением, и разумением, превратным выражением истинного положения дел. Чувство меры, как его понимает самозамкнутое самосознание литературной эпохи, – это чувство, подсказывающее, между прочим, где надо остановиться, чтобы не нарушить прежнего статуса того или иного приема. Тривиальное нарушение чувства меры нарушает прежний статус, не давая нового. Но содержательная «утрировка» отменяет прежний статус, чтобы дать новый статус и новый смысл.

Необходимо добавить, что парадоксальное соединение «одичности» и «стускленного» колорита, будучи разрывом с инерцией символистской линии, одновременно может до известной меры рассматриваться как возврат на новом уровне к одному из истоков символизма – к наивно-важной, негромко-угловатой рассудительности гениального юноши Ивана Коневского, утонувшего двадцатитрехлетним в 1901 году. Мандельштам не забывал об этом: отголо-

ски поэзии Коневского займут важное место в мандельштамовских стихах разного времени, а прямые ее упоминания – в прозе.

Осталось сделать три замечания, касающихся мира раннего Мандельштама и тех его свойств, которые были только что описаны.

Начнем с того, что стихи 1908–1910 годов представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой поэзии: очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть ли не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии.

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретную жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

Никакой это не декаданс – все мальчики во все времена чувствовали, чувствуют и будут чувствовать нечто подобное. Боль адаптации к жизни взрослых, а главное – особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой холодностью, когда межличностные связи еще не налажены: все это для мальчика – не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается. Скрытная застенчивость мальчика, а затем и ностальгическая сентиментальность воспоминаний взрослого о собственных ран-

них годах в своем сотрудничестве создают условную, приукрашенно бодрую картину отрочества и юности, усваиваемую и закрепляемую обыденным сознанием. Притом обычно у мальчика, даже если он – поэт в будущем, покамест нет еще слов, чтобы с достаточной точностью и силой описать психологию своего возраста. Но недостаток словесного умения – не единственная помеха. Даже в редких случаях необычайно ранней реализации поэтического дарования механизмы, называемые у психологов компенсаторными, обычно направляют пробудившуюся силу слова на то, чтобы маскировать пугающие зияния и туманы собственной душевной жизни либо готовой образностью наследуемой культуры, что по большей части можно видеть даже у раннего Пушкина, либо, что более обычно, безудержным романтизированием своего «я» (юный Лермонтов, юный Блок). Более реалистический подход к психологии подростка у Рембо окрашен в слишком черные тона – опять-таки романтические, – слишком демонизирован, чтобы дойти до подлинной объективации. Короче говоря, обычно один из самых необходимых признаков юношеской души, все равно, у самых обычных людей или у самых больших поэтов, – это неспособность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов и самооправданий, и адекватно дать себя в слове; приобретая способность объективации, душа как раз и перестает быть юношеской. Здесь Мандельштам – редчайшее исключение, обусловленное не только силой таланта, но особенностью становления его человеческой и поэтической личности. Произошел какой-то сдвиг сроков: хотя в нем очень долго держался «мальчик», по-отрочески скрытный, по-отрочески общительный, поражающий современников импульсивностью поведения и вызывавший у них улыбку детской страстью к сладостям, наряду с этим он же необычно рано созрел как «муж», способный смотреть на себя, «мальчика», со стороны и описывать душу этого мальчика точно и здраво, в стихах, по-своему вполне совершенных. Не будем повторять общих мест – дело не в том, что поэт вообще чаще всего бывает, с одной стороны, «наделен каким-то вечным детством», как скажет Ахматова о Пастернаке, а с другой стороны, взрослее взрослых, ибо смотрит на вещи неожиданно смело и пронизательно. Нас интересует не «поэт вообще», а неповторимый случай Ман-

дельштама, который даже в плане биографическом не с чем сравнить. Но куда больше занимает нас конструктивное значение, определенное столь трезво трактуемой теме перепадов юношеской психологии в общем смысловом контексте ранних мандельштамовских стихов. Контексте, если угодно, полемическом.

Как все мы знаем, традиционной лирике в общем свойственно игнорировать прерывность душевной жизни человека, работая с фикцией беспримесных эмоциональных состояний, якобы наполняющих собою все психофизическое бытие личности и всю вечность лирического мгновения. Фикция эта сохраняла все свои права и тогда, когда эмоциональное состояние описывалось как противоречивое (еще у Катулла – «ненавижу и люблю»); просто самодержавный статус доминанты передавался противоречию. Драма и роман давно отошли от такой практики: Пушкин хвалил Шекспира за то, что у последнего – в противоположность Мольеру – поведение персонажа несводимо к доминанте. С лирическими жанрами дело обстояло сложнее. Сначала упомянутую фикцию поддерживала откровенная условность риторических правил (скажем, меланхолический Батюшков принужден был являть себя жизнелюбивым и влюбчивым в стихах из анакреонтического рода – «Эвоэ! и неги глас»); романтизм потеснил правила, но поставил на место игровой условности, по-своему честной, спонтанность страсти. Подумать только – заданную, требуемую, принудительную спонтанность, спонтанность как императив! Старая система в течение эпох сохраняла пристойную дистанцию между лирикой и психологией; великое притязание романтической и послеромантической культуры – сломать барьер и непосредственно ввести в лирику психологию. Но психология эта оказывалась в очень важном пункте неточной. Господствовавший в XIX веке тип лиризма менее верен психологии, чем древние библейские псалмы, с их немотивированными и оттого особенно убедительными переходами-перепадами от экзальтации к протрации и обратно, или чем оды Горация, где «маятник лирического движения», как блестяще показал М.Л. Гаспаров⁸, колеблется между двумя состояниями, а под конец замирает в равноудаленной от них точке. Над лиризмом XIX века господствует представление о дрящемся эмоциональном по-

рыве, так сказать, с правильными контурами, с красивой линией подъема или нисхождения, без риска сбоев. Упомянувшаяся выше ирония в духе Гейне сама по себе не только не разрушала эту лирическую псевдопсихологию, но, напротив, помогала консервировать ее, давая внутривитературное разрешение всем несоответствиям между ней и конкретным человеческим опытом. И с этой точки зрения психология юноши, какова она есть на самом деле, со всеми пустотами и проблемами, со всеми фантомами эмоций, остающихся в возможности, ибо не получивших для себя предмета, – особенно резкий пример тех черт общечеловеческой психологии, которую лиризм XIX века не сумел освоить. Ввести юношескую психологию как тему – значило разорвать замкнутый круг.

Проблема, о которой мы говорим, была обострена практикой русских неоромантических течений – символизма и отчасти футуризма. И тому и другому, как известно, противопоставил себя акмеизм, впервые декларативно провозглашенный Гумилевым и Городецким в начале 1912 года. Здесь не место останавливаться на деятельности «Цеха поэтов», выяснять нюансы, отделявшие акмеизм как таковой от родственного ему «кларизма» Михаила Кузмина, или, скажем, удивляться, что Мандельштам оказался в одной литературной группировке с Городецким, еще недавно – неоязыческим мифотворцем в арьергарде Вяч. Иванова. «Древний хаос потревожим. / Мы ведь можем, можем, можем!» – восклицал Городецкий, и нет, кажется, ничего более далекого от внутренней музыки раннего Мандельштама, чем этот бодрый напор, да еще с метафизической претензией. Но дело не в таких частностях: формулировки литературных манифестов, персональный состав группировок – всегда смесь смысла и бессмыслицы, то есть случайности, что не снимает с нас задачи искать за случайностями смысл. Для самого Мандельштама было очень важно, что это означало в перспективе его поэтического пути.

Не стоит соблазняться расхожим представлением, подсказываемым самими акмеистическими манифестами, будто суть акмеизма – в «вещности», понимаемой как чувственная пластическая наглядность и конкретность реальных. Применительно к Мандельштаму такое представление явно не работает. Когда он хочет передать вещь не то что зри-

тельно, а на ощупь, он достигает цели одним эпитетом («А в эластичном сумраке кареты...»); но выразительность деталей уравновешена их скупостью, их сознательной и последовательной разреженностью, а конкретное увидено настолько издали, проходящим сквозь него взглядом, что становится абстрактнее всех абстракций. В этом отношении Мандельштам – антипод Пастернака. Если мы вспомним аристотелевское деление признаков вещи на сущностные и случайные («субстанциальные» и «акцидентальные»), то поэзия Пастернака – убежденное уравнивание случайного с сущностным и постольку апофеоз конкретности; у него «чем случайней, тем вернее», и даже Бог – «всесильный Бог деталей», а поэзия – «лето, с местом в третьем классе»; напротив, поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя. Пастернак живет среди вещей своего века, беря их совершенно всерьез, – чего стоят заоконные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не бывало и нет!» – он братается с вещами, упраздняет дистанцию между бытом и бытием, коль скоро «на свете ни праха нет без пятнышка родства»; не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, интеллигентский, например консерваторский, обиход, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без всякого препятствия становится у него частью лирической темы. Если бы «вещность» действительно была критерием акмеистичности, Пастернак, никогда ничего общего с акмеизмом не имевший, оказался бы акмеистичнее даже Ахматовой, не говоря уже о Мандельштаме⁹. Воздух у него прямо-таки густ от вещности – а у Мандельштама прозрачен, по-своему не меньше, чем, например, у Вячеслава Иванова¹⁰ (или, на другой манер, у поздней Цветаевой, в определенных отношениях мандельштамовского антипода). На вещи своего века Мандельштам смотрит, как только что сказано, с огромной дистанции; это для него как будто озадачивающие курьезы, чья конкретность до конца растворена в интеллектуальной эмоции удивления, настолько равномерного, что кажущегося спокойным. То же удивление обращено на его собственную личность, на себя как субъект биографии: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Взгляд сосредоточен не на вещнос-

ти вещи, а, как мы отмечали, на ее бытии – и еще на том, что у философа Гуссерля (которого Мандельштам, по-видимому, не знал) называется «интенциональностью»: на природе самого познавательного отношения к вещи. И при этом поэт обходится, в отличие от Андрея Белого, без философского жаргона; в отличие от символистов вообще – без выведения философского плана на поверхность; в отличие от Цветаевой – без превращения своей чуждости вещам в специально заявленную тему. Для него это не тема, а ровный фон для всех тем. Необходимо перечувствовать в ранних стихах Мандельштама то грустный, то позабавленный, но всегда отчужденный взгляд на реалии богемного или буржуазного быта («Золотой» – второстепенное по качеству, но очень характерное по интонации стихотворение) хотя бы для того, чтобы не поддаваться тривиально «советскому» или тривиально «антисоветскому» истолкованию такого же подхода к приметам «эпохи Москвошвея» в его поздних стихах. Вещи менялись, и самочувствие поэта в разные периоды его жизни тоже менялось; но прослеживаемая на глубине структура отношения к вещи оставалась неизменной от начала до конца.

Вернемся, однако, к проблеме акмеистического бунта против символизма. Если суть – не в вещиности, не в наглядности и выпуклости, то в чем? Пытаясь ответить на этот вопрос в своей «Второй книге», Н.Я. Мандельштам рисует примерно следующую картину. Главы символистского движения, прежде всего Вяч. Иванов и Брюсов, «соблазнили» и «ловцы душ», разрушили или подменили христианскую моральную традицию, увели от вечных ценностей и ясных критериев, явившись предтечами грядущего одичания. Переосмысленный Вяч. Ивановым идеал «соборности» вел к отказу от личного начала, его же мечта об «оркестрах и фимелах» всенародного действия материализовалась чуть ли не в лагерной самодеятельности и прочая. Дело символистов было в более brutальных формах продолжено футуристами, получившими от своих предшественников благословение. Однако в защиту отринутого «христианского просвещения», как некие рыцари, выступили акмеисты. Поскольку ни Зенкевич, ни Нарбут, не говоря уже о Городецком, в рыцари, тем более христианские, не годятся, рыцарей оказывается трое: Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Что сказать о такой концепции? В том виде, в котором она

высказана у вдовы поэта, она представляет собой просто миф, имеющий, как всякий миф, определенное отношение к действительности – но весьма специфическое. По частностям можно много возражать¹¹, но это едва ли было бы адекватным подходом к мифу. Попробуем лучше перевести его на более рациональный язык.

Если существует общий знаменатель, под который можно не без основания подвести и символизм, и футуризм, и общественную реальность послереволюционной России, то знаменателем этим будет умонастроение утопии в самых различных вариантах – философско-антропологическом, этическом, эстетическом, лингвистическом, политическом. Подчеркиваем, что речь идет не о социальной утопии как жанре интеллектуальной деятельности, а именно об умонастроении, об атмосфере. «Человек есть нечто, что следует преодолеть». Вместо человека – сверхчеловек: всепроникающее влияние Ницше, прослеживаемое от Вяч. Иванова до Максима Горького, да ведь и Маяковский неспроста назвал себя «крикогубым Заратустрой» («крушение гуманизма», по Блоку, относится, конечно, туда же). Вместо искусства – сверхискусство: для теории «теургии» это очевидно, однако и заостренное против этой теории акцентирование прав артистизма, скажем у Брюсова, само собой переходило в абсолютизацию артистизма; уж если «все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», значит, стихи – уже не просто стихи, не веселое пушкинское «для звуков жизни не щадить», а предмет квазирелигиозного культа. Но ведь и непосредственное слияние искусства с жизнью на улицах и площадях, в неожиданном согласии предсказанное и Вяч. Ивановым и Маяковским и отчасти осуществленное в массовых действиях первой послереволюционной поры, в экспериментах «жизнестроителей», – тоже вариант сверхискусства. Соответственно вместо языка – сверхязык: если жреческая речь Вяч. Иванова отчасти приближалась к сфере лексической утопии, то «заумь» футуристов уже всецело принадлежала этой сфере... И здесь мы вправе сказать, что если понятие акмеизма более или менее сводится к понятию творчества двух столь несхожих поэтов, как ранняя Ахматова и ранний Мандельштам¹², то акмеизм действительно был вызовом духу времени как духу утопии. Ахматова и Мандельштам подхватили импульс антиутопизма, среди символистского поколения воплощенный

с достаточной чистотой, пожалуй, в одном Иннокентии Анненском. Недаром имя Анненского выделялось акмеистами с полемической эмфазой.

Вот, стало быть, исторический контекст упорства, с которым ранний Мандельштам отказывается от «радости предвзятой», но и от столь же предвзятой трагической позы, вслед за Анненским настаивая на прерывности эмоциональной жизни души, на ее неожиданной хрупкости, на законе перепадов и противочувствий. В споре между утопией и антиутопизмом вопрос был поставлен едва ли не в первую очередь о поэте. Если в свое время Пушкин с несравненной правдивостью поведал, что все бытие поэта – чередование взлетов вдохновения с провалами и пустотами, когда забытый Аполлоном служитель, быть может, ничтожнее всех «меж детей ничтожных мира», то эпоха утопий восстановила и возвела в абсолюте старый романтический принцип, согласно которому поэт обязан не выходить из экстаза двадцать четыре часа в сутки, на глазах у всех горя и сгорая, как неугасимая свеча. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературной биографии – от личной [...] От каждого, вступавшего в орден ...требовалось лишь непрерывное горение ...безразлично, во имя чего» (В. Ходасевич¹³). «Гори!» – действительно ключевое слово, объединяющее символизм, футуризм и утопический понятый восторг революции. «Распрости свое объятье – / И гори, гори!» – твердит Вяч. Иванов человеку. «Люблю тебя за то, что ты горишь», – обращается он же к Бальмонту. Блок цитирует Фета: «Там человек сгорел», – и говорит о «гибельном пожаре» жизни за «бледными заревами» искусства. Маяковский стоит на той же линии, когда диагностирует у себя «пожар сердца». «Рыдай, буревая стихия, / В столбах громового огня! / Россия, Россия, Россия – / Безумствуй, сжигая меня!» – обращается Андрей Белый к стране революции. Достаточно вспомнить трагический облик Блока, муку Андрея Белого, гибельное юродство Хлебникова, самоубийственное тореадорство Маяковского, чтобы почувствовать: принцип непрерывного горения – не поза, а именно утопия, в жертву которой поэты приносили свои нервы и свои души (последней жертвой на этом алтаре была, конечно, Цветаева, преобразовавшая поэтическую систему, но оставившая без изменения личностную установку символизма¹⁴). Но у Ходасевича недаром добавлено: гореть – «безразлично, во имя че-

го». На описанном пути невозможно было избежать имморализма. Если налицо обязанность – гореть каждое мгновение, вопрос о духовном качестве огня, о его небесной или гееннской природе сам собой отпадает. Как сказано у Волошина: «Беги не зла, а только угасанья; / И грех, и страсть – цветенье, а не зло». Брюсов еще раньше выразил готовность восславить – «и Господа, и дьявола». На стадии футуризма выясняется, что не только «грех и страсть», не только трагически окрашенная дьяблерия, но и вульгарность как таковая может стать предметом утопической абсолютизации: эгофутурист Игорь Северянин взял на себя доказать это со всей необходимой основательностью. Не забудем, что его восторженно приветствовал Федор Сологуб и вполне всерьез принял Блок.

Символизм немислим без своей религиозной претензии. Символисты легко приступали к штурму верховных высот мистического восхождения; «новое религиозное сознание» было лозунгом их культуры. Старые критерии для отличия христианского от антихристианского или хотя бы религиозного от антирелигиозного отменялись, новых не давалось, кроме все того же: «гори!» Поэтому для символизма в некотором смысле все – религия, нет ничего, что не было бы религией (то есть, выражаясь более трезво, нет ничего, что не поддавалось бы религиозной стилизации по некоторым правилам игры). Эротический экстаз можно было отождествить с мистическим («путь в Дамаск»), а богоборчество включить в систему религиозной топике. Поэтому ни антирелигиозность раннего Маяковского, ни, так сказать, парарелигиозность Хлебникова в конечном счете не нарушали правил игры. Поэтому же Маяковскому было куда легче отказаться от Бога, чем от того типа широковещательности и метафизической заносчивости, который повелительно требует библейских оборотов, разумеется выворачиваемых наизнанку. Здесь пример подал первоучитель эпохи – Фридрих Ницше, клявший христианство, но не устававший имитировать новозаветную стилистику. Но игры в богоборчество поражают наш взгляд меньше, чем религиозная неразборчивость людей религиозных: даже Вяч. Иванов – тот из символистов, чье отношение к богословской традиции было едва ли не самым органичным, – в 1909 году был способен рекомендовать В. Бородаевскому в качестве поучительного примера «религиозной гармонии» и «непре-

станной молитвы»... Михаила Кузмина. Настолько двусмысленными стали религиозные понятия, одновременно эмансипированные от своего «канонического» смысла и не теряющие неких притязаний на этот смысл.

Ахматову и Мандельштаму, в меньшей степени Гумилеву объединяет протест против инфляции священных слов. Мандельштам скажет: «...русский символизм так много и громко кричал о "несказанном", что это "несказанное" пошло по рукам, как бумажные деньги». У акмеистов святость сакрального слова восстанавливается через подчеркивание его запретности: его произнесение грозит непредсказуемыми последствиями. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...» У Гумилева мотив запрета на слово дан еще в тонах мифологизирующей стилизации:

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Это уже много серьезнее, когда Ахматова предупреждает:

О, есть неповторимые слова;
Кто их сказал – истратил слишком много.
Неисто щима только синева
Небесная и милосердье Бога.

Но особое место в разработке мотива принадлежит странному мандельштамовскому стихотворению 1912 года:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

Перед нами не «религиозное» стихотворение – ни по традиционной мерке, ни по расширительным критериям символистской поры. В нем нет ни мифологических образов, ни метафизических абстракций. У него есть сюжет, и сюжет этот очень прост. Обстановка – одинокая прогулка (годом раньше: «Легкий крест одиноких прогулок»). Зачин описывает негативно характеризваемое психологическое состояние, какие так часто служат у раннего Манделштама исходной точкой: неназванный образ мучает своим отсутствием, своей неосязаемостью, он забыт, утрачен. «Образ твой» – такие слова могли бы составлять обычное до банальности, как в романсе, начало стихотворения о любви; но нас ждет совсем иное. Вполне возможно, хотя совершенно не важно, что образ – женский. Во всяком случае, в нем самом не предполагается ничего сакрального, иначе «твой» имело бы написание с большой буквы. Но по решающему негативному признаку – по признаку недоступности для воображения – он сопоставим с образом Бога; это как бы образ образа Бога. Одна неназванность – зеркало другой неназванности; и соответствие тому и другому – «туман», симметрически упоминаемый во 2-й строке от начала и во 2-й строке от конца: характерная тусклость манделштамовского ландшафта. Но вот происходит катастрофа: в напряжении поисков утраченного образа, в оторопи, «по ошибке» человек восклицает: «Господи!» В русском разговорном обиходе это слово – не больше чем междометие. Но одновременно именно оно – субститут самого главного, неизречаемого библейского имени Бога, так называемого Тетраграмматона. «"Господи!" – сказал я по ошибке, / Сам того не думая сказать» – это две строки, легко приближающиеся в читательском восприятии к грани комического: тем резче действует неожиданная серьезность, к которой принуждает читателя поэт. Имя Божие оказывается реальным, живым, как птица, – именно в своей вещественности, в соединении с дыханием говорящего. Но это причина не для умиления и не для эйфории, а для страха: неизреченного не надо было изречь. Бездумным, случайным выговариванием Имени человек наносит себе урон и убыль: Имя вылетает, улетает, опыт его реальности – одновременно опыт безвозвратного прощания с ним. Этот вывод подсказан и скреплен последней строкой, тяжкая плотность которой

возникает из характерного для техники Мандельштама наложения двух семантических характеристик на одно слово – метафорическая «клетка», из которой вылетает «птица», и «клетка» из словосочетания «грудная клетка».

Отталкивание от облегченного отношения к религиозным темам заставляет Мандельштама и в других стихотворениях подчеркивать эмоции страха. Святость святыни реальна постольку, поскольку опасна, и оторопь перед ней предстает неприкрашенной.

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой,
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет –
Страшен мне «подводный камень веры»,
Роковой ее круговорот!

«Подводный камень веры», как и многое другое у Мандельштама, – из любимого им Тютчева, из стихов о Наполеоне: «Он гордо плыл, презритель волн, / Но о подводный веры камень / В щепы разбился утлый челн». Вера – «подводный» камень, она связана с пучиной, с непроницаемой тайной глубоких вод. Но у Тютчева она угрожает чужому, другому, врагу – самоутверждению Наполеона. Мандельштам переадресовывает угрозу своему собственному «я».

Характерно, что в свой первый сборник стихов «Камень», вышедший первым изданием в 1913 году и следующим, расширенным, в 1915 году, поэт остерегся включить это стихотворение, как и несколько других, отмеченных прямой связью с религиозной темой, в том числе и столь совершенное, как «Неумолимые слова...» – двенадцать строк, дающих классически строгий образ Распятия. Свирепая, бешеная стыдливость возбраняла ему обнажать перед читателем свои переживания подобного рода; религиозная топика допускается у него при условии объективации, вывода из личной эмоциональной сферы. Злейший враг, которому объявлена война не на жизнь, а на смерть, – нескромность мистического чувства. В подходе к сакральному поэт может

быть одически важен, как в «Евхаристии», или охлажденно описателен, как в «Аббате»; но исключена даже тень страшного подозрения, что он – интимен.

У Гумилева и особенно Ахматовой стратегия борьбы против инфляции религиозных мотивов предполагала их возвращение в сферу конкретной бытовой церковности. Недаром запомнили современники, как Гумилев крестился на все церкви подряд; ему и в стихах важно сказать, что за таких лихих воинов, как он, молятся монахи «в Мадриде и на Афоне», – уже не сам он, как было принято у поэтов символистской формации, притязает на особую фамильярность с небесами, но есть у него и на Афоне молитвенники. В стихах Ахматовой сакральное является под покровом смиренных житейских форм; священник отпускает ей грехи – «И темная епитрахиль / Накрыла голову и плечи»; Христов крест – это крестик на ее груди, согретый теплотой ее тела. Но этим поэтам было просто: они оба были люди, крещенные с младенчества. Религиозная ситуация еврея Манделштама – кстати, упрекавшего обоих своих православных друзей-поэтов за слишком легкое обращение в стихах с именем Божиим¹⁵, – была значительно сложнее.

Внелитературные факты очень скупы. Мы знаем, что 14 мая 1911 года Манделштам был крещен в методистской кирхе в Выборге. Это – нагое документальное сведение, к которому не дано никакой аутентичной интерпретации, ибо сам поэт, разумеется, скорее проглотил бы язык, чем поведал устно и тем более письменно о своих мотивах и переживаниях. На всякий случай добавим – если переживания вообще были. В конце концов, остается возможность полагать, что молодой человек пошел в «выкресты» по прагматическим мотивам, желая сделать для себя возможным поступление в Санкт-Петербургский университет осенью того же года. Кое-что, однако, говорит против такой возможности. Во-первых, предыдущий, 1910 год был заполнен острым религиозным кризисом, о котором свидетельствуют те самые стихи, которые за свою чрезмерную исповедальность не были включены в «Камень»; едва ли такое соотношение дат случайно. Во-вторых, в дальнейшем для Манделштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению смысле, он – христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало

прежде всего – не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор. От своего еврейства поэт, собственно говоря, не отрекался, хотя относился к нему с острой амбивалентностью, о чем ниже; но иудаизм, до известной черты импортировавший ему как «практический монотеизм», согласно формуле, употребленной по ходу рассуждения о Бергсоне, был им раз и навсегда отвергнут как свой путь. Любое чрезмерное приближение к «утробному миру» иудейства, к материнскому «хаосу», воспринимается Манделштамом в образах кровосмешения: это «черное солнце Федры» – инверсия исторического преемства.

Можно только гадать, почему Манделштам пошел именно к методистам. В сущности, это тоже довод против грубо практической мотивировки: чтобы ладить с властями Российской империи, проще было принять православие. Обращение к протестантской конфессии кажется неожиданным, если вспомнить, что тема христианства уже в стихах 1910 года, не говоря о более поздних, связана с недвусмысленно католическими атрибутами («И пятна золота и крови / На теле статуй восковых», «И слова евангельской латыни...» – и прочая), протестантизм же – правда, не раньше 1913 года – являет в манделштамовской поэзии облик не только мрачный («Здесь прихожане – дети праха, / И доски вместо образов», «лютеранский проповедник» – «гневный собеседник»), но, по-видимому, и безблагодатный («И кряжистого Лютера незрячий / Витает дух над куполом Петра»). Наиболее простых ответов на эти недоумения – два, и они не исключают друг друга. Первый ответ: протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Манделштама. В 1912 году, то есть вскоре после крещения и ранее только что процитированных стихов 1913 года, было написано стихотворение «Лютеранин», тонкими нитями связанное с тютчевским «Я лютеран люблю богослуженье...». В нем именно скудость протестантского обихода сочувственно описывается как честность и правдивость, исключающая патетику и недостоверные духовные притязания; она, эта скудость, щадит нервы слишком возбудимого, слишком впечатлительного человека, не оскорбляет его вкуса, не тревожит его чувственности, соответствует его пессимизму:

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

Второй ответ: если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (выражение, употребленное им еще в 1908 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, – не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин – «культурпротестантизм»: он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых христианских ценностей, но держащегося подалеже от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, – позиция комфортабельная.

На деле же он оказывается не внутри протестантизма, а между обоими другими вероисповеданиями, действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию. По отношению к православию и католицизму крещение у методистов – «нулевой вариант», отодвигание выбора. Недаром в «Камне» рядом поставлены два стихотворения о двух храмах – о православном соборе св. Софии в Константинополе и о католическом соборе Нотр-Дам в Париже; рядом стояли они и в № 3 «Аполлона» за 1913 год. Правда, симметрично, да не совсем: Нотр-Дам поэт видел своими глазами, Айя-Софию – нет; готика – жизненное и очень глубокое переживание, память о котором будет возвращаться вновь и вновь, вплоть до самых поздних стихов, Византия – эфемерная фантазия молодого человека, полного впечатлений, может быть, от лекции знаменитого византиниста Д.В. Айналова (как предположил бывший товарищ Мандельштама по университету В. Вейдле). Личное творческое признание – о прекрасном, творимом «из тяжести недоброй», – связано именно с Нотр-Дам, не с византий-

ским храмом. И последний нюанс: слово «христианство» тоже введено в стихотворение о Нотр-Дам, в то время как Айя-София увидена как бы в стилизованной языческой перспективе – с точки зрения Артемиды Эфесской или ее поклонников, Юстиниан строит этот храм «для чужих богов».

Одним из наиболее близких поэту людей в 10-е годы был уже упомянутый выше С.П. Каблуков, который, разумеется, убеждал поэта стать православным. О масштабе влияния Каблукова можно спорить, но оно должно было быть достаточно весомо (другое дело, что на таких виртуозов противочувствия, как Мандельштам, лучше не пытаться влиять, ибо всякое прямое воздействие будет сопровождаться, если не вытесняться, обратным). Каблуков водил поэта на концерт духовной музыки, возил к православной заутрене. И все же в мандельштамовских стихах 1914–1915 годов очень громко звучат католические мотивы. Внешним толчком для поэта послужил выход в конце 1913 года первого тома впервые обнародованных М.О. Гершензоном сочинений Чаадаева (второй том вышел в следующем году). Мандельштам был глубоко захвачен чтением; в ноябре 1914 года он уже предлагал редакции «Аполлона» свою статью «Петр Чаадаев». У русского западника прошлого века его поразила идея единства как вневременной смысловой связи¹⁶, являющейся, однако, в невыдуманной конкретности исторического преемства, зримое воплощение которого Чаадаев искал в феномене католической Церкви. «Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью, – замечает о Чаадаеве Мандельштам. – Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов». И еще – об отношении своего наставника к традиции Рима, к папству: «Как очарованный, смотрел Чаадаев в одну точку – туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемой из поколения в поколение».

Параллельно со статьей Мандельштам пишет стихотворение «Посох», для него необычно легкое ритмически, раскованное, доверительное. Но стыдливость поэта ограждена характерной техникой смыслового наложения: каждое слово выбрано так, что оно приложимо и к самому Мандельштаму, и к Чаадаеву, одним поворотом все можно перевести в сферу объективации.

Посох мой, моя свобода –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

Чтобы найти правильный подход к «католической» теме, а заодно к противопоставленным ей темам «русской» и «еврейской», позволим себе маленькое отступление. Мандельштам – редкий по ясности пример, на котором можно рассматривать, как у подлинного поэта один и тот же принцип определяет и то, что по-литературоведчески называется поэтикой, и то, что по-обывательски называется психологией. В основе как литературного, так и внелитературного поведения Мандельштама – глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова, боязнь мертвой точки, непродуктивной статики, когда «разряд равен заводу», когда «на сколько заверчено, на столько и раскручивается». Все, что угодно, только не мертвая точка. Теоретически это будет исчерпывающе разъяснено в «Разговоре о Данте», но практически дано уже в ранних стихах. Вот изблизи взятый пример для контраста: Ахматова могла закончить прекрасное стихотворение словами «страшной книгой грозových вестей», но по критериям, к которым приучает своего читателя Мандельштам, слова эти скучают в обществе друг друга, ибо эпитет «страшный» не наращивает смысла сравнительно с «грозowymi вестями». Кто поймет, что в мандельшта-

мовском мире это не банальный страх перед банальностью, не забота о том, как сделать поновей и удивить, короче, не «остранение» по Шкловскому, а закон мысли и жизни, – не удивиться тому, о чем мы сейчас будем говорить. Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом – не просто «русскоязычным», а именно русским¹⁷ – не в последнюю очередь потому, что для еврея самоотождествиться в качестве еврея, прикрепить себя к своей национальной идентичности – припахивает тавтологией. Недостает противоречия как энергетического источника, недостает восстановленного перпендикуляра. Но вот сделан выбор в пользу русской поэзии и «христианской культуры» – хорошо, одно противоречие вживлено в ткань жизни, один перпендикуляр восстановлен: что дальше? Стать православным означало бы так называемую ассимиляцию: «выкрест» однозначно отождествит себя в качестве русского – снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной. Повинуясь императиву, воплощенному в мандельштамовской поэтике, ум Мандельштама шарил в поисках возможности нового выхода за пределы, отыскивал третий член пропорции между данными – еврейством и Россией. Искомым был некий универсализм, который так относился бы к национальному русскому православию, как христианский универсализм относится к национальному партикуляризму евреев. Стоя перед этим уравнением, поэт был потрясен примером Чаадаева – русского человека, и притом человека пушкинской эпохи, то есть самой органической эпохи русской культуры, избравшего католическую идею единства. Мандельштам угадывает в чаадаевской мысли освобождающий парадокс, родственные тем парадоксам, без которых не мог жить он сам: не вопреки своему русскому естеству, а благодаря ему, ведомый русским духовным странничеством – вот он, «посох мой!» – пришел Чаадаев к тому, к чему пришел. «Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который гуще, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную землю традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все – необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравствен-

ную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею возвращенный». Как выражается Н.А. Струве, обсуждая именно отказ от перспективы тривиальной ассимиляции, Мандельштам пожелал «не стать, а быть русским»; а был ли для этого «не стать, а быть» более убедительный вариант, чем подражание русскому пути Чаадаева, выведшему его за пределы русского?

Легко усмотреть, что строй католической традиции, «бессмертная весна неумирающего Рима», как сказано в статье, перенимает у взрослого Мандельштама те функции противовеса родимому хаосу, которые для отрока выполняла петербургская архитектура. А в понятии родимого хаоса теперь неразличимы два аспекта: «иудейский» и российский. «И печаль моих домашних / Мне по-прежнему чужда» – о чьей печали говорится здесь, о печали русских или о печали евреев? По логике стихотворения это одно и то же: уныние замкнувшегося в себе мира, отлученного от «единства», несвобода, бесплодие тавтологии. (Разумеется, выбор слова содержит аллюзию на евангельский текст: «Враги человеку домашние его» – Евангелие от Матфея, 10, 36.) Любопытно, что в одном стихотворении католическая тема просвечивает сквозь петербургскую, потому что речь в нем идет о Казанском соборе Воронихина, «русского в Риме», – хрупком северном отголоске собора св. Петра, главного храма католичества на всей земле.

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг...

Помимо мысли о римском Сан-Пьетро, помимо всех коннотаций, которые жили для Мандельштама в словах «русский в Риме», стихотворение это связывается с «католическими» стихами через эпитет «свободен». В тех стихах, как и в статье о Чаадаеве, о свободе говорится снова и снова. «Посох мой, моя свобода», «Есть обитаемая духом / Свобода – избранных удел». Собственно говоря, слова для русских стихов неожиданные. Русский интеллигент привык ассоциировать католицизм в лучшем для последнего случае со стройностью и эстетическими приманками, а в худшем – со слепым послушанием какому-нибудь Великому инквизитору, с «чудом, тайной и авторитетом», по До-

стоевскому; при чем тут свобода? Но Мандельштам ни теперь, ни после не противопоставляет свободу подчинению. О Чаадаеве он говорит: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу». Архитектура ведь в том и состоит, что неоформленное покоряется форме, принимает ее устав. Мандельштамовское понимание свободы не похоже на расхожий либерализм. И если мы спросим себя: свободу от чего он имеет в виду? – мы должны будем ответить: свободу от тавтологии. От случайных черт облика народности. «Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной». А выход из тавтологии сам по себе – веселье: «Посох взял, развеселился...» «Бессмертная весна» – вместо нетающих снегов на «черных пашнях». Об этих снегах сначала сказано, что они «не растают никогда», потом – что они все-таки растают, правда, не в низинах, а «на утесах» – для избранных. «Свобода – избранных удел».

Исповедальности поэт продолжает остерегаться и теперь. Это стихотворение написано так, чтобы лирическое «я» могло спрятаться за Чаадаева. Стихотворение «Аббат» в «Новом Сатириконе» и в «Камне» имеет вид подчеркнуто литературный, иронический, бытописательский: «аббат Флобера и Золя», «спутник вечного романа», вздыхающий от жары, утомленный разговором. Но в авторских вариантах, имеющих, как это обычно для Мандельштама, вполне самостоятельное значение, звучат иные ноты:

А в толщ унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!

И еще:

Там каноническое счастье,
Как солнце, стало на зенит,
И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.

О, жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь твою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!

Об алмазе у поэта заходит речь в связи с идеалом воли, внутренней собранности, строя как единства «абсолютного подчинения» и «абсолютной свободы», противостоящего хаосу. «Уныние и безделье» – как бы «хаос российский», в противоположность «хаосу иудейскому». «Все стало тяжелее и громаднее, – скажет Мандельштам о своем времени уже после революции, – потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу».

Конечно, католичество Мандельштама не очень похоже на конфессиональный католицизм тех времен (это выглядело бы для поэта еще одной ловушкой тавтологичности). Во фрагментарно дошедшей речи 1915 года «Пушкин и Скрябин» он неожиданно говорит о Девятой симфонии Бетховена как воплощении «католической радости», и это кажется причудой; с другой стороны, он будто слышал, как ровно через полвека (конец 1915 – конец 1965) на закрытии Второго Ватиканского собора будут исполнять именно эту музыку... Вроде бы еще неожиданнее в той же речи: «Все, что римское, – бесплодно, потому что римская почва камениста, потому что Рим – это Эллада, лишенная благодати» (в предыдущем году было написано: «Поговорим о Риме – дивный град»; в будущем году будет написано: «И никогда он Рима не любил»). Из этого неразумно было бы делать вывод о католических убеждениях Мандельштама до конца 1915 года и отсутствии таковых впоследствии. С одной стороны, он никогда не был католиком, ибо единственный способ для этого – принадлежать к католической церкви, «к приходу»; с другой же стороны, мысленное католичество поэта по своей логике не исключает возможности предпочитать Элладу Риму, как не исключает оно любой степени сочувствия православию. Ему запрещено быть тавтологически латинским или тавтологически ватиканским.

Возьмем три первые строки стихотворения 1915 года «Евхаристия»:

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг!
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык...

Католическое и греко-православное здесь объединены в характерной мандельштамовской технике наложения. Первые две строки дают недвусмысленные приметы латинской мессы (гостия, вознесенная для поклонения в ореоле расходящихся во все стороны лучей из золота); и сейчас же с большой эмфазой назван греческий язык – весомость строки выводит ее за пределы сферы реальных. В конце, однако, мы снова возвращены к мессе (очень конкретное упоминание инструментальной музыки – «играют и поют»).

Позднее, в 1921 году, он будет просто говорить о вселенском христианстве, беря Константинополь и Рим за одни скобки:

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового завета.

В том же году, славя нищее, неприкаянное и вольное состояние культуры – «не от мира сего», Мандельштам увидит в ней христианские черты: «культура стала церковью», «теперь всякий культурный человек – христианин». Впоследствии для таких формул не было основания: культура перестала быть и нищей, и вольной – какое уж там «отделение церкви-культуры от государства»! Но в самосознании поэта это продолжало вспыхивать. Кто понимает Мандельштама изнутри, услышит и в поздней его формуле – «тоска по мировой культуре» – отголосок его старых мыслей.

Из Мандельштама неосторожно делать «христианского поэта» в каком-то специфическом смысле слова. Столь же неосторожно, однако, вместе с Г. Фрейдиным видеть в христианских мотивах его поэзии лишь цветной лоскуток среди прочих таких же лоскутков на театральном наряде Арлекина. Поэт не был ни богословом, ни Арлекином. От своих мыслей о христианстве он отходил, увлекаемый другими сюжетами, но не отказывался, и они продолжают жить подспудно, вступая в новые сочетания, ко-

торые могут казаться нам странными, но без которых его пути не объяснишь.

На первый план для него, как для его современников и соотечественников, выходят политические темы. Он недаром сказал не об одном себе: «Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля». Он знал, что говорил.

* * *

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

О. М.

В жизни слова наступила героическая эра. Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание.

О. М.

Рубеж времен – начало Первой мировой войны. Начинаясь, по слову Ахматовой, сразу открывшей в себе именно тогда силу плакальщицы, «не календарный – настоящий двадцатый век».

Но мысль Мандельштама, привыкшую работать с большими временными глыбами и словно пораженную высоким недугом дальнозоркости, события поначалу направили к веку минувшему – к Наполеону и Венскому конгрессу, к интонациям политической лирики Тютчева.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Ему вспоминается «рукопожатье роковое на шатком неманском плоту», вообще «Россия Александра» (одновременно, по принципу наложения, Россия Александра I и Александра Пушкина, Россия европейская, классическая, архитектурная). Пройдет несколько лет, и окажется, что

«солнце Александра» – то, что дальше всего от современности, от «сумерек свободы». Что пришло время окончательного прощания с ним. В 1922 году Мандельштам констатирует: «Многие еще говорят на старом языке, но никакой политический конгресс наподобие венских или берлинских в Европе уже невозможен, никто не станет слушать актеров, да и актеры разучились играть». И ниже: «В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось – вся масса литого золота исторических форм и идей?..»

Но перед своим концом именно обреченное «величие», именно «исторические формы и идеи» обступают ум поэта. В их внутренней опустошенности он должен убедиться – не из внешних событий, а из внутреннего опыта усилий сочувствовать «миру державному», вчувствоваться в его строй. Он прощается с ним по-своему – перебирая старые мотивы, приводя их в порядок, составляя для них средствами поэзии некий каталог. «Вечные сны, как образчики крови, / Переливай из стакана в стакан» – будет это названо позднее. Как в стихотворении «Домби и сын» ему случилось дистиллировать как бы из всех диккенсовских романов единый «метасюжет» – отчасти наподобие того, как В. Пропп средствами науки будет делать это с русскими сказками, – так он поступает по отношению к набору имперских и славянофильских тем русского XIX века. Получается нечто странное и грустное: серьезная пародия. Заметим, что Мандельштам, при всей своей неизбывной склонности ко всякого рода шуткам, в том числе и стихотворным, никогда не сочинял пародий в обычном смысле. Серьезная пародия получается оттого, что старая интонация иначе звучит в изменившемся воздухе времени. «Поляки! Я не вижу смысла...» – именно такая серьезная пародия на политические стихи Тютчева, да и не только Тютчева; поэт с древним жестом риторика укоряет поляков, как сам Пушкин укорял в свое время «клеветников России», – присутствие оппонента, могущего слышать укоры, в обоих случаях, при разнице масштабов, является одинаково вообразимым. (В той же статье 1922 года будет сказано: «Ни один мессианствующий и витийствующий народ никогда не был услышан другим...») Еще примечательнее другое стихотворение

1914 года – «В белом раю лежит богатырь...». Это опыт, вызывающий резкое чувство абсурдности, и чувство это, по видимому, не было чуждо самому поэту, не включившему стихов об иконописно-былинном «пахаре войны» в сборники. Только перед нами отнюдь не обычная сентиментальная версификация на дежурную патриотическую тему, какими не брезговали в ту пору даже истинные поэты, не аморфное обращение к эмоциям, а, напротив, очень четко, даже чересчур четко оформленный суммирующий каталог общих мест русского народного самосознания в славянофильской аранжировке. Совсем как в «Домби и сыне». Притом Мандельштам с аккуратностью, может быть инстинктивной и бессознательной, ставит читателя в известность, что говорящий в этом стихотворении – не он¹⁸. Этому служат риторические вопрошания¹⁹:

Разве Россия – не белый рай
И не веселые наши сыны?

Здесь каждое слово выбрано по противоположности к стихотворению «Посох». Там – «черные пашни», здесь – «белый рай», там – «печаль моих домашних», здесь – «веселые наши сыны». Там – чаадаевский образ России, здесь – славянофильский; и оба даны на уровне предельного обобщения. Будучи возведена на этот уровень, неизбежный для Мандельштама с его обычной оптикой дальноркости, политическая риторика, когда-то имевшая такое импонирующее звучание у поэтов прошлого века, не говоря уже о веках предшествовавших, сама собой оказывалась предметом описательной (на манер «Домби и сына») объективации, в конечном счете уничтожая себя самое, показывая, до чего легко ей повернуться на 180°.

Говоря о прощании Мандельштама с имперской темой, упомянем ради удобства читателя одно обстоятельство, которое надо иметь в виду, даже не пытаясь отыскать для него рационалистическое объяснение. В мандельштамовской системе шифров обреченный Петербург, именно в своем качестве имперской столицы, эквивалентен той Иудее, о которой сказано, что она, распяв Христа, «окаменела»: он связывается уже не с Римом, а со святым, богоотступническим и гибнущим Иерусалимом. Цвета, характеризую-

щие безблагодатное иудейство, – «Благодати не имея / И священства лишены...» – это черный и желтый (по догадке Г. Фрейдина, цвета талеса): «У ворот Ерусалима / Солнце черное взошло. / Солнце желтое страшнее...» Так вот, именно эти цвета характеризуют петербургский «мир державный». Собственно говоря, и в только что процитированных стихах тема иудейства как-то загадочно соотнесена с мессианско-русской темой через цитату из славянофила Хомякова – «У ворот Ерусалима»²⁰. Но далее: поэт подчеркивает, что черный и желтый – цвета российского императорского штандарта: «Черно-желтый лоскут злится, / Слово в воздухе струится / Желчь двуглавого орла». Эти цвета остаются константой образа Петербурга вплоть до знаменитых стихов 1930 года: «Узнавай же скорее декабрьский денек, / Где к зловещему дегтю подмешан желток». Но отчетливее всего «историософская», эсхатологическая тема города на Неве как обреченного ветхозаветного Иерусалима дана в стихотворении, написанном в ноябре 1917 года и посвященном А.В. Карташеву, православному богослову и представителю ученой церковной общественности на соборе, состоявшемся летом того же года. В фигуре «левита» можно узнать и Карташева, и самого поэта, одержимого пророческой тревогой.

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалась над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый цвет, се радость Иудей.

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

«Погибающий Петербург, конец петербургского периода русской истории, – комментирует это стихотворение

Н.Я. Мандельштам, – вызывает в памяти гибель Иерусалима. Гибель обоих городов тождественна: современный город погибает за тот же грех, что и древний. Петербург не Вавилон – мировая блудница пророческих прозрений, а именно Иерусалим. Вавилон, языческий город, погряз в роскоши и блуде. Петербург, как и Иерусалим, отвечает за другой – более глубокий грех». Какой же именно? По-видимому, едва ли будет ошибкой понять негативный общий знаменатель между Российской империей и окаменевшей Иудеей как национальный мессианизм, срывающийся в «небытие» (тема «Пшеницы человеческой» в 1922 году), – качество государственности, чересчур густо сакрализованной. Уходящий «державный мир» вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность: «Прославим власти сумрачное бремя, / Ее невыносимый гнет». И третье, самое неожиданное, – жалость. Государство вызывает обычно либо преданность, либо холодную лояльность, либо ненависть; кажется, только Мандельштам заговорил о «сострадании» к государству, к его «голоду». В одной из глав «Шума времени», посвященных поре гражданской войны, возникает сюрреалистический образ «больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, – орла добровольческой армии», двуглавой птицы, копошащейся в углу жилища сердобольного полковника Цыгальского «под шипенье примуса». Но чернота этой геральдической птицы была увидена как цвет конца еще в 1915 году.

По понятной связи мыслей действительность русской революции приближает к уму поэта образы Французской революции, которые впоследствии так и остаются в постоянном ассоциативном репертуаре его поэзии. Среди них один имел особое значение, ибо через него выражал себя трагизм, рождающийся из проблематики революции, из недр ее антиномий. Это воспетый еще Пушкиным лучший поэт революционной Франции, поэт-гражданин, вдохновленный революцией и революцией умерщвленный, сложивший голову на гильотине под самый конец робеспьеровского террора: Андре Шенье. Он и раньше привлекал внимание Мандельштама. Но впечатления 1917 года побудили поэта прямо-таки заговорить голосом Шенье. Это сделано в стихах на гибель растерзанного солдатами комиссара Времен-

ного правительства эсера Линде – того самого, который известен читателям «Доктора Живаго» как комиссар Гинц; но если у Пастернака обстоятельства переданы реалистически, не без сострадательной иронии, то у Мандельштама они возвышены до пафоса, казалось бы навсегда отзвучавшего в день казни Шенье. Согласно поэтической вере Мандельштама, очень глубоко чувствующего кровь, жертва, просто потому, что она – жертва, достойна пафоса. То, что получилось, больше дает понятие о подлинном Шенье, чем любой из переводов французского поэта.

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые –
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Кто сочтет этот классицизм курьезом, будет не прав; стихотворение это слишком близко к такому неоспоримому шедевр, как «Декабрист». Для Мандельштама было совершенно неизбежно видеть мучившую злобу дня с той же установкой на дальность, как своего декабриста. С другой стороны, однако, русская революция – не повторение французской, и строй русской поэзии не похож на «абстрактную, внешне холодную и рассудочную, но полную античного беснования поэзию Шенье» (мандельштамовская характеристика). Шенье в свое время претворял в лиризм политическую риторiku; у нас из самых больших поэтов с политической риторикой работал только Маяковский (Цветаева даже в «Лебедином стане» не могла удержаться в пределах таковой). Традиция русской поэзии требовала такого ответа на политические события, который выходил бы за пределы только политического, а потому был бы противоречивым с любой однолинейно-политической точки зрения. Чтобы адаптировать, например, стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...», одним желательным было отсечь два первые четверостишия, а другим – последнее; целое не вме-

щалось ни в одну систему, ни в другую. Что же говорить о Мандельштаме с его отталкиванием от тавтологий! Самый значительный из его откликов на революцию – стихотворение «Сумерки свободы» (май 1918 года), и его очень трудно подвести под рубрику «приятия» или «неприятия» в тривиальном смысле. Тема отчаяния звучит в нем очень громко:

В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Ласточка, нежный и хрупкий образ души, свободы, поэзии, здесь является в иной, не свойственной ей функции. Речь идет уже не о ласточке, единственной и вольной, а о ласточках, которые «связаны» – слово-то какое! – в легионы, в боевой строй, сплочены принуждением времени. Великий сдвиг отнимает возможность ориентироваться в мире: солнце закрыто. Вспоминал ли Мандельштам «осязаемую тьму» из библейской Книги Исхода, одну из «казней египетских»? Но в этой темноте и густоте движения живой стихии поэт не отделяет себя от происходящего и описывает действие в грамматической форме первого лица множественного числа – «мы» сделали это.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот,
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети – сумерки густые –
Не видно солнца, и земля плывет.

Последняя строка процитированного шестистишия поражает тем, как много в нее вложено: она вместительна, как емкая формула. Вспомним, что в иной, более темный час истории, в 1933 году, поэт начнет стихотворение, в котором он возвысит свой голос против сталинщины, тоже с формулы, близкой по смыслу к этой, – с еще одной жалобы на невозможность ориентироваться в человеческом пространстве: «Мы живем, под собою не чуя страны». Но различие между обеими формулами тоже существенно и подчеркивает точность каждой из них. В более ранней скрылось от зрения солнце – образ всего далекого и высокого, общечеловеческого, «горнего»; од-

нако «дольнее» никуда не ушло, земля, земная стихия человеческой массы, «пшеница человеческая», – осязаема, хотя и текуча, «десяти небес нам стоила земля». Но в более поздней формуле подменена и перестала быть осязаемой «страна» – та самая земля, за которую платили небесами.

Но тема сопричастности совершающемуся, намеченная местоимением «мы», крепнет под конец стихотворения:

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля...

Происходящее «огромно», и оно требует степени мужества, которая была бы пропорциональна этой огромности. «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу», – сказано в брошюре 1922 года «О природе слова». «Мужайтесь, мужи», – подумать только, что эти слова принадлежат отнюдь не героической натуре вроде Гумилева, а, напротив, человеку столь хрупкому и впечатлительному, столь непоследовательному в своем каждодневном поведении, нуждающемуся, как ребенок, в помощи! И все-таки, как ни странно, они оправданы, и притом дважды: во-первых, уникальной независимостью его мысли, на своем внутреннем пространстве и впрямь твердой как алмаз; во-вторых, постепенно созревающей от десятилетия к десятилетию личной готовностью быть жертвой. Когда двадцатидвухлетний Мандельштам писал до революции, даже до начала войны: «Россия, ты – на камне и крови – / Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови!», – было ли это еще литературой? Трудно сказать – только почему-то подобные слова имеют обыкновение исполняться (как буквально, от слова до слова, исполнилась молитва Ахматовой: «Отыми и ребенка, и друга»). В 1922 году мотив заклятия становится сосредоточеннее и сокровеннее:

Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

В 1930 году в одном из стихотворений армянского цикла промелькнет сожаление поэта, что он «крови горячей не пролил»; присущее Мандельштаму глубокое и совсем не сентиментальное отвращение ко всему, что пахнет кровью, не оставляет ни малейшего сомнения, что речь идет не о чужой, а о своей собственной крови. И так пойдет дальше – вплоть до той совсем уж внелитературной ситуации февраля 1934 года, когда Ахматова услышит в Москве, на переходе от Пречистенки к Гоголевскому бульвару, признание Мандельштама, уже написавшего к этому времени гибельные для себя стихи о Сталине: «Я к смерти готов». (Слова, эхо которых отзовется в «Поэме без героя».)

Поэты, укорененные в «старом мире», должны были в первые послереволюционные годы решить для себя вопрос об эмиграции или отказе от нее. Классическая форма отказа – у Ахматовой: «Но равнодушно и спокойно / Руками я замкнула слух, / Чтоб этой речью недостойной / Не осквернился скорбный дух». У Мандельштама тема отказа появляется в 1920 году, но звучит поначалу под сурдинку и как-то легкомысленно: «Недалеко от Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды всюду те же». И как только она крепнет, она окрашивается в тона жертвенные, и притом отчетливо христианские. Символом верности русской беде становится Исаакиевский собор (который чисто архитектурно менее импонировал поэту, чем подчеркивается внеэстетическое, духовно-нравственное значение образа). После прощальной оглядки на Айя-Софию, символ вселенского православия, и на Сан-Пьетро, символ вселенского католичества, взятые в единстве, как манящая средиземноморская даль, сказано:

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Самое начало 20-х годов, когда Мандельштам после скитаний по южным краям²¹ вернулся в Петроград и проживал в Доме искусств, затем снова ездил на юг или обосновывался в Москве, было для его мысли и для его поэзии временем подъема. Эмоциональный тон подъема – то странное, вроде бы иррациональное настроение катарсиса, которое так просветленно звучит в стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...», в статье «Слово и культура», очень естественно соединяясь с чувством обреченности и физической болью тягот. О хрупком веселье русской культуры посреди гибельной стужи русской жизни сказаны самые пронзительные слова, которые когда-либо говорились:

И живая ласточка упала
На горячие снега.

Это пятикратно повторенное под ударением «а» звучит как ламенто, в восторге которого боль и радость – одно и то же. Подобное настроение посещало в годы разрухи не одного Мандельштама. «Все голодной тоскою изглодано. / Отчего же нам стало светло?» – спрашивала тогда же Ахматова, менее всего склонная относиться к происходящему с эйфорией. Длится парадоксальное по своей сути историческое мгновение: старая культура еще жива и остается собою, она, как уверяет Мандельштам в только что упомянутой статье, жива даже «более, чем когда-либо», но у нее, отрешенной от всех своих внешних опор и предпосылок, словно открылось новое измерение. «Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настезь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков».

В стихах этого времени, составляющих заключительную часть сборника «Tristia», достигнуто единственное в своем роде равновесие между старомодной «архитектурной» стройностью и новой дерзостью семантического сдвига, никак не укладывавшейся в рамки акмеизма²², между прозрачным смыслом и «блаженным бессмысленным сло-

вом». От акмеистических принципов Мандельштам отходит и в теории. «Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но забытого тела... Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение». Музыка сознательно предпочтена пластике. И при этом – императив равновесия: слово получает свободу от своего предметного смысла, однако «не забывает» о нем, подобно тому как культура в переходный момент получает свободу от своих прежних оснований, отрешается от них, но еще не теряет верности себе. Так называемая магия слова вплотную подходит к «зауми», но не переходит последней черты. «В беспамятстве ночная песня поется»; но схождение в ночные глубины беспамятства служит тому, чтобы обострить до предела акт памяти, припоминания. Техника постепенного ухода от опознаваемых деталей и примет подразумеваемой жизненной ситуации, хорошо прослеживаемая по черновикам, работает не на самоцельный бред и не на рационалистический ребус – она создает контраст для внезапного прорыва «узнавания». «Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки». В Рождественский пересказывал устные советы Мандельштама: «Понятия должны вспыхивать то там, то тут... Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому логическому уставу». Так и построены наиболее абсолютные образцы срединного периода творчества Мандельштама – «Сестры – тяжесть и нежность...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...».

В статьях начала 20-х годов поэт как будто торопится сказать самое главное. Среди них – уже цитированная выше «Пшеница человеческая», ошеломляюще умный, трезвый, реалистический опыт о духовной ситуации эпохи масс, когда вышедшая из послушания «пшеница» не дает выпечь из себя «хлеба», а традиционные символы государственной «архитектуры» превращаются в бутафорию. Одной этой

статьи было бы достаточно, чтобы навсегда опровергнуть миф о Мандельштаме как «птичке божьей», не способной связать двух мыслей по законам рационального мышления. «Остановка политической жизни Европы как самостоятельного, катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом “народностей” на простое человеческое зерно, пшеницу, и теперь к голосу этой человеческой пшеницы, к голосу массы, как ее косноязычно называют, мы должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день», – ведь здесь ни слова не сказано зря. Статья, наперед изобличающая пустоту, историческую неоправданность, тупиковость всех предстоящих попыток обновить кровавый пафос государственного «величия», как будто обращена непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны как следует оценить ее формулировки. «Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова... все, что поглощено великой заботой об устройении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, – сейчас одно и то же». Не менее актуальной остается другая статья того же времени – «Гуманизм и современность», полемизирующая с тезисом символистов о конце гуманизма, его исчерпанности. Большими линиями, широкими мазками, ни на что не отвлекаясь, Мандельштам набрасывает три свои темы. Первая – неизбежность новой, монументальной «социальной архитектуры», кризис попыток обойтись одной правовой регуляцией, характерных для прошлого века, гибель, нависшая над домашним уютом. Вторая тема – угроза социальной архитектуры, враждебной достоинству и свободе человека: нового «Египта», новой «Ассирии». «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть до-

ставлен в любом количестве». Мы понимаем, почему в одном стихотворении 1937 года неожиданно сказано: «пустячком пирамид»; при всей своей колоссальности пирамиды не могут быть «большими», потому что не соотносены с человеческой мерой²³. И третья тема – идеал, альтернатива «социальной пирамиде» – «свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально и каждая частность аукается с громадой».

Какие бы превратности ни постигали хрупкое равновесие нервов Мандельштама, какие бы зигзаги ни прочерчивало его поведение в повседневной жизни, едва ли не играющей для поэтов роль черновика, – его неподкупная мысль вглядывалась в происходящее твердо, без паники, без эйфории и ставила вопросы, ничего не скажешь, по существу.

Сегодня, в свете нашего опыта, – что можем мы добавить к его формулировке принципов и критериев?

* * *

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...

О.М.

Нюрнбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

О.М.

Двойное равновесие, которым отмечено лучшее, что писал Мандельштам в начале 20-х годов, – равновесие тревог и надежд в осмыслении времени, обеспеченное сознанием независимости собственной мысли, да и культуры в целом, и равновесие темноты и ясности в облике стиха, обеспеченное тем, что сам поэт называл чувством внутренней правоты, – уже к середине десятилетия оказывается буквально взорванным.

Первой травмой был, конечно, расстрел Гумилева. Нечто вроде присяги на верность памяти казненного друга проходит через всю жизнь Мандельштама. В письме к Ахматовой от 25 августа 1928 года сказано: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с

двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется». Со временем боль не притуплялась, а, скорее, усиливалась: на нее накладывались новые впечатления.

Надежда на «отделение церкви-культуры от государства», на «органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями», которые они держали «для совета», все определеннее оказывалось иллюзией. Культуру энергично и расторопно ставили на место и пристраивали к делу – не без участия самой интеллигенции. Убеждение Мандельштама, выраженное в более поздней фразе, приводимой Н.Я. Мандельштам: «В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них», – воспринималось уже как анахронизм. Независимость становилась фрондой, либо опасной, либо обреченной мельчать, спускаться в приватные разговоры, переходить в позу, в бытовую воркотню. Одни принимали новый порядок вещей на его собственных условиях, постепенно снимая все свои оговорки; другие уходили в эмиграцию. Круг носителей культуры, способных понимать друг друга, распадался.

Существовали причины, по которым положение Мандельштама и Ахматовой стало неудобным несколько ранее, чем положение других больших поэтов. Какую-то роль играл биографический, можно сказать, хронологический фактор, по своей сути вполне случайный. Если поэт по-настоящему составил себе имя только после революции, это само по себе побуждало воспринимать его как поэта советского, не «старорежимного». Так было с Пастернаком: хотя он родился как раз между годами рождений Ахматовой и Мандельштама, хотя «Близнец в тучах» вышел всего на год позже «Камня» и на два года позже «Вечера», заметили его только после выхода «Сестры моей – жизни» в 1922 году (принадлежность к футуристическим кругам тоже была для 20-х годов лучшей рекомендацией, чем принадлежность к акмеистической группе). С другой стороны, если поэт составил себе имя достаточно задолго до революции, как деятели символизма, его репутация воспринималась как «старорежимная», но в самой своей «старорежимности» солидная: он был бесспорным реликтом старой культуры, до

поры до времени состоящим под охраной. С Ахматовой и Мандельштамом было хуже: оба были на виду в 10-е годы, тогда выработали свои навыки поведения в литературе и жизни, вообще прочно ассоциировались с этой порой, а потому не могли избежать обвинения в старомодности, в котором неразлично переплетались мотивы политические («старорежимность») и эстетические (устаревшая поэтика). Они воспринимались как старики, пришедшие из старого мира. Но на самом деле они были еще совсем молоды, и репутация их, будучи установившейся, не была освящена временем и пиетета не вызывала. «Меня хотели, как пылинку, сдунуть», – жалуется Мандельштам в 1931 году, добавляя: «Уж я теперь не юноша, не вьюн»; в этой жалобе выразилась одна из характерных черт его судьбы. Для одних – старик, чье время прошло вместе со старым Петербургом; старик, хотя всего на четыре года старше Багрицкого. Для других – «юноша», «вьюн», которому до конца века не стать солидным и почтенным. «Оттого-то мне и годы впрок не идут – другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот – обратное течение времени».

Последнее обстоятельство выяснится со всей определенностью под конец 20-х годов. Но мрачные предчувствия одолевают поэта много раньше. Они с большой силой выражены в стихотворении «1 января 1924 г.»:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

Это стихотворение построено на противочувствиях. У революции есть смысл: Мандельштам вспоминает «Присягу чудную четвертому сословью // И клятвы крупные до слез» и отказывается предать их «позорному злословию». Он недаром любил Герцена. Но будущее смутно:

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?

Однако для поэта куда страшнее любой внешней угрозы угроза потерять чувство внутренней правоты, усом-

ниться в своем отношении к слову. Этого не сравнить ни с какими неудобными обстоятельствами. Конечно, внутренняя угроза в конечном счете тоже связана с состоянием общества, но иной, более тонкой связью; дело не в том, что поэт со страхом оглядывается на кого-то, – просто воздух, который он находит в своей собственной груди, зависит в своем качестве от атмосферы общества. Страшно не то, что другие думают и говорят о тебе как о «бывшем» поэте, наравне со всеми другими «бывшими», которых так много на дне новой социальной структуры; страшно, когда сам думаешь о себе так. Не самое страшное – замолчать, потому что кто-то залил тебе говорящие губы оловом; самое страшное – мысль: а может быть, мне самому уже нечего сказать?

«Беспомощная улыбка человека, / Который потерял себя» все чаще появляется в мандельштамовских стихах.

Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,

Хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли домой...

Голос, так властно звучавший в «Камне» и в «Tristia», становится судорожным и напряженным. Трудная попытка уйти от самого себя запечатлена прежде всего в «Грифельной оде». Там примечательна не только густая темнота образов, решительно нарушающая прежнее равновесие, не оставляющая места ни для какой прозрачности, ни для чего «дневного»:

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Примечательна и такая частность, как отход от принципиальной для прежнего Мандельштама ориентации на аскетически бедные, но классически точные рифмы, переход к экспериментам с ассонансами («песни» – «перстень», «позором» – «кормит», «бушует» – «щубы»), неожиданно напоминающими раннего Эренбурга, хотя, конечно, не его одного. Это попытка схватить и передать звучание времени, отличное от той музыки, с которой поэт простился ранее: «...на тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит». Теперь она отзвучала.

Стихи приходят все реже. После очень сильных стихотворений 1925 года, посвященных Ольге Ваксель, в которых страсть борется с острым чувством вины, тема которых – незаконный праздник за пределами данной человеку жизни, в «заресничной стране», а эмоциональный фон – отчаяние, поэт замолкает на годы, до самого конца десятилетия. Вспомним, что одновременно творческий кризис постигает и Ахматову и Пастернака. Но у Мандельштама он был тяжелее и продолжительнее: ни одного стихотворения за пять лет. «И ни одна звезда не говорит...» Одно дело – слушать про себя, что ты «бывший», пока знаешь, что работа идет по-прежнему; совсем другое – когда она остановилась. Тут человек становится по-настоящему уязвим, любая обида застит мир, любая муха вырастает в слона. Отсюда беспокойное настроение обиды, воинственной защиты своего достоинства, безнадежной тяжбы о собственной чести, которое уже не отпускает Мандельштама до конца, но кульминации своей достигает на рубеже 20-х и 30-х годов. Начинаются истории, о которых говорят: «попасть в историю», какие умел описывать Достоевский, – смертельно серьезные, но одновременно всласть разыгрываемые, как театральное представление, инсценируемые самой жертвой. Поэт, который не может писать стихов и потому не находит выхода для накапливающегося в нем напряжения, сам нарывается на скандал, сам провоцирует современников на травлю себя, а в такое грозное время много усилий тратить не приходится. Как сказал, перелагая гётевскую «Песнь арфиста», любимый Мандельштамом Тютчев: «Кто хочет миру чуждым быть, / Тот скоро будет чужд».

Годы, когда не было стихов, заняты работой над прозой. Собственно, «Шум времени» создавался отчасти па-

раллельно со стихами, последними перед паузой; он вышел осенью 1926 года. Мы уже не раз цитировали эту автобиографическую книгу, без выписок из которой рассказывать жизнь Мандельштама нет никакой возможности. Что характерно для эмоциональной атмосферы середины 20-х годов, так это тон глубокого отчуждения от собственной биографии.

«...Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого».

Нечто подобное было и раньше – поэтика ранних стихов тоже по-своему «враждебна всему личному»; но такая степень резкости приходит только теперь. Не из конъюнктурных соображений, а по глубокому внутреннему инстинкту поэт боится застрять в историческом и биографическом прошлом. Но, отталкиваясь от своего прошлого, он отталкивается от самого себя. Вспомним, что в 1928 году он писал, отвечая на анкету под заглавием «Советский писатель и Октябрь», предложенную редакцией газеты «Читатель и писатель»:

«Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня "биографию", ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту...»

В этих словах есть, конечно, и боль, и нечто вроде черного юмора. Но мы ничего в них не поймем, если совсем откажемся принимать их буквальный смысл. Какой-то частью своего существа поэт действительно хочет избавиться от «биографии», начать с нуля, хочет со страхом, но и со страстью. Поэты – они такие, а Мандельштам – в особенности.

В том же 1928 году выходит «Египетская марка», где тема отталкивания от себя доведена до надрыва, до транса. Мандельштам создает своего двойника, лепит его на глазах читателя, дарит ему свои черты – например, «макушку, об-

лысевшую в концертах Скрябина», – свои психологические странности, идиосинкразии, нарекает Парноком, чтобы на протяжении всей повести предать его чему-то вроде ритуального поругания. Парнок – не человек, а «человечек», у него «овечьи копытца» и «кроличья кровь». Из первой же относящейся к нему фразы мы узнаем, что его презирали «швейцары и женщины». Всякая хула к нему липнет: «Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке – не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка! Грязная история!» И поэт раздражается заклинанием:

«Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него!»

Это значит: отличить себя от себя. Оторвать себя от себя. Как было сказано в одном стихотворении 1924 года: «О, как противен мне какой-то соименник, // То был не я, то был другой».

Параллельно теме Парнока проходит тема смерти Анджолины Бозио, итальянской певицы прошлого века, не перенесшей петербургских морозов. Это тема обреченности певчего горла, глубоко автобиографическая: умирающая Бозио – эквивалент образу живой ласточки, совершающей свое падение «на горячие снега». Темы связаны довольно причудливо; сам автор сказал по поводу «Египетской марки»: «Я мыслю опущенными звеньями».

Целомудренная сдержанность мандельштамовской поэзии ограждалась тем, что поэт, в отличие от многих своих собратьев по веку, не пускал в свои стихи судорогу нервов. Мандельштам с осуждением высказывался о форсировании языковых средств в прозе Андрея Белого. Даже в «Шуме времени» нервность стоит где-то за интонацией, но не допускается в самое интонацию. И только в «Египетской марке» с хаоса принципиально сняты все запреты.

«Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлюэнцного бреда».

Тон – захлебывающийся; одна метафорическая волна посылается вдогонку другой, и эти метафорические эксцессы не отпускают читателя от начала и до конца. Как выразился Н. Берковский в своей статье 1929 года, «в "Египетской марке" борзые игрового стиля затравлены до послед-

них сил». И так раздражены темы, по природе своей менее всего игровые, – тема чести и бесчестия, тема страха. О чести сказано: «Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества». О страхе – что он «координата времени и пространства». «Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: "с ним мне не страшно!"» Страх и боль втянуты в игру, наделены гротескной амбивалентностью: со страхом не страшно; попытка лишения чести открывает возможность «крикнуть последнее неотразимо убедительное слово» – «как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор». Этим устранена опасность слишком однозначной жалобы, малодушного нытья. Но тем сильнее выражено отчаяние.

Когда Мандельштам описывает, как его Парнок беспомощно и безуспешно пытается летом 1917 года спасти от самосуда толпы пойманного воришку, он включает в систему осмеяния то дело, которому он отдал весной 1928 года большую часть своего времени и которое было для него серьезным до святости: хлопоты об отмене смертного приговора пяти банковским чиновникам. Как раз тогда вышел, в большой степени благодаря содействию Н.И. Бухарина, сборник «Стихотворения», которому суждено было остаться последним прижизненным сборником Мандельштама; поэт послал его тому же Бухарину с надписью, имевшей в виду казнь чиновников: «Каждая строчка этих стихотворений говорит против того, что вы намереваетесь сделать». Такая надпись стоит, чтобы над ней задуматься. У Мандельштама нет каких-то особенно филантропических тем; но ведь и Пушкин не был сентиментальным моралистом, когда подвел итоги своих поэтических заслуг в строке: «И милость к падшим призывал». Дело не в морали, дело в поэзии. Согласно пушкинской поэтической вере, унаследованной Мандельштамом, поэзия не может дышать воздухом казней. Уживаться с этим воздухом, а значит, составлять с ним одно целое может только «литература» – например, созданные с участием именитых писателей хвалебные сборники о первых сталинских каторгах. Поэзия самым своим бытием казнит казнь – и постольку казнит «литературу». Мы уже цитировали в начале статьи слова о казненном Андре Шенье, который сам совершил над литературой казнь.

Заступаясь за приговоренных к смерти, Мандельштам не знал, что вскоре заступничество понадобится ему самому. Здесь не место говорить о конфликте поэта с А. Горнфельдом, обстоятельства которого вкратце изложены в комментариях к «Четвертой прозе». Предмет конфликта сам по себе выеденного яйца не стоил. Дело существенно изменилось, когда Д. Заславский – тот самый, который, достойно завершая свою карьеру палача поэтов, назовет в 1958 году Пастернака «литературным сорняком», – опубликовал 7 мая 1929 года в «Литературной газете» фельетон против Мандельштама под заглавием: «О скромном плагиате и о развязной халтуре»: сбывались худшие предчувствия «Египетской марки» («Выведут тебя когда-нибудь, Парнок...»), – поэт должен был убедиться, что нет никаких помех к тому, чтобы третировать его не как литературного деятеля с двадцатилетним стажем и давно завоеванным именем, а как никому неведомого мелкого жулика. Правда, целый ряд советских писателей и критиков подписали письмо в «Литературную газету», протестовавшее против фельетона Заславского. Но в начале 1930 года Мандельштам начинают вызывать на допросы, вроде бы в связи с той же горнфельдовской историей, однако задавая вопросы и про его «период у белых». «Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет, – жалуется поэт в письме к жене. – Все хочу ложь смахнуть – и не могу, все хочу грязь отмыть – и нельзя». Невесело было ему и в редакции газеты «Московский комсомолец», куда он поступил на службу. «Мне здесь невыносимо, скандально, не ко двору. Надо уходить. Давно... Опоздал...» Но рядом с этим – очень характерная для настроения Мандельштама в описываемое время мысль о своем несчастье как некоем «богатстве»: «Разрыв – богатство. Надо его сохранить. Не расплескать».

«Сохранить», «не расплескать» – прежде всего для творчества, для выговаривания в слове с последней откровенностью отчаяния. Это сделано в «Четвертой прозе», надиктованной жене зимой 1929/1930 года. Захлебывающийся, нервно-торопливый тон – по сути тот же, что в «Египетской марке», но вместо господствовавшей там мрачно-игровой беспредметности, которая соответствовала фазе предчувствий, здесь темы предметны и конкретны.

Личная тема – постигшие Мандельштама злоключения, необузданные памфлетные выпады против Горнфельда и других антагонистов и, шире, несовместимость вольного поэта с «литературой», столь быстро адаптирующейся и умеющей доказать кому надо собственную нужность. «Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными». А поэт – вне игры, он ничего никому не докажет, не внушит к себе ни малейшего уважения. «Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы я крутил мельничные жернова, все равно я никогда не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками». В этой связи вспоминается один сюжет из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам – как в самом начале 30-х годов какая-то осетинская женщина из крестьян говорила поэту: «Ося, ты к ним в колхоз не идешь, я понимаю... Ты лучше иди, не то пропадешь, видит Бог, пропадешь...»

Сверхличная тема – то, что происходит со всей страной. «...Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене масло жмут: – Эй, навались, жми, да так, чтобы не было видно того самого, кого жмут, – таково священное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил – убей его!
Кассирша обсчиталась на пятак – убей ее!
Директор сдуру подмахнул чепуху – убей его!
Мужик припрятал в амбаре рожь – убей его!»

Мандельштам, скорее недолюбливавший Есенина, с тоскующей любовью вспоминает одну есенинскую строку – «Не расстреливал несчастных по темницам». Это для него «символ веры... подлинный канон настоящего писателя, смертного врага литературы».

Следует отметить, что в самых резких местах «Четвертой прозы», – язык не «антисоветский» и не досоветский; это распознаваемый и актуальный для 1929–1930 годов язык советской оппозиции. Характерна в этом отношении фраза: «Мы... правим свою китайщину, зашифровывая в животнотрусливые формулы великое, могучее, запретное понятие

класса». Сказать, что для официальной фразеологии понятие класса, которым оперировали на каждом шагу, по существу стало «запретным», – это кажущийся парадокс, очень конкретный, смысл которого понятен для взгляда изнутри, не для взгляда извне. Ни один эмигрант так не сказал бы.

Весной 1930 года Мандельштам – еще раз по заступничеству Бухарина – получает возможность сменить ставшую удушливой московскую обстановку. Он едет в санаторий на Кавказе, затем в Армению. Встреча с древней армянской культурой становится для него одним из формирующих жизненных впечатлений. В Армении начинается дружба с Б. Кузиным, человеком глубоким, прямым, абсолютно не способным на конформизм. Об этой дружбе будет сказано: «Когда я спал без облика и склада, / Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». И происходит чудо: «сон без облика и склада» прекращается. Снова приходят стихи.

Новые стихи куда яснее, чем «Грифельная ода» и то, что с ней соседствовало. Их интонация проще, резче – что называется, раскованнее и современнее, – чем у прежнего Мандельштама. «Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь» – это слова из «Египетской марки», но вполне всерьез они подходят не столько к повести, в которой так много игровых подмен, а к мандельштамовской поэзии 30-х годов.

Настоящая правда – страшна. Возврат поэтического дыхания начинается со стихов о страхе. В поэзию входят темы, разработанные перед этим в прозе; но если там было метание, безнадежное усилие уйти от угрозы, здесь этого нет. Стихи потому и стали возможны, что поэт принял свою судьбу, возобновляя внутреннее согласие на жертву, одушевлявшее его поэзию с давнего времени.

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заест ореховым пирогом...

Да, видно, нельзя никак.

Но его мужество – мужество отчаяния. «Были мы люди, а стали людье». У него никогда еще не было этих неистовых интонаций, выражающих состояние души, когда последние силы собраны, как в кулак:

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Или помягче, но и пронзительнее:

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно!

Или как бы со спортивной бодростью:

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

И с вызовом – прежде всего современникам, извергшим, исключившим, отторгшим от себя поэта, но также и тем, кто действительно остался во вчерашнем дне, и себе же самому, заявившему семь лет назад «Нет, никогда ничей я не был современник»:

Пора вам знать: я тоже современник –
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, –
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Поэзия Мандельштама становится в начале 30-х годов поэзией вызова. Она накапливает в себе энергию вызова – гнева, негодования. «Человеческий жаркий обугленный рот / Негодует и "нет" говорит». После ряда подступов, набросков, вариантов рождается такой шедевр гражданской лирики, как «За гремучую доблесть грядущих веков...». Это уже не всполошные выкрики «Четвертой прозы» – голос вернул себе спокойную твердость, каждое слово плотно и полновесно:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе...

Между тем круг суживается. На фотографиях сорока-летний поэт выглядит глубоким стариком. Появление «Путешествия в Армению» в журнале «Звезда» (март 1933 года) вызывает бурный скандал; в августе «Правда» печатает разгромную рецензию.

Терять было нечего. Наступило время, когда слово должно было стать делом, поэзия должна была стать поступком. В эти годы поэт не без мрачного удовлетворения говорил жене, что к стихам у нас относятся серьезно – за них убивают.

Разумом или инстинктом, но одно свое свойство Мандельштам должен был знать: до смешного хрупкий и немощный человек, он сразу делался сильнее, когда абсолютно прямо шел навстречу самому главному страху. (Так было, по-видимому, в 1918 году, когда он вырвал из рук работавшего в ЧК левого эсэра Блюмкина ордера на расстрелы.) Тут он переставал быть «Парноком». «Парнока» – того можно было утопить в луже, в стакане воды: изо дня в день грозили смутные страхи, абсурдные обиды, булавоочные уколы, и Мандельштам терял всякое самообладание. Но нет – он погибнет не от булавоочных уколов.

Так в ноябре 1933 года были написаны стихи против Сталина: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Перед этим был страшный голод, искусственно созданный в ходе сталинской коллективизации на Украине, на Дону, на Кубани: вымирали целые деревни. Не должно быть забыто, что именно Мандельштам – «горожанин и друг горожан», как он назвал себя, – первым сказал в своих стихах о великой крестьянской беде:

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные – Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Он об этом думал; недаром в одном из вариантов его поэтического памфлета Сталин назван «душегубцем и мужикоборцем».

Что сказать о самом памфлете? Это прежде всего поступок, некое «ужо тебе!» – как у пушкинского Евгения. Чисто поэтически две первые строки, как кажется, перевешивают остальное. В них выговорено самое главное – страшное разобщение между атомизированными индивидами и страной, разрыв естественных связей; и по афористической силе эти две строки – на уровне самых больших удач поэта. Перейти от них к политической карикатуре, хотя бы такой, которая заставляет вспомнить «Капричос» Гойи, – неизбежное снижение. И вообще этика гражданского поступка оказывалась в противоречии с мандельштамовской поэтикой; первая требовала однозначности, второй однозначность была противопоказана. Как углубляло перед этим самые страшные стихи Мандельштама то, что в них совместно с безоговорочным осуждением «шестипалой неправды» звучал мотив совинности, сопричастности: «Я и сам ведь такой же, кума!» Но что делать – поступок должен быть прямым и потому прямолинейным.

Среди глухого всеобщего молчания – один ломкий, но внезапно окрепший голос, который договорил до конца то, чего никто не решался додумать про себя.

Теперь Мандельштаму только и было оставлено времени, что оплакать в стихах смерть Андрея Белого, скончавшегося в начале 1934 года. Прежде Мандельштам высказывался и о стиле Белого, и о его антропософских увлечениях весьма резко; Белый платил ему антипатией. Но теперь он написал великолепный стихотворный реквием и самому Андрею Белому, и ушедшей вместе с ним эпохе, и утраченной, разрушенной культуре, – и, подспудно, самому себе.

13 мая 1934 года Мандельштам был арестован в своей квартире в Фурмановом переулке – той самой, которой посвящено горькое стихотворение «Квартира тиха, как бумага...», отлично передающее атмосферу предчувствий. «Ордер на арест был подписан самим Ягодой, – вспоминает Ахматова. – Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной, у Кирсанова, играла гавайская гитара. Следовательно при мне нашел "Волка"²⁴ и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра».

* * *

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен, –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

О. М.

Приговор, постигший тогда Мандельштама, оказался неожиданно мягким. Вместо расстрела, вместо лагеря – высылка в Чердынь, да еще с разрешением жене сопровождать высланного; а потом и вовсе «минус 12» – и поэт мог выбрать теплый, относительно благополучный Воронеж.

Часто спрашивают, почему так было, ищут объяснений. Да, были хлопоты: Ахматова ходила к Енукидзе, Пастернак – к Демьяну Бедному, Надежда Яковлевна – к Бухарину. Да, был пресловутый звонок Сталина Пастернаку. Только разве это имело какое-нибудь значение? И Н.А. Струве, и Б.М. Сарнов полагают, что Сталину хотелось приручить Мандельштама и поставить его себе на службу. Возможно, – только и подобные соображения едва ли могли быть решающими.

Вопрос этот связан с другим: «за что», собственно, взяли поэта повторно – через четыре года после первого ареста? Он не только не наделал никаких новых дерзостей – в худые минуты он пробовал воспевать Сталина. Так «за что»?

Как кажется, ответ на оба вопроса достаточно несложен. Если что Сталин умел в совершенстве, так это мстить – и выжидать для мести удобного часа. Судьба поэта, позволившего себе выпад неслыханной силы и прямоты против личности Вождя Народов, в принципе была решена, скорее всего, сразу и бесповоротно: он не должен был ходить по земле. От него не нужно было славословий: нужна была только его смерть. Но нетрудно было понять, что немедленный расстрел или даже значительный лагерный срок – это способ поднять интерес к преступным стихам, дать им резонанс. Нет, первое наказание должно выглядеть как пустяк,

почти что курам на смех: большого ребенка за его проказы поставили в угол. Но он на крючке – и про него не забудут. А когда придет давно задуманная полоса Большого Террора, поэт исчезнет с лица земли незаметно: у каждого будут свои заботы.

Несмотря на мягкость приговора, арест очень тяжело обошелся Мандельштаму. «Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза, – вспоминает Э.Г. Герштейн. – Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали. Рука на привязи». В Чердыни поэт выбросился из окна, по приезде в Воронеж болел сыпным тифом. Помрачение сознания ушло, но временами возвращалось.

Внешние обстоятельства были сугубо неустойчивыми. В 1935 году Мандельштаму было разрешено заниматься с местной молодежью литературной консультацией; он сотрудничал на местном радио, писал литературные радиопередачи (одна из них – «Юность Гёте»). Однако в 1936 году началась травля. Некто Г. Рыжманов написал о нем характерные стишки:

Подняв голову надменно,
Свысока глядит на люд –
Не его проходит смена,
Не его стихи поют.

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он – чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак...

«Зарботки прекратились, – читаем мы в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам. – Знакомые на улицах отворачивались или глядели на нас не узнавая». В 1937 году альманах «Литературный Воронеж» причислил поэта к «банде» троцкистов, распространяющей вокруг себя «дух маразма и аполитичности». Поэт жалуется в письме к К.И. Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса... Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть».

Ахматова, приехавшая к Мандельштаму в Воронеж в феврале 1936 года, писала:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

Таков биографический фон последнего, очень яркого расцвета мандельштамовской поэзии. Воронежская земля, земля изгнания, увидена и воспета как целомудренное чудо русского ландшафта.

В лицо морозу я гляжу один:
Он – никуда, я – ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса – почти что те...
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

То же смысловое сопряжение нищеты и чистоты, тот же размер, те же рифмы – «утешен» и «безгрешен» – появляются в тех стихах, которые взяты в эпиграф для этого раздела статьи. Суровый зимний пейзаж, выступавший как метафора очистительного испытания еще в поэзии начала 20-х годов («Умывался ночью на дворе...», «Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»), служит фоном для торжественной и торжествующей темы человеческого достоинства, неподвластного ударам судьбы.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Но с тенью дело обстоит не так просто. Этот образ возникает в двух письмах того же времени: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень» (письмо к Ю.Н. Тынянову); «Я тень. Меня нет» (письмо к К.И. Чуковскому). О ком идет речь в стихотворении, кого это «пугает лай и ветер косит», кто это «как тень» и просит милос-

тыни у тени? Этот антипод поэта – он же сам, только не в состоянии катарсиса, а в состоянии омрачения, справиться с которым способен только катарсис. «Не считайте меня тенью» – и одновременно – «я тень»: две правды о самом себе.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами...

Не признавая и все же каждодневно ощущая себя «тенью», изверженной из мира людей и только по видимости замешкавшейся в нем, поэт проходит через свое последнее искушение: попросить милостыню у тени, поддаться иллюзорному соблазну, использовать свой дар, чтобы вернуться в жизнь. Так возникает «Ода Сталину». Вполне очевидно, что Мандельштам – какими бы противоречивыми ни были к этому времени его, может быть, уже не всегда «вменяемые» мысли – должен был причинить себе при работе над «Одой» немалое насилие; внешним его знаком было уже то, что стихи не рождались на ходу, в движении, «с голоса», как обычно, – нет, поэту пришлось засадить себя за стол. «Каждое утро О.М. садился к столу и брал в руки карандаш: писатель как писатель, – вспоминает Н.Я. Мандельштам. – Просто Федин какой-то...» С другой стороны, столь же очевидно, что, в отличие от жутких, откровенно мертворожденных опытов Ахматовой в официозном роде из цикла «Слава миру», это не совсем пустая версификация, а нечто, хотя бы временами, отдельными прорывами и проблесками, причастное мандельштамовскому гению.

Что, собственно, произошло? Мы уже подступали к ответу на этот вопрос в связи с характеристикой ранних описательных стихов на историко-культурные темы, вроде «Домби и сына». Поэтическая система Мандельштама дошла до такой степени строгости и последовательности, что она как бы срабатывает сама, отторгая от себя ложь, создавая между ложью и собой дистанцию, при которой ложь, независимо от намерения поэта, выступает как объект наблюдения. Поэт может пытаться принудить себя солгать, но его поэзия солгать не может.

Примечательно уже начало «Оды»:

Когда б я уголь взял для высшей похвалы –
Для радости рисунка непреложной, –
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно...

Ведь об эту же пору, на этой же ритмической волне рождается строка:

И не рисую я, и не пою...

Связь между обоими поэтическими высказываниями, вероятно бессознательная, выстроенная не рассудком и волей человека, а инстинктом художника, подмечена еще Н.Я. Мандельштам. «Когда б я уголь взял» – но ведь я-то не рисую, не беру угля, рисует углем некто другой, а я смотрю со стороны и описываю его рисунок. Несмотря на сентиментальные нотки – или как раз благодаря им, ибо когда это Мандельштам позволял себе сентиментально говорить про себя самого? – стихотворение получилось отстраненно-дескриптивным. Это сумма мотивов сталинистской мифологии, каталогизируемая так, как можно было каталогизировать представления древних народов – например, ассирийцев или египтян, так часто служивших у Мандельштама метафорой тоталитарного мира. Каждый мотив доведен до нечеловеческой кристалльности формы, как у египетского иероглифа, до завораживающей и пугающей абстрактности. Атмосфера жути нарастает от строфы к строфе. Снова и снова возникающие «бугры голов» – это страшно само по себе, по действию поэтической логики, объективно, вне всякой зависимости от того, точно ли передает вдова поэта его задумчивое бормотанье: «Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы – бугры голов? Что он делает с этими головами?»

И все-таки работа над «Одой» не могла не быть по-мрачением ума и саморазрушением гения.

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось –
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось...

Но затем забота о собственной судьбе отпускает поэта – и среди тягот и неурядиц последних воронежских месяцев он создает совсем свободные, совсем отрешенные стихи.

Задача была названа чуть раньше: жить, «перед смертью хорошея». А еще раньше, в «Путешествии в Армению», было описано, как рушат липу на замоскворецком двореике: «Дерево сопротивлялось с мыслящей силой, – казалось, к нему вернулось полное сознание». Эти пронзительные слова – словно эпиграф к неожиданным прорывам света в конце воронежского периода поэзии Мандельштама. Борьба за «полное сознание» на самой границе бреда, борьба за катарсис на последнем пределе срыва наполняет эти прощальные стихи, дает им драматическую пружину.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия...

Поздняя мандельштамовская поэтика сполна реализует ту программу «существующей только в наплывах и волнах, только в подъемах и лавированьях поэтической композиции», которая была теоретически развита еще в «Разговоре о Данте». Усложняется и обогащается, порой приводя к темноте, порой триумфально выводя из них, тот прием, который мы называли выше семантическим наложением. Приходит к своему окончательному торжеству намечавшийся уже давно принцип взаимодополняющего равноправия текстовых вариантов, которые не относятся друг к другу как беловик и черновики, но сосуществуют по законам единства особого порядка, по двое или по трое вырастая на одном корню, подтверждая друг друга, но и споря друг с другом. Более чем когда-либо прежде, это поэтика противоречия.

Противоречие, особенно важное для понимания во многом загадочной смысловой глубины возникших тогда «Стихов о неизвестном солдате», – это спор между личностью поэта, умевшей «топорщиться», да еще как («Нрава он был не лилейного...»), и глубокой волей «быть как все», жить и гибнуть с «гурьбой и гуртом», не отделять своей судьбы от судьбы безымянных. Такая воля выявилась

именно у позднего Мандельштама. «Всех живущих прижизненный друг», – сказал он о себе, этим он хотел быть. Окончательная, ничем не прикрашенная анонимность человеческой участи: «миллионы убитых задешево», – вся прежняя поэзия не знала и не могла знать такой темы. «Исчертанный год рожденья» – уже не знаменательная дата начала индивидуальной биографии (вспомним давнюю статью «Конец романа!»), а нечто совсем иное: бирка в кулаке, соединяющая призывника с поколением, с товарищами по судьбе, растворяющая его в их потоке. Человеческая мера взорвана и развеяна «молью нулей». Настоящее – безмянная мука голода, холода и безразличной к человеку смерти под неприветливым дождем: «пасмурный, оспенный и приниженный гений могил». Будущее – «воздушная яма». Но тягой контраста и конфликта в стихотворение втягивается катарсис, не объяснимый никаким рационалистическим толкованием, но пронизывающий весь его состав:

...От меня будет свету светло.

«Небо крупных оптовых смертей», окопное небо, названо не только неподкупным, но и целокупным, и это слово повторено в величавой элегии «К пустой земле невольно припадаю...» – в обоих случаях через смерть дается образ некоей строгой гармонии, которая несовместима со счастьем, но глубже счастья и, может быть, дороже, нужнее сердцу, чем счастье. А в эпизоде «Для того ль должен череп развиться...» время обращено назад, к своему чистому истоку, так что уже после гибели, после входа «войск», после конца победоносно является начало – непорочное и многодумное сияние младенческого лба.

Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска –
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится...

И в другом стихотворении этой поры, написанном легкими, короткими строчками, речь идет о встрече со светом – уже где-то за пределами собственного существования:

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем!

А уже упомянутая элегия «К пустой земле невольно припадая...», едва ли не самый строгий и высокий образец любовной лирики нашего столетия, славит призвание – «впервые приветствовать умерших». Другие стихи, пронизанные образностью Тайной Вечери («Небо Вечери в стену влюбилось...») и Распятия («Как светотени мученик Рембрандт...»), словно замыкают круг, начатый давным-давно юношеским стихотворением Мандельштама о Голгофе.

Было бы утешительнее, пожалуй, если бы на этом последнем, удивительно чистом взлете голос поэта навсегда оборвался. Но случилось не совсем так.

16 мая 1937 года истек срок трехлетней ссылки. Надежда вернуться в жизнь людей, казалось бы, духовно уже преодоленная, снова подступает к полуживому человеку, чтобы мучить и унижать его, отнимая дорого доставшийся покой отчаяния. Поэт снова увидел Москву, куда к нему незамедлительно приехала Ахматова. Однако новые впечатления были мрачными. «Чего-то он здесь не узнавал, – свидетельствует Э.Г. Герштейн. – И люди изменились... все какие-то, – он шевелил губами в поисках определения, – ... все какие-то... поруганные». Весьма скоро, однако, выяснилось, что в Москве ему жить никто не даст; прописка как раз становилась фундаментальной советской категорией. Временно он обосновался с женой в Савелове, возле Кимр (там же довелось жить, между прочим, и высланному Бахтину). В Москве для него остается открытым дом Шкловских, он навещает Пастернака в Переделкине. Для сбора денег на самые насущные нужды он дважды приезжал в Ленинград – осенью 1937 года, когда общался с умным переводчиком и критиком Валентином Стеничем и особенно со старым другом М.Л. Лозинским, и в феврале 1938 года, когда Стенич был уже арестован, а смертельно перепуганный Лозинский отказался принять. «Время было апокалипсическое, – вспоминает Ахматова. – Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами».

Таков биографический фон савеловских стихов – последних стихов Мандельштама, которые мы знаем. Едва ли будет ханжеством сказать, что они производят грустное впечатление, хотя власть над словом до конца не изменяет поэту. В чувственном лепете возникает очень плотский и притом бравурный, какой-то купецки-кустодиевский, стилизованный под фольклор образ русской красавицы: это Эликонида Попова, жена актера Яхонтова. Агрессивное здоровье этого образа противостоит хрупкой обреченности самого поэта, жаждущего в изнеможении прислониться к чужой силе. (Трудно не вспомнить финал пьесы Ионеско «Носороги», где герой – единственный, кто отказался сменить образ человеческий на носорожий, – смотрит в зеркало с поздним раскаянием и жгучим стыдом за свою неловкую немощь, контрастирующую с толстокожей мощью оносорожившихся.) Реальная Лиля Попова, с дневником которой нас недавно познакомил В. Швейцер, не сводима к этому носорожьему началу, хотя не чужда ему. «Произносящая ласково // Сталина имя громовое...» – эти строки сходятся с тем, что известно о сентиментальной приверженности Поповой почитанию вождя. И все же есть своя правильность в том, что «имя громовое» в последний раз появляется в стихах Мандельштама именно так: оваянное запахом блуда. Еще раз – какой бы ложный шаг ни делал поэт, его поэзия солгать не может.

Впечатления наши от савеловского эпилога были бы, очевидно, более радостными, если бы сохранилось написанное тогда же стихотворение против смертной казни, в котором поэт возвращался к одному из самых глубоких мотивов своей мысли и жизни, не сводимому у него к тривиальной «гуманности».

А между тем судьба идет своим путем. Истомившиеся от бездомности и безденежья Мандельштамы неожиданно получают литфондовскую милость – путевки в дом отдыха в Саматиху. Но именно там поэта подстерегал неминуемый повторный арест, настигший его 2 мая 1938 года.

Приговор ОСО... Эшелон арестованных покидает Бутырскую тюрьму... прибывает в транзитный лагерь под Владивостоком... В последний раз мы слышим голос Мандельштама в единственном письме из этого лагеря:

«Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, не узнаваем почти, но посылать вещи, продукты и день-

ги – не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, жива ли ты, голубка моя?..»

В том же лагере поэт и умер – 27 декабря 1938 года; как известно, эта официальная дата вызывала некоторые сомнения, но в настоящее время подтверждена документами.

На свете оставалось не так уж много людей, помнивших самое его имя. Несколько человек хранили его неопубликованные стихи, пряча и перепрятывая списки, вытверживая текст наизусть, ревниво проверяя свою память.

С неожиданной точностью реализовалась метафора из давней статьи:

«Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы... Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее».

Все было кончено. Все было впереди.

Во второй половине 50-х годов, едва отпустил страх, списки мандельштамовских стихов начинают расходиться по рукам, поначалу в сравнительно узком кругу, служа словно заветным паролем для тех, кто хранил память культуры. Но вот оказывается, что слух новых, вступающих в жизнь поколений от рождения подготовлен к музыке этих стихов, настроен на нее. Что акустика времени заставляет эту музыку звучать все громче, все яснее. Что у поэта все больше, как сказал бы он сам, «провиденциальных собеседников», действительно всерьез живущих его стихами. Для многих мандельштамовская поэзия становится формирующим, воспитующим переживанием. Ее воздействие выходит за пределы русской культуры – мы уже упоминали выше такое явление, как Пауль Целан, сделавший образ Мандельштама одним из символов европейской поэтической традиции.

Весть мореплователя нашла своих адресатов. И все же вспомним, что даже куцая книжка «Библиотеки поэта» никак не могла выйти до самого 1973 года, да и то лишь с чудовищной статьей А.Л. Дымшица, в которой перевернуто все, начиная с места рождения Мандельштама и кончая временем его смерти, и забавно отмечено, что «одним из самых серьезных заблуждений Мандельштама была мысль об особой миссии поэта и о его особом поэтическом языке...»²⁵.

Что до окончательной юридической реабилитации Осипа Эмильевича, для нее пришло время только в 1987 году.

Да что – сам напроорочил в «Четвертой прозе»: «Судопроизводство еще не кончилось».

* * *

Сквозная тема Мандельштама, обеспечивающая единство его творчеству от начала до конца, – это клятва на верность началу истории как принципу творческого спора, поступка, выбора.

Вспомним, что еще в 20-е годы поэт пристально вчитывался в книгу П.А. Флоренского «Столп и утверждение истины». Здесь не место говорить о самой книге; но вот слова, которые Мандельштам должен был читать с живым сочувствием, с внутренним согласием и которые много поясняют у него самого: «Мы не должны, не смеем замазывать противоречие тестом своих философов! Пусть противоречие остается глубоким, как есть». Чуть ниже приятие противоречия названо «бодрым», то есть отождествлено с vitalностью мысли, чуть ли не физиологически понятой, – с победой над «склерозом», как сказал бы Мандельштам на языке своего «Разговора о Данте». Или прибегнем к космологической метафоре, важной для эпохи и близкой именно Флоренскому: столкновения «да» и «нет», перепады жара и холода – единственное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса, поскольку выравнивание температуры, приведение всего сущего к безразличной теплоте, не горячей и не холодной, есть, согласно второму началу термодинамики, «тепловая смерть вселенной». Но Мандельштам тревожился не столько за вселенную, сколько за историю, прекращение, энтропийное замирание которой внушало ему больший ужас, чем все катастрофы самой истории. Пока кипит гнев и спор, пока живо удивление, жива история. Отсюда характерная для поэта парадоксальная апология «литературной злости» некрасовской поры русской словесности, подобие которой он увидел в крутом, несговорчивом нраве тех новгородских икон, на которых «сердятся» рядами изображенные заказчики, «спорщики и ругатели», «удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы». Здесь каждое слово важно: есть на что, значит, сердиться, есть чему удив-

ляться, есть о чем спорить, раз есть событие. Синоним события – поступок («Чтоб звучали шаги, как поступки...»).

Но вот если «буддийское» отвлеченное безразличие или «египетское» чиновничье самодовольство сможет «тупым напильником» притупить острие готического шпилья, знаменующего напряженность события-поступка, бросающего вызов пустоте, – это беда горше всех бед, и о ней у поэта сказано: «подступает глухота паучья».

Одно из противоречий, какими живо творчество Манделъштама, касается собственной природы этого творчества. «Мы – смысловики», – говорил поэт, и слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с которой ум поэта проследживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую на глубину, то выступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то так, то эдак поворачивает в вариантах. Его обеспечивает высокая степень связности, которую открывают пристальному взгляду самые, казалось бы, шальные образы и метафоры, если не лениться рассматривать их в «большом контексте». Но тот же поэт сказал о «блаженном, бессмысленном слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть сведено на нет никаким умным толкованием. Что во всем этом отличает Манделъштама от всесветного типа поэта XX века, так это острое напряжение между началом смысла и «темнотами». Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое «остается глубоким, как есть». И установка «смысловика», и жизнь «блаженного, бессмысленного слова» остаются, оспаривая друг друга, неожиданно меняясь местами.

Поэтому Манделъштама так заманчиво понимать – и так трудно толковать.

¹ Как известно, в поэтическом манифесте Верлена описание того, чем должна быть поэзия, завершается словами: «Все прочее – литература» (пастернаковский перевод, в случае этой строки, точный до буквальности).

² Далеко не полный перечень важнейших работ о Мандельштаме, постоянно используемых или служащих предметом подразумеваемого спора на протяжении статьи: *Brown 1973; Toddes 1974; Taranovsky 1976; Ronen 1979; Dutli 1985; Freidin 1987; Спруве 1988.*

³ См.: *Мандельштам 1978; Ахматова 1988; Кузин 1987; Штеммель 1987.*

⁴ *Герштейн 1986.*

⁵ В отброшенном варианте поэтического портрета Ахматовой («Вполоборота, о печаль...») Федра была названа «отравительницей»; это нормальный для поэтики Мандельштама способ соединять данные традицией сюжеты в единый метасюжет (см. ниже о стихотворении «Домби и сын»).

⁶ Заметим, что Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анненского вплоть до 20-х годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты – от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе (Гейне – постромантик, Мандельштам – постсимволист).

⁷ И конечно, Чаадаева, Герцена, Леонтьева и Розанова – но те «абстрактным бытием» не занимались.

⁸ *Гаспаров 1970. С. 5–37.*

⁹ Конечно, у Ахматовой чувственная пластика и бытовая деталь действительно имеют первостепенную важность. Но у нее, как и у раннего Кузмина, все это сведено к назначению театральной декорации, на фоне которой демонстрирует свое инсценируемое бытие лирическое «я». Оно оттеняется вещью, а не сливается с ней, как у Пастернака.

¹⁰ Вспомним слова В. Пяста о Вяч. Иванове, проясняющие проблему, немаловажную и для понимания Мандельштама. «Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как-то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в заднем плане стихотворения, – вначале обойтись не может. Скажет Пушкин: "Я помню чудное мгновенье", – и во всем стихотворении не упомянет ни одной вещи из наличной, окружающей это мгновение обстановки; но никому и в голову не придет спросить себя, где это

происходило. Отнюдь не потому, чтобы это было для нас неважно, но потому, что где-то между строчек эта обстановка вошла в это стихотворение... Ничего подобного не найдет он у Вячеслава Иванова... Стихи этой книги "видны насквозь"... в них самих нет заграждающего зрение заднего фона» (*Гофман ред. 1909. С. 265–266*).

¹¹ Например, сознанию Н.Я. Мандельштам свойственно видеть в особенно черных красках Вяч. Иванова. Благодаря этому в ее интерпретации исчезает то здоровое и естественное соединение притяжения и отталкивания, которое испытывал к старшему поэту Мандельштам.

¹² Мы сознательно обходим вопрос о Гумилеве. Живущий в его поэзии идеал непрерывного героического самопроявления, недаром так импонирующий романтикам 20-х годов вроде Н. Тихонова или Багрицкого, по своей сути утопичен, как бы ни оправдывала его гумилевская биография. Ср. у Н.Я. Мандельштам: «Акмеисты отказались от культа поэта и "дерзющего человека", которому "все позволено", хотя "сильный человек" Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести (воин и путешественник). Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру».

¹³ См.: *Ходасевич 1939*.

¹⁴ Вспомним, что Цветаева рисует бытие Андрея Белого или Волошина без малейшего чувства дистанции, включаясь в их игру, «подыгрывая» им, доводя до конца от них исходящую стилизацию реальности. Пастернак с некоторым преувеличением, но не без основания утверждал, что «ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли быть... символисты» («Люди и положения»).

¹⁵ Ср. запись С.Б. Рудакова от 1 июля 1935 года (Мандельштам о Гумилеве): «Я говорил ему, поменьше Бога в стихах трогай (то же у Ахматовой: "Господь", а потом китайская садовая беседка)» (*Герштейн. Указ. соч. С. 243*). Общеакмеистский упрек символизму здесь переадресован самим акмеистам – даже их строгость недостаточна.

¹⁶ Вспомним, что именно с идеей единства Мандельштам связывает в «Шуме времени» свое отроческое переживание марксизма. Вспомним также, с какой остротой поставлен вопрос о единстве русской литературы в статье 1922 года «О природе слова», с каким сочувствием в этой же статье сказано о попытке Бергсона «спасти принцип единства в вихре перемен и безостановоч-

ном потоке явлений». Принцип единства противостоит для Мандельштама аморфному эволюционизму, подменяющему связь времен «дурной бесконечностью» прогресса.

¹⁷ Это решение – не такое уж само собой разумеющееся: начало века в России – время бурного развития еврейской литературы, как на иврите (которому Мандельштам отказался учиться в отрочестве) и на идише, так, отчасти, и на русском языке. С сионистских тем начинал юный С. Маршак, мандельштамовский сверстник.

¹⁸ Нечто подобное мы встретим в «Оде Сталину» 1937 года, о чем ниже. Ода тоже основана на принципе каталога. Разница, конечно, в том, что никакая внешняя сила не принуждала Мандельштама писать стихотворение 1914 года, и корысти ему тоже не было никакой. Интересно, однако, что некоторая возможность опытов в таком роде возникает из самой поэтики Мандельштама (чуть ли не из родовой памяти поэзии как таковой, издревле служившей этикетному славословию), – хотя бы на периферии этой поэтики, да еще так, что все немедленно оказывается оспорено и взято назад самим поэтом.

¹⁹ В «Оде Сталину» ту же функцию ухода от простой утвердительной формы выполняет вводимое с первой же строки со- слагательное наклонение.

²⁰ Позднее цитата будет комически подчеркнута: «У ворот Ерусалима / Хомякова борода».

²¹ «Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных / Я убежал к nereидам на Черное море...» Вехи пути: Харьков и Киев, где он встретил будущую спутницу своей жизни Н.Я. Хазину, Коктебель, где он не ужился с Волошиным, и Феодосия, где он был арестован врангелевской контрразведкой и спасен стараниями полковника Цыгальского – того самого, с которым связан образ увечного двуглавого орла в «Шуме времени», – а также Волощина и Вересаева; Батуми, где он был еще раз арестован береговой охраной меньшевистского правительства и освобожден по милости просвещенного жандарма; наконец, Тифлис.

²² Это неоднократно и едва ли удачно описывали как приближение к футуризму (впрочем, контакты Мандельштама с группой «Гилея» – факт, который необходимо учитывать). Поэтика Мандельштама – понятие более конкретное и потому более ясное, чем «акмеизм вообще» или «футуризм вообще». Футуристов Хлебникова и Маяковского поэт уважал – как, впрочем, и неоклассика Ходасевича.

²³ Древний Египет – для Мандельштама всегда образ не-свободы, одновременно жестокой и чиновничьи-самодовольной («Бессмертны высокопоставленные лица»), а потому конца истории как пространства для выбора. Здесь отчасти играли роль библейские коннотации «Египта, дома рабства». В 1931 году поэт говорил отцу Э.Г. Герштейн о Сталине: «...десятник, который заставлял в Египте работать евреев» (ср. библейский рассказ о том, как Моисей «увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его» – Исход 2, 11).

²⁴ Домашнее название стихотворения «За гремучую до-блесть грядущих веков...».

²⁵ См.: *Мандельштам 1978*. С. 52.

- Brown 1973 – *Brown Clarens*. Mandelstam. Camdrige, 1973.
Taranovsky 1976 – *Taranovsky Kiril*. Esseys on Mandelstam. Harvard, 1976.
Ronen 1979 – *Ronen Omry*. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1979.
Dutli 1985 – *Dutli Ralh*. Osip Mandelstam. Dialog it Frankreich. Zürich, 1985.
Freidin 1987 – *Freidin Gregory*. A Coat of Many Colours. Ossip Mandelstam and his mythologies of self-presentasion. Berkley; Los-Angeles; London, 1987.
- Ахматова 1988 – *Ахматова А.* Листки из дневника (О Мандельштаме) // Вопросы литературы. 1988. № 2.
Гаспаров 1970 – *Гаспаров М.* Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Ред. переводов, вступ. статья и коммент. М. Гаспарова. М., 1970.
Герштейн 1986 – *Герштейн Э.Г.* Новое о Мандельштаме. Париж, 1986.
Гофман ред. 1909 – Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. М. Гофмана. СПб., 1909.
Кузин 1987 – О.Э. Мандельштам и Б.С. Кузин. Материалы из архивов [Письма О.Э. Мандельштама М.С. Шагинян и Б.С. Кузину. Воспоминания Б.С. Кузина об О.Э. Мандельштаме] / Публ. М.А. Давыдова, А.П. Огурцова и П.М. Нерлера // Вопросы истории естествознания и техники. 1987. № 3.
Мандельштам 1978 – *Мандельштам Н.Я.* Вторая книга. Париж, 1978.
Струве 1988 – *Струве Н.А.* Осип Мандельштам. Лондон, 1988.

Тоддес 1974 – *Тоддес Е.А.* Манделъштам и Тютчев // *Internasional Journal of Slavic Linguistics and Poetic*, 1974, 17.
Ходасевич 1939 – *Ходасевич Вл.* Конец Ренаты // Вл. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Брюссель, 1939.
Штемпель 1987 – *Штемпель Н.Е.* Манделъштам в Воронеже // *Новый мир*. 1987. № 10.

Впервые: Манделъштам Осип. Сочинения в двух томах. Том первый: Стихотворения. М.: Художественная литература, 1990. С. 5–64. Фрагмент: Ранний Манделъштам // *Знамя*. 1990. № 4. С. 207–212. Другой фрагмент: *Голос*. 1991. № 3. 19–25 янв. С. 12; Сокращенная редакция: Конфессиональные типы христианства у раннего Манделъштама // *Слово и судьба. Осип Манделъштам*. М.: Наука, 1991. С. 287–297. Переработанная редакция: *Аверинцев С.* Поэты. М.: Языки русской культуры. 1996. С. 189–273 (печатается по изданию 1996 г.).

«Золотистого меда струя
из бутылки текла...»

Стихотворение написано в августе 1917 г. Идиллия дачной жизни так называемого «профессорского уголка» в Алуште («хозяйка» – В.А. Шиллинг, жена художника С.Ю. Судейкина, впоследствии замужем за Игорем Стравинским) имеет своим подразумеваемым контрастным фоном тревожную атмосферу рокового года российской истории.

В основе стихотворения лежит традиционное для русского интеллигента восприятие Крыма как субститута Греции. Крым, с его «таврическим» прошлым и «эллинскими» ландшафтами, всегда заменял далекую Грецию российскому любителю античной красоты, в особенности тогда, когда последний ощущал себя запертым внутри государственной границы: «архетипическая» также и в этом отношении ситуация Пушкина, повторенная бесчисленными советскими судьбами. Именно в Крыму Мандельштам под шум Черного моря размышлял над второй песнью Илиады в 1915 г. («Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»). В годы воронежской ссылки «упор насильственной земли» будет описываем прежде всего как болезненная разлука с «морями» – прежде всего Черным и видимым сквозь него Средиземным («Лишив меня морей, разбега и разлета...», 1935; «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...», 1937, и др.).

Поэт XIX в. или эпигон поэтической системы XIX в. во времена Мандельштама принужден был бы пойти по одному из двух путей: либо «стилизовать» Крым «под» Грецию, создавать *pastiche*, убирая диссонирующие детали, ли-

бо, напротив, обыгрывать трагический контраст между памятью Эллады и прозой современности. Кроме того, он скорее всего эксплицировал бы другой контраст – между политическими бурями и крымской дачной тишиной.

Мандельштам победоносно ушел от всех этих возможностей.

«Бутылка» в первой же строке – не совсем эллинская деталь. Таковы же «бочки» (вместо пифосов – ср., впрочем, ходячее выражение о «бочке» Диогена, которую последний у Батюшкова даже катит, см. стихотворение «Странствователь и домосед»). Таковы еще несомненное «темные шторы» и «после чаю», возвращающие нас к дачной обстановке. Ничего античного не имеет в себе самая яркая во всем разбираемом тексте метафора: «Где воздушным стеклом обливаются сонные горы». Но всё это – бутылка, шторы, чаепитие, импрессионистически увиденное струение воздуха – уверенно выстраивается в один ряд с Пенелопой, Еленой, золотым руном и кораблем Одиссея. Для этого используются различные приемы.

Обнажение подхода к оперированию с лексикой можно видеть на примере словосочетания «золотых десятинок». Древние греки меряли землю отнюдь не десятинами; мало того, слово «десятины» само по себе способно вызывать нарочито российские ассоциации. Эпитет «золотой» логически мотивирован задачей описания цвета, но выходит за пределы этой задачи хотя бы потому, что золотой – не золотистый. Оценочность эпитета выявлена через сопряжение с эпитетом «благородные», между тем как еще один эпитет «ржавые» возвращает к идее металла (несколько парадоксальным образом, поскольку золото как раз не ржавеет). Эпитет становится чуть многозначительным и немедленно оживляет в памяти все обороты из обихода эллинской классики вроде «золотой Афродиты», одновременно преобразуя виноград в изделие античного ювелирного искусства, надо полагать, представляющее «старинную битву» и «курчавых всадников».

Единство ряда очень сильно обусловлено фоникой. «Неточное», то есть отсутствующее в древнем сюжете, слово «вышивала» подготовлено словом «тишина», поставленным в сильную, то есть рифмующуюся, позицию в конце первой строки четверостишия. Что до «эллинской» окраски

ряда в целом, эксплицируемой во второй половине стихотворения, то она в большой степени зависит от выбора метра. Пятистопный анапест не только медлителен и торжествен; ввиду того, что это размер трехсложный, как бы дактиль наоборот, он доставляет весьма желательную в данном случае возможность вызвать призрак «гомеровского» дактилического гекзаметра, не идя по тривиальному пути прямого введения гекзаметра, этого чересчур откровенного знака стилизации под античность. Если читать строки стихотворения, начиная каждый раз со слова, имеющего ударение на первом слоге, на границах строк время от времени возникают цельные гекзаметры: «Меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго...»; «Бахуса службы, как будто на свете одни / Сторожа и собаки...» и т. д.

Позволительно предположить, не преувеличивая антиковедческой эрудиции Мандельштама, что строка «Всю дорогу шумели морские тяжелые волны» отсылает нас к Илиаде (I, 15). Гомеровский стих очень близок к самому началу поэмы, так что его шансы попасться на глаза Мандельштаму чрезвычайно велики; раз начав читать Илиаду с начала, невозможно не дойти до него, а дойдя, трудно не запомнить.

Введение мотива Одиссея «ностоса», возврата на родную Итаку, очень близко сублимирует центральную, но решительно неназванную тему контраста между революционным Петроградом 1917 г. – и тишиной на крымской даче. За спиной Одиссея – не только моря, натрудившие полотно, но и Троянская война. Для поэта Крым – не место возврата, не дом и не родина; однако дом и родина – метафоры укрытости от бурь, идиллии в ее противоположности истории. Особенно тогда, когда эта идиллия разыгрывается на берегу Черного моря, за которым – Средиземное.

Впервые: Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума. Тинафли: Эрмитаж, 1994. С. 18–20.

Так почему же все-таки Мандельштам?

...Первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов.

О. М.

Я начну с двух недоказуемых предпосылок. Во-первых, канонизация Мандельштама произошла при нас, на нашей памяти. Даже любители его поэзии из старших поколений удивлялись, покачивали головой. Эх же вы, однако; а у нас он был – «мраморная муха», «ужас друзей – Златозуб». Тон благорасположенных мемуаристов – и у этого чудака бывали, подумать только, замечательные строчки. (Даже у Ахматовой ощущается в ее поздней записи 1963 года некоторая оторопь перед отношением к Мандельштаму именно младших.)

В пылу энтузиазма с проблемами старших разделались не в меру легко. Здесь, так сказать, *πρωτον ψευδος* – начальная погрешность. Ведь мы все прошли через страннейший первый опыт знакомства с О. М. – «замечательно, но местами как-то уж очень идиотично», а потом постарались для вхождения в *political correctness* мандельштамизма это все позабыть, по Фрейду – вытеснить. И вот все расплачиваемся за такую неправдивость и никак не расплатимся, в поте лица отыскивая ответы на некорректно поставленные вопросы. Культура, историософия, ух!

«Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское» (Ходасевич – Б.А. Диатропову от 18 июля 1916 года из Коктебеля). «Знаете ли, Мандельштам не умен <...> Ну какой он поэт?» (он же – С.Я. Парнок от 22 июля того же года). А Ходасевич умен. Он вправду умен – но ему не под си-

лу быть умнее собственного ума. А для Мандельштама способность вдруг подскакивать неизмеримо выше своего штандпункта и всех своих границ, которые есть у каждого умника, – совершенно нормальна.

Во-вторых, канонизация эта имеет (при всех разговорах о большой четверке) тенденцию к исключительности. О. М. – рядом с Пушкиным.

О. М. и Пушкин. Совершенно не могу найти у них предыстории, поры незрелости – а как длинна таковая у Ходасевича или Цветаевой; и еще менее того умею отличать у них строчки получше от строчек поплоче. Их обоих приходится – не без удивления, но послушно – принимать сразу, в полном объеме и на их собственных условиях. Помню, как дружественный любитель О. М. сказал мне в моей молодости: «Сережа, "Когда октябрьский нам готовил временщик..." – очень неудачные стихи». Вроде бы я понимал, что он хотел сказать. Но разве это правда? Стихи смешноватые, не без того, – но ведь так близки к несомненному и вершинному совершенству «Декабриста». А если они по нормам самого О. М. скорее хороши – кто мне докажет, что худо какое-нибудь «В белом раю лежит богатырь...»? И у Пушкина интонационный антиклимакс раздражавших Цветаеву строк «...И счастлив тот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог...», наверное, нужен после непреодолимого нарастания в строках предыдущих, а значит, не хуже их. Пушкину виднее.

(У других поэтов мы различаем стихотворения сильные и слабые, удавшиеся и неудавшиеся. Кажется, для О. М. вопрос приходится ставить иначе: стихи необходимые и те, которых, пожалуй, могло бы и не быть, причем первые – это почти всё, а выделение второй категории не может не быть исключительно субъективным. Я, по правде говоря, не решусь назвать ни единого примера, потому что не готов обосновывать свой выбор.)

Именно у поэтов «чистых», как Пушкин и О. М., которые не имеют внепоэтической серьезности, особенно отчетливо ощущается основоположный для всех вообще поэтов грамматический контраст между несовершенным видом, характеризующим жизнь как обывательщину, все, что бывает, пока не требует поэта... и совершенным видом, необходимым для акцентировки окончательности строки. От-

сюда – общее между творчеством и гибелью: то и другое есть переход от несовершенного вида к совершенному, от дрящегося проживания к дефинитивному поступку или хотя бы событию. «Погулял ты, человек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человек, – и довольно!» Поэтика заразна, совершенный вид подстерегает несовершенный на всех поворотах. И тогда получается дуэль с Дантесом или стихи против Сталина.

Выбрать Мандельштама – опасно. Слишком от многого приходится отказаться. Слишком многое становится рядом с ним невозможно. И это вроде бы даже нечестная игра, потому что сам он ни о чем таком не предупреждает. Он приглашал, да как риторично, к благодарности всем поэтам, какие есть: по списку. Это ему откусывал голову в рецензии Ходасевич – между тем как из противоположного угла литературной сцены дразнились: «мраморная муха»; а он очень мило отзывался о Ходасевиче, а уж о Хлебникове просто слагал какой-то эпос под своего любимого Пшавелу. Так коллегиально.

Мандельштам мог позволить себе декларации вроде бы классицистские («революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму...»), и тут же – вроде бы авангардистские. Конечно, этими своими выходками он спровоцировал у своих читателей уйму бестолковицы. Ведь и без него в сегодняшнем литературоведческом дискурсе все – авангардизм, и все, если придется, – неоклассицизм, понятия становятся негодными, ибо теряют границы, и неоклассицистские принципы того же Ходасевича вспоминаются с тоской, как укоризна замолкнувшей совести. У человека еще принципы были.

Но беспринципность, с которой выражался О. М., локализуется только в статьях, компенсируя, уравновешивая собой страшно жесткий выбор, совершающийся в эпицентре его же творческих катастроф. Поэзия у него круто противоположна и классицизму и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому. Слепая ласточка на крыльях срезанных вот-вот в чертог теней вернется – но все-таки еще не вернулась; яркая, нежная зелень на улицах нищего Петербурга говорит о девственном лесе, который

покроет место современных городов, – но покамест есть еще место горожанину и другу горожан, и старый мир жив более, чем когда-либо; и все умещается в единой точке на дистанции между грамматическими формами будущего и настоящего. Именно поэтому мандельштамовская поэзия сама собой исключает и то, что «справа» от нее, и то, что «слева», – вся нетерпимость, как сказал поэт о матушке филологии. По контрасту с ней все неоклассическое, все, что хоть на миллиметр «правее», выглядит уже непереносно, мучительно наивным. Даже серьезнейшие, суровейшие, мрачнейшие Блок и Ходасевич о чем-то все никак не догадывались, а когда непоправимая догадка под конец приходила – навсегда замолкали; между тем голос Мандельштама после удушья и начинал звучать, всякий раз вбирая в себя это удушье и одновременно ускользая от него. А умница Ходасевич еще хочет напугать читателя, с важностью повторяя про своего удушенника: «И зорко, зорко, зорко смотрел он на восток...» Равным образом становится непереносимо все, что чуть-чуть левее Мандельштама, все, что – авангард; и это потому, что авангард, вопреки своему героическому имени, не имеет в себе достаточно риска, тонаса, напряжения. Прошу понять меня правильно: я не отрицаю, что героичен может быть авангардист или целое поколение таковых, я отрицаю героизм авангарда как принципа. В конечном счете он – не авангард, а капитуляция. Именно в качестве капитуляции он и вправду, в слишком даже буквальном смысле, «безоговорочен». Его пресловутая «агрессивность» подменяет воинский дух, устраняет страшный риск формы – по Мандельштаму, «неутомимой борьбы с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории», – позволяет уйти от этого риска. Даже великий Хлебников, колдовское юродство которого впрямь значительно, расплывается, растекается в своих «ну, и так далее»; а ведь это только почин, еще наделенный энергией почина, – только предзнаменование нескончаемого конца.

Ко мне прицепилась и не отпускает чуть смешная строчка:

С миром державным я был лишь ребячески связан...

Ведь и правда. Если бы не было жаль чудных мандельштамовских слов, можно было подставлять: вместо пресловутой тоски по мировой культуре, понимаемой на

манер эрудитства какого-нибудь Элиота, – «с миром культурным я был лишь ребячески связан...»; вместо бесконечных разбирательств, где там у О. М. советских лет конформизм, а где так называемое сопротивление, – «с миром советским...». Ну и так далее. Разумеется, словесно игра некрасивая, и затягивать ее не след. Но по смыслу – всегда выйдет так. Ребячески.

Как трогает сейчас, когда все привыкли делать понимающий вид при любом разговоре на тему «О. М. и культура», выпад какого-нибудь Сергея Боброва против статьи «Слово и культура»: «Ужасная безграмотщина... с задранными в небеса носом!» Или злополучный Горнфельд, будущий мнимый злодей мандельштамовской жизненной пантомимы, так люто изругавший в «Парфеноне» ту же самую статью за компанию с андрейбеловской *глоссолалией*, – ведь он по крайней мере расслышал, потрудился расслышать, что О. М. толкует о чем-то, совершенно обратном эрудиции, явно непохожем на конвенциональный роман с мировой культурой. Не штудия языков культуры, а глоссолалия. «...И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски», – сказано О. М. о поэте; чужь, возражает Горнфельд, кажется это лишь тому, кто ни бельмеса ни по-гречески, ни по-халдейски. Собственно, оба правы. Мало того, только существование некоторой ограниченной, школьной горнфельдовской правоты и способно сделать позицию О. М. содержательной, отделить восторг поэта, пьянящего классическим вином, от дешевого, ничем не оплаченного аханья гимназистки: «Ах, Пушкин, ах, Катулл!» Хитрый Вагнер ведь не только на посмешище вывел в «Мейстерзингерах» педанта Бекмессера. Нынче Горнфельды-бекмессеры, хранители нудной школярской премудрости от дерзновенных покушений, перевелись; но точно ли пьяной глоссолалии поэтов стало от этого лучше? Границы размыты, выбора больше не требуется; ничто не мешает косить одновременно и под авангард, и под неоклассику. Когда О. М. делал выбор против того Пушкина, который был, в пользу того, которого не было, это были не просто слова, а вызов – ну, скажем, тому же Ходасевичу, ответственно и сурово избиравшему Пушкина исторического.

Ребяческий характер связи О. М. со всевозможными политическими, конфессиональными и культурными «ве-

личественными идеями, похожими на массивные тиары», будь то «Россия на камне и крови», которую «издалека благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский и <...> Герцен»; гражданственность эсеров, Третий Рим Тютчева и Недоброво или Третий Интернационал четвертого сословия, будь то священная держава или святая свобода, будь то католическая теократия по Чаадаеву или православные мечтания Карташева, будь то культурные утопии Вяч. Иванова или антиутопии Анненского, – ребячество это, так бесившее даже благорасположенных современников, и впрямь поражает. Будет худо, если мы перестанем его чувствовать.

«На тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит». «Все перепуталось, и некому сказать». Обольщение возможностью посмертно пережить и воспеть сновидение теократии – также и в советское время. Ср. письмо Вл.В. Гиппиусу от 14/27 апреля 1908 года: «Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения». Эти же темы в главе «Эрфуртская программа» из «Шума времени». Poleмика на тему «Мандельштам и сталинизм», недавно спровоцированная Гаспаровым¹, была бы содержательнее, если бы чаще переспрашивалось, что означали в идиосинкратичнейшем и одновременно универсальном мире О. М. – как любителя Леонтьева и т. п. – те или иные понятия; если бы 30-е были увидены в контексте всей мандельштамовской биографии, а также в контексте больших глыб времени, см. «В не по чину барственной шубе» из «Шума времени».

Очень важна тема авторитарности схоластики как импульса для поэзии в «Разговоре о Данте», VI: «Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету – она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности уверованья, которыми распоряжается Дант». Полная неуместность в контексте 1933-го похвал средневековому догмату (как и в контексте 1923 года – ве-

лично проплывали тени Леонтьева под самый конец «Шума времени») делает симптоматичность того и другого для понимания подлинного строя мыслей О. М. еще очевиднее. Вышеупомянутое ребячество О. М. тем примечательнее, что, во-первых, не выдуманно «нарочно», не шуточно, не пародийно; во-вторых, очевидным образом осознано; в-третьих, не менее очевидным образом табуировано для автора биографической разработки в поэзии. Я забыл ненужное «я». Например, о своем еврействе и различии, ставящем все державные темы в контекст отстраняющий, парадоксальный и даже как бы пародийный, он в стихах говорить не станет. Никаких лирических деклараций к России по типу того же Ходасевича – именно я инородец, «...сей язык, завещанный веками», храню лучше твоих слабых сынов, «восемь томиков, не больше, и в них вся родина моя...». Далее везде, – скажем, для сегодняшнего дня калмык² Бахыт Кенжеев, который в своей Канаде вникает, как реставратор, в утраченные subtilities старинного русского говора: «Задвижку на окне нашарит...»; тут этнические обстоятельства входят в замысел наравне с географическими или хронологическими. Так Лукиану, выучившемуся превосходить греков в чистоте аттической речи, приятно было лишиться называть себя сирийцем. Но О.М. был не совсем таков.

В этой связи должен сознаться, что с величайшим недоверием смотрю на попытки моих коллег (и отчасти уже Надежды Яковлевны) извлечь из стихов О. М., например из «Канцоны», ух какую разработанную «еврейскую тему».

Еврейская тема – это для Зеева Жаботинского, не для О. М. Я понимаю еврейского патриота и почитателя Зеева, который огорченно, даже оскорбленно сказал мне о поэте: «Что там, он от нас сбежал». С одной стороны, уж если кто «не мальчик, но муж», так это Зеев, а Оська как раз выходит вечный мальчишка; но ведь с другой стороны, на фоне внутреннего опыта поэзии О. М., Зеев со своим сионистским героизмом – наивное дитя. Если бы для О. М. все сводилось к тому, что нужно развеять псевдоморфозу ребяческой связи с миром державным, вспомнить о своей еврейской идентичности, высвободить еврейское ядро от гойской скорлупы... Всего-то.

В прозе – еще дело другое. Но функциональное размежевание между стихами и прозой «Шума времени» и

«Египетской марки», какая-то мандельштамовская диглоссия, – это феномен, о котором пока еще недостаточно говорили. Автобиографическая проза – порождение того самого удушья, которое ретроспективно отметит потом лирика: депрессивного перерыва, промежутка. В нее как раз уходит все то, чему сопротивляется и что отторгает от себя мандельштамовский стих. Это не продолжение поэзии другими средствами, а отсасывание из открывшихся ран поэзии смертельных для нее ядов. И недаром Цветаева так ярилась на мемуарный (антимемуарный!) труд О. М.: пожалуй, у нее были к тому основания и помимо политики (а также свойственного ей отсутствия склонности к юмору). «Шум времени» (как и «Египетская марка») вправду содержит в себе некую (в контексте литературного пути О. М. – временную) капитуляцию, притом отнюдь не только видеологическую: предвещающая нынешний постмодернизм игра на понижение, банализация всех тем, усмешечка. Но дело не только в этом. «Еврейская тема», как и вообще всякая постановка вопроса о собственной эмпирической идентичности («Парнок»), подсказывала ложный ответ на вопрос о главном, то есть о дистанции между миром державным (соответственно мировой культурой) и моим «я»: просто-де вот я по случайности жидочек, как О. М. называли в кругу символистов, племя чужое, Парнок, отщепенец, а вообще-то все идет, как шло, шиш. Все уменьшается. И Гёте тает...

Почему, условно говоря, «О. М. как метод» правилен? Потому что нас со всех сторон бес ловит на слове и подсовывает ложные ситуации дихотомического выбора. – Ах, ты этого не хочешь? – Ой, не хочу! – Так ты уже выбрал вон то! Все кончено! – Возьмем хоть вопрос о мотивации гуманитарных штудий. Идеал *humanitas* предполагал, что рецитация наизусть классических стихов и тому подобные занятия «облагораживающе» действуют на человеческую природу: делают то ли «мягче», то ли «тоньше», то ли нравственнее, то ли понятливее, то ли свободнее – одним словом, человечнее, потому и зовется это все вместе *humaniora*... Пришли патриоты прошлого века с требованием службы культуры при деле изучения национального наследия, либералы с требованиями народоловения, после большевики – это-де нам нужно, а то не нужно, смотрите, чтобы людям годилось, народу!

Однако, как во всякой лжи, здесь присутствовала же и правда: не дураки были древние греки, что говорили вместо культурно ΠΑΙΔΣΙΑ, то есть попросту о «воспитании». Конечно, только уж очень наивным людям могло даже в наивные времена примерещиться, будто это воспитание благонаравия, – а затем явились тоталитаризмы со своими воспитательными прожекторами, возведшими мертвое благонаравие в небывалую, невиданную степень; но если мы в антиавторитарном задоре отменяем сам по себе императив воспитания, мы должны чувствовать, что крушим позвоночник культуры – ту вертикаль неравноправных ценностей, которою культура держится в состоянии прямохождения. И приходит – вся-кровь, всетерпимость...

«Блаженное» бессмысленное слово» – оно как раз достаточно бессмысленно, чтобы на слове невозможно было словить, однако и достаточно небесмысленно, чтобы хранить неостывшую память о словесности слова, о Логосе.

То и другое отмерено и выверено – до каких-то бесконечно малых.

¹ Имеется в виду книга «Гражданская лирика 1937 года».

² На самом деле – казах. – *Ред.*

Впервые: Новый мир. 1998. № 6. С. 216–220. Часть статьи должна была войти в главу 9 – «Поэзия под вопросом: Мандельштам и другие» – незавершенной книги С.С. Аверинцева «Знамена времени». См.: In Memoriam. Сергей Аверинцев / Отв. ред. и сост. Р.А. Гальцева. М.: ИНИОН, 2004. С. 287–289. Приводим два фрагмента из этой публикации, не совпадающие с настоящим текстом: 1) «"Ребяческая" связь с теократией. Пшеница человеческая» (С. 287) и 2) «Гениальная чуткость Мандельштама к позиции Бенедикта XV по отношению к 1914 г.; это было на самом деле перспективное открытие заново папской теократической идеи в контексте потребности современного мира в арбитраже (ср.: Сахаров о Иоанне Павле II)» (С. 289).

«Город изгнания, город беды...»

Город изгнания, город беды, в самом имени которого поэту примерещились слова «ворон» и «нож», – как место очередных Манделъштамовских чтений? Не дай нам Господь вконец утратить способность пугаться таких поворотов. До чего же быстро все становится историей, эрудицией, цитатой. Мы, сытые, достойно любознательные, станем ходить по улицам, где его караулила бородавчатая темь той самой ямы с обледенелой водокачкой...

Мы будем – будем ли? – чувствовать на себе его взгляд, не отстраняя от себя ни сарказма, ни укора, ни еще чего-то, что всегда присутствует во взгляде *de profundis* и что так трудно назвать.

И все же, и все же, – это не удобная ложь, но, напротив, подлинная в самом жутком этимологическом смысле слова, пыткой испытанная истина: сердцевина поэзии – не сарказм, но одолевающая все сарказмы благодарность, древнее ликование царя Давида. Без этого поэт был бы всего-навсего напыщенным «бунтарем».

Для Манделъштама, в добром согласии с пушкинской традицией, чтимым пращуром был изгнанник Овидий; но ведь Овидий сумел сказать не только о слезах, набегающих на его глаза от горького воспоминания, – как звенят эти слезы в латинской цитате у Манделъштама! – он воспел, именно воспел, то есть восславил, варварские племена и варварские земли, к которым был отправлен не своей волей. И поэзия Манделъштама не прокляла, а благословила молодые

воронежские холмы, грозную широту полей, безгрешную чистоту свежевывавшего снега.

Говорить об этом – опасно; того гляди, собьешься на nepозволительную умильность. Но саркастическая поза так же далека от существа дела, как умилительная.

Поэт, в особенности такой, как Мандельштам, – не книжник и не фарисей, не пророк и не учитель. Уж скорее жаворонок, не перестающий звенеть «перед самой кончиною мира», с хрупким певчим горлом. Но именно ему доверено – *de profundis*, из глубины своего львиного рва, не приукрашивая бед и все называя своими именами, повторить, однако, ту хвалу, которой, согласно рассказу Книги Бытия, Творец почтил Свое творение. Любить «бытие вещи более самой вещи». Все остальное – ересь, суета сует.

Да будет последним пределом, недостижимым горизонтом наших рассуждений, многоуважаемые коллеги, «аминь» вере поэта.

Впервые – в качестве предисловия к сб.: Мандельштамовские дни в Воронеже. Материалы / Ред.: В.М. Акаткин, М.Л. Гаспаров, О.Г. Ласунский, Ю. И. Левин, О.А. Лекманов, О.Е. Макарова, Е.Г. Мущенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1994. С. 3.

Хорей у Мандельштама

Доклад мой никоим образом не будет иметь стиховедческого характера, однако я попытаюсь найти перспективу, в которой можно искать единство между некоторыми стихотворениями раннего Мандельштама, объединенными своей формой. Все стихотворения, о которых идет речь, состоят из четырех четверостиший; каждое из этих четверостиший состоит из четырех строк, в каждой из которых – четыре хореические стопы, причем клаузулы чередуются: женская – мужская, женская – мужская. Так написаны в 1914 г. «Посох мой, моя свобода...»; в 1915 г. – «И поныне на Афоне...» и «О свободе небывалой...»; в 1916 г. – «Эта ночь непоправима...», «Что поют часы-кузнечик». Еще раньше, в 1913 г., такую же форму четырех четверостиший с четырехстопными хорейми имеет стихотворение «Дев полуночных отвага...» – и затем этот ряд замыкается в 1922 г. стихотворениями «Холодок щекочет темя...» и «Как растет хлеб опара...».

Вопрос о способе, которым в сборниках Мандельштама стихотворения соединяются в осмысленные единства, – как мне кажется, очень непростой. Все мы повторяем за Надеждой Яковлевной, донесшей до нас, бесспорно, что-то, шедшее от самого поэта, – что для его поэтического сознания важнейшей категорией была книга; и это, несомненно, правда, но, так же несомненно, правда очень парадоксальная. Мы должны отдать себе отчет, на каком фоне Мандельштам выступил, только что прошла и приблизилась к свое-

му завершению эпоха символизма, которая была во всеевропейском масштабе чрезвычайно энергичным возвращением к традиционному типу книги, поэтической книги, как цикла и системы цикла, тщательно перегруппированных в отвлечении от хронологии. Так еще до символистов писали столь важные для Николая Степановича Гумилева, «Теофилю принял в сонм богов» (как говорилось в известном фрагментарно дошедшем мандельштамовском сонете), французские «парнасцы». Еще ранее это принцип, значимый для Петрарки, для Гёте, вообще для немецкой классики и немецкой романтики. Как сказано, он был восстановлен с большой жесткостью «парнасцами»; но ведь и «безхарактерный Верлен», поэтический образец Мандельштама, противопоставляемый им не только в этом сонете Теофилю, был при всей своей импровизационной легкости, свободе и нерегулярности очень старомоден в группировке своих поэтических сборников. Достаточно вспомнить, что в числе этих сборников – «Para Uellement», где сам поэтический сюжет основан на регулярном контрасте между тем, что читатель читает на левой и на правой стороне книжного разворота.

Европейский символизм, как я уже сказал, был возвращением к повышенной, выявленной, наглядно данной читателю структурности и регулярности сборника (мы вспоминаем, например, сборники Рильке и Стефана Георге), и русский символизм, разумеется, не составил исключения. Традиция поэтической книги – очень важная традиция. Чтобы отвлечься от «малого времени» (по Бахтину), вспомним, насколько провокативной и обновляющей взгляд затеей является публикация гётевских стихотворений в хронологическом порядке, которая нынче практикуется немецкими издательствами, она рассчитана на то, чтобы быть неожиданностью для читателя Гёте, который привык к тому, чтобы каждое стихотворение, цитируя мандельштамовский образ, употребленный в несколько другом (впрочем, сродном по существу) контексте, как камень, дремлет замурованное в своем месте в своде.

И мы не можем отрицать, что у Мандельштама эта концепция явного, очевидного, то есть отчасти механического, порядка поэтической книги претерпевает очень резкий кризис. Кризис, как кажется, более резкий, чем у его со-

товарищей по акмеистскому оформлению постсимволизма – у Гумилева и у ранней Ахматовой. Это заставляет нас спросить самих себя – по каким признакам мы должны искать более живые, жизненные и потаенные связи между стихотворениями, объединенными уже не простой принадлежностью к некоему подразделу внутри книги, разделенной на разделы и подразделы; внутри ситуации, когда соотносимость стихотворений, лежащих друг против друга на противоположных страницах, перестанет быть обязательным и жестким сигналом их связи; когда снят также очевидный и выведенный на поверхность смысловой, тематический стержень, играющий столь важную роль у раннего Рильке, у Блока, вообще в нормальном символистском типе поэтической книги. И как кажется, когда мы ставим перед собой этот вопрос, один из возможных ответов на него может лежать в направлении, которое указывает на могущее быть случайным сходство формы этих стихотворений.

Что касается отношений тематических, то я сейчас ограничусь тем, что отмечу соотносимость стихотворений «Посох мой, моя свобода...» – условно говоря, – с «католической» темой у раннего Мандельштама; «И поныне на Афоне...», столь же (или еще более) условно говоря, с «православной» темой и «Эта ночь непоправима...» с темой иудаизма.

Я рассматривал до сих пор стихи, вошедшие в «Камень» и «Tristia», но можно было бы отметить не вошедшую туда песенку, которая отличается еще и тем, что там нет чередования мужских и женских клаузул, а сплошные женские: «У меня немного денег, / В кабаках меня не любят». Но строгое соотношение четверицы четверостиший сохраняется. Четверицы четверостиший, которые всегда предполагают более-менее выявленную перемену интонаций или поворота темы ровно посередине стихотворения, на переходе от второго четверостишия к третьему, т. е. от первой половины стихотворения ко второму. Это наиболее очевидно в стихотворении «О свободе небывалой...», где звучат как бы два голоса. И заодно, позволительно отметить, что, я еще раз повторяю, очень условно говоря, «православная» тема сугубо опосредованно возвращается в стихотворении «Как растет хлеб опара», через упоминание о Софии.

Четырехстопный хорей – это размер, имеющий в истории европейской поэзии и русской поэзии судьбу, которую не будет преувеличением назвать уникальной. Разумеется, судьба эта необозрима для такого доклада. Я позволю себе, однако, довольно субъективно выделить некоторые моменты этой истории.

Предыстория размера – это предыстория еще античная. Речь идет о стихе, который назывался в Древней Греции и соответственно в Древнем Риме анакреонтовским стихом: это размер, который был известен любому гимназисту, потому что при изучении греческого языка со стихами Анакреонта о кузнечике человек, изучающий греческий язык, сталкивается в самом начале. Даже Осип Эмильевич, дойдя до слова [нрзб.], до этой формы, столь его потрясшей, мог как-то краем уха услышать ритм греческих стихов. И позднее этот стих имел довольно замечательную историю. Благодаря своей простоте он пережил кризис античной метрики и довольно широко применялся (о чем, наверно, не знал Осип Эмильевич, но мог знать, например, Вячеслав Иванов) в средневековой поэзии, в частности, для христианских тем. Это довольно тривиальный размер религиозной, но не богослужебной православной поэзии от Софрония Иерусалимского до Симеона Нового Богослова и дальше. Впрочем, и размер, вытесняющий все традиционное греческое народное и тривиальное поэзии, так называемый «политический стих», – это тоже явление, возникшее из силлабизации этого самого размера, как, впрочем, из его переработки, тоже связанной с разрушением античной метрики, возник и расхожий размер латинской средневековой поэзии вагантов.

Прежде чем перейти к России, нужно упомянуть хотя бы одно стихотворение, порожденное немецкой поэтической традицией, ориентировавшейся на песенный жанр, на жанр Punschlied и получившей совсем особый статус в европейской культурной традиции. Я имею в виду, конечно, «Песнь к радости» («An Gefreude») Шиллера, которая положена на музыку в четвертой части Девятой симфонии Бетховена, что для Мандельштама, написавшего «Оду Бетховену» (как, между прочим, и для Вячеслава Иванова, написавшего четырехстопным хореем в молодости, в пору

«Кормчих звезд», стихи о «Missa sdomnis» Бетховена), достаточно важно.

Что касается России, то в России этот размер был усвоен очень рано, почти одновременно с четырехстопным ямбом ломоносовской «Оды на взятие Хотина». Большую роль в этом сыграл столь несправедливо обиженный в известном мандельштамовском стихотворении Сумароков. Но, впрочем, и Ломоносов, введший четырехстопный ямб, сделал многое для усвоения русской поэзией также и четырехстопного хорей. И надо сказать, что абсолютно уникальным обстоятельством является то, что уже у Ломоносова этот размер был применен для поэтического перевода стихов Анакреонта. Иначе говоря, анакреонтический стих – это исторически наиболее рано усвоенный русской поэзией, так сказать, условно говоря, размер подлинника, первый случай перевода размером подлинника.

Все вы, вероятно, помните ломоносовское стихотворение или, вернее, маленький цикл, где он взвешивает нравственные ценности стоицизма и анакреонтовского гедонизма. И там есть перевод этого обращения к художнику – анакреотического стихотворения.

Мастер в живописи первый,
Славный в родской стороне,
Мастер, научен Минервой,
Напиши любезну мне...

Небезынтересно, что у Ломоносова в этом цикле прения с Анакреонтом четырехстопные хорей появляются в непосредственном соседстве с другим размером, по стиховедческим характеристикам вроде бы весьма отличным; речь идет о ямбе, притом не четырехстопном, а о трехстопном. Я позволю себе утверждение, что на уровне психологии восприятия есть что-то общее между этими размерами в их легкости, окрыленности, динамичности, как там звучат эти трехстопные ямбы, все наверно помнят: «Анакреон, ты верно / Великий философ. / Ты делом равномерно / Своих держался слов» и т. д.

Эти два размера появляются в некотором соотношении парой, близко. Они оба подходят в «легкости» легкой поэзии, в которой здесь упражняется Ломоносов. Не каса-

ясь сумароковских опытов и так далее, я напоминаю всем, что уже в XVIII веке этот размер был усвоен как размер легкой поэзии, поэзии книжной, литературной, именно из нее переходит в область народной песни. Вспомним песню XVIII века, приписываемую Параше Жемчуговой («Вечор поздно из лесочка я коров домой гнала»), песню, приписываемую Елизавете Петровне, этой русской бабе на престоле Российской империи. «...Все немило, все постыло, нет веселия ни в чем».

В этой связи хочется отметить еще вот что: как кажется, песенность, легкость, развязность и в потенции некоторая агрессивность размера сделали его несколько предрасположенным к двум направлениям, чрезвычайно характерным для размахистых и агрессивных заявлений, производимых в русской традиции, – эти две линии по своей примитивности вроде бы не могут называться «историософскими», но поскольку они предполагают очень широкую постановку вопроса о России вообще, они как бы и соотносимы с историософией. Случайно это или нет, но именно четырехстопные хорей отмечали наиболее известные и классические случаи эмоционального напора русской насмешки над русским, начиная с ломоносовского «*Борода предорогая, / Жаль, что ты не крещена, / и что тела часть срамная / Тем тебе предпочтена*»; и, разумеется, включая Вяземского («*К глупым полн он благодати, к умным непомерно строг, Бог всего, что есть некстати, вот он, вот он, русский Бог*»). Но также, напротив, для классических выражений русофильства, начиная со стихотворения 1840 г. Федора Глинки о Москве «Город чудный, город древний» и включая все прочие подобные эмоциональные всплески «это русское раздолье, это родина моя» и т. д.

Переходя к кругу, более близкому у Мандельштама, первое, что мы должны очевидно сделать – это выделить у него прямые цитации, прямые отсылки к русским стихам, написанным этим размером. Наиболее несомненным случаем мне представляется дважды повторенная отсылка к стихотворению Хомякова «*Широка, неудержима, бурной радости полна, / У ворот Иерусалима шла народная волна...*». Все помнят, что «у ворот Иерусалима» повторено у Осипа Эмильевича дважды – в стихотворении «Эта ночь непоправима...» и в контексте более юмористическом – в четверо-

стишии, которое то ли входит, то ли не входит в канонический текст «Дайте Тютчеву стрекозу...»: «*А еще, богохранима, / На гвоздях торчит всегда / У ворот Иерусалима / Хомякова борода*». То обстоятельство, что оба раза эта строчка точно соответствует позиции строчки Хомякова в четверостишии (это каждый раз третья предпоследняя строка четверостишия), делает эмфатический характер цитации неоспоримым. Стихотворение Хомякова интересно вспомнить еще потому, что контраст христианской радости и свободы и горестной замкнутости иудейского книжника, который христианства не приемлет, – тема не случайная для раннего Мандельштама и специально для стихотворения «Эта ночь непоправима». Но, может быть, интереснее другое.

Все помнят, конечно, письмо совсем молодого Мандельштама Вячеславу Иванову, второе из цикла сохранившихся и печатаемых писем, где Мандельштам, очень живо и со всей свойственной ему в таких случаях амбивалентностью, реагирует на пересказ определенного места из «Песни к радости» Шиллера в одной из статей Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов явно держал в уме место из Шиллера, где речь идет о человеке, который не мог слиться с общей радостью, объединяющей людей. «А кто этого не смог, тот пусть плача, прокрадется, прочь из нашего союза». Под влиянием этого места Иванов говорит (а Мандельштам с чувством повторяет в письме) о человеке, который не может принять такого торжества соборности, того выхода из келейности, которое Вячеслав Иванов в тот период предсказывал, и вот он, закрыв лицо руками, этот несчастный, – вольный пересказ шиллеровского образа, – остается один. Для Мандельштама это образ, апеллирующий к его симпатии, по крайней мере, равновеликий торжеству соборности: тот человек, который откажется от торжества общего слияния в общей радости. А ведь тема хомяковского стихотворения именно такова: вот эта народная волна, которая широко и неудержимо идет за Христом, – и книжник, который отказывается принять общее торжество. Разумеется, для Хомякова, как и для Шиллера, как и для Вяч. Иванова, ясно, кто прав, кто неправ. Столь же важно и столь же самоочевидно, что для Мандельштама это остается принципиально неясным, точнее, разворачиваемым в очень резко контрастирующих

между собой вариантах. Когда Мандельштам говорит «*И печаль моих домашних / Мне по-прежнему чужда*», то здесь он принимает сторону толпы у ворот Иерусалима, отворачивающуюся от жестоковыйного книжника; но так решается вопрос внутри стихотворения, а не внутри поэзии Мандельштама в целом.

Итак, это цитата самая очевидная; затем очень вероятно отмеченная в комментариях Павла Марковича¹ отсылка в более поздних «Стихах о русской поэзии»: «Гром живет своим накатом» – к строке «Гром победы, раздавайся» из Державина. Вероятно, мы должны еще одну цитацию для нас, по нашим вкусам не совсем приятную, для меня по крайней мере – не очень: мне трудно поверить, что строка «На крутом зеленом склоне» из стихов «И поныне на Афоне» не имеет никакого отношения к строчке Городецкого «Крутосклоны зелены» и самого, вероятно, навязшего в ушах стихотворения «Стоны-звоны, перезвоны» Городецкого. Это отсылки, которые представляются мне очевидными: других вполне очевидных отсылок я не вижу. Однако мы должны искать дальше. Как каждый носитель русской поэтической традиции, Мандельштам, несомненно, держал в уме важнейшие пушкинские стихи, написанные этим размером. Напротив, я позволяю себе исключить или, по крайней мере, отгеснить на крайнюю степень удаления, на самую границу горизонта стихи Жуковского, переводы из того же Шиллера (прежде всего «Жалобы Цереры»), где динамичность размера у Жуковского очень сильно смягчена и остановлена. И тем более я исключаю из рассмотрения из творчества старших современников Мандельштама те случаи, когда размер уже совсем лишен вот этого своего качества подвижности. Скажем, формально говоря, с «компьютерной» точки зрения, у Сологуба тоже есть четырехстопные хорей, но уже то обстоятельство, что пунктуация и синтаксис Сологуба дробит строчки, допускает остановки посередине строчек, не оставляет ничего от некоего единства, которое существует между шиллеровской песней «An die Freude», между простодушными песнями, которые я цитировал, и вот этими же мандельштамовскими стихотворениями, – вносит корректив. Когда Сологуб писал «Затаился. Выждал. Вышел. Задрожал от страха враг» – то это написано по противоположности к потенции размера.

Сологуб вел свою игру, последовательно отрицая, в конце концов, именно шиллеровскую «Песню к радости».

У тех поэтов, которым некоторая песенность присуща как константа их творчества (скажем, у Блока это стихи Волоховой), хорей настолько же песенны, насколько это свойственно нормальному Блоку; и то же можно сказать о вышеупомянутом Городецком. То же можно сказать о Вяч. Иванове – периода Башни и в особенности того цикла, который связан с попыткой принять Городецкого за Диониса.

Все стихи эти помнят; там эти четырехстопные хорей идут, там они не выделяются. Напротив, у Вячеслава Иванова есть другие сборники, в которых четырехстопные хорей неожиданны: именно там они предстают в форме, заставляющей нас сразу же вспомнить мандельштамовское стихотворение – четыре четверостишия, четыре раза по четыре строки; контраст на фоне других размеров, подчеркнута медлительных, очень ощутим.

Я назвал бы в раннем сборнике, где символистская поэзия Вячеслава Иванова еще не совсем пришла к самой себе, стихотворение «Венец земли» «Пьяный плющ и терен дикий. И под чащей скал отвес...». Это стихотворение очень заметно еще и потому, что оно составляет финал подраздела в «Кормчих звездах» с заглавием «Thalassia», где есть еще два стихотворения, тоже имеющих такой же объем – по четыре четверостишия. Зачем Вячеслав Иванов ушел к поэтике «Сог ardens», ее довел до предела, до исчерпания. Разумеется, сами по себе хорей для Вячеслава Иванова сохраняли знаковую соотношенность с дионисийской темой. Недаром «Бурно ринулась Мэнада...» – это все-таки тоже хорей. Вячеслав Иванов хорошо помнил, что самое слово «хорей» образовано от греческого слова, обозначающего танец, он помнил (как Мандельштам упоминает в вышеприведенном письме), что древние говорили о нелиричности ямба, о его рассудочности, приспособленности для сатиры и т. д. То, что стихотворение «Бурно ринулась Мэнада, словно лань, словно лань» было у всех на слуху (есть как будто свидетельство, что молодой Мандельштам, когда его в споре о Вячеславе Иванове некто Боцяновский попросил сказать, какие стихи Вячеслава Иванова он помнит наизусть, прочитал по памяти именно это). Все могут прочесть Боцяновского в приложении к изданию «Камня» в «Литератур-

ных памятниках» (с. 346–347). Дело, однако, не в этом. Вячеслав Иванов, архисимволист, оказался в 10-е годы перед сложной проблемой, которую я, разумеется, не берусь в докладе о Мандельштаме сколько-нибудь достойным образом описать; обобщая и упрощая, выразим это так: поэт исчерпал разработку некоторой темы, некоторого набора приемов, некоторой манеры своего поэтического жеста и своего появления перед читателем. Однако ему предстояло прожить еще четыре десятилетия, и к концу первого десятилетия нашего века он оказался перед проблемой: как ему, архисимволисту, продолжать быть поэтом в постсимволистскую эпоху.

«Нежная тайна» – сборник не очень однородный, вместе с тем не очень большой, как все помнят. Это вопрос, имеющий смысл и посреди сборника «Нежная тайна», сборника, который Владимир Вейдле, однажды оговорившись, назвал тоже принадлежащим к т. н. «петербургской поэтике». «Петербургская поэтика» – это не очень научное понятие. Владимир Вейдле, как помнят все читавшие эту статью, не предлагает никаких дефиниций, но если судить по примерам, которые он дает, в центре петербургской поэтики для него стоит акмеизм (скажем осторожно и шире – постсимволизм). По всему тому упоминанию «Нежной тайны» видно, Вейдле достаточно ясно дает читателю понять, что он делает исключение, именно ждя этого сборника Вячеслава Иванова. В середине этого сборника стоят два стихотворения, которые оба не совсем обычны для прежнего Вячеслава Иванова, особенно для Вячеслава Иванова непосредственно предыдущего, времени «*Cor ardens*»; скорее всего это возвращение к каким-то более трезвым истокам символизма, к поре, когда Вячеслав Иванов работал еще над «Кормчими звездами» и когда жив был Коневский.

Я прочту то стихотворение, которое любопытней всего с точки зрения нашей темы, потому что оно тоже написано четырехстопными хорями – и четверостиший тоже четыре. «Нежная тайна», как я напоминаю, была написана летом 1912 г. и в том же 1912 г. вышла. Стихотворение называется «Первый пурпур». Оно, мы не будем этому удивляться, «дионисийское», но оно необычно, наглядно и конкретно в своей образности. Трудно сказать, что можно было бы возразить против него с точки зрения стандартов акмеизма. Оно называется «Первый пурпур».

Гроздь, зрея, зеленеет;
А у корня лист лозы
Сквозь багряный жар синее
Хмелем крови и грозы.
Брызнул первый пурпур дикий,
Словно в зелени живой
Бог кивнул мне, смуглоликий,
Змеекудрой головой.
Взор обжег и разум вынул,
Ночью света ослепил
И с души-рабыни скинул
Все, чем мир ее купил.
И в обличье безусловном
Обнажая бытие,
Слил с отторгнутым и кровным
Сердце смертное мое.

Интересно, что непосредственно за этим стихотворением в очень тщательно, как всегда у Вячеслава Иванова, составленном корпусе книги следует стихотворение, написанное четырехстопными ямбами, соседствовавшими с четырехстопными хорями еще у Ломоносова. «*Отчетливость больницы / В сентябрьской тишине*» – не буду читать этого стихотворения. Но оно, кстати говоря, тоже состоит из четырех четверостиший.

Как все помнят, в составе «Камня», правда, не в непосредственной близости, но неподалеку, есть стихотворение, в котором, правда, не четыре четверостишия, а три (при наличии в черновиках еще двух вариантов). «*Уничтожает пламень / Сухую жизнь мою, / И нынче я не камень, / А древо пою*» ... и так далее.

Возвращаясь после затянувшей оглядки на судьбы четырехстопного хоря в мировой и русской поэзии, я ограничусь тем, что поставлю вопрос о единстве, не поддающемся односложной формулировке, которое представляется мне связывающим вышеназванные стихотворения, объединенные общностью формальных признаков: общность, очень не случайная для Мандельштама. Мандельштам был по всему, что мы о нем знаем из его творений и из воспоминаний о нем, человеком необычайно чутким к моменту цитатности не столько в слове, сколько в ритме: один из многих примеров – это уни-

кальный случай, когда цитирована не стихотворная даже, а музыкальная интонация в ритмическом сдвиге, – в одной из строк раннего стихотворения о Шуберте: «Это двойник, пустое привиденье...» – что воспроизводит отнюдь не ритм Гейне, но ритм шубертовской музыки. Я, к сожалению, абсолютно не способен напеть, «Still ist die Ncht, es ruhen die Gassen», но пусть все вспомнят, как начинается шубертовский «Двойник», с какой музыки. До какой степени, до какой, если угодно, гипертрофии чувствительность к цитатным ассоциациям вокруг ритмов была свойственна Манделъштаму, мы можем убедиться из того, что у него были сомнения касательно столь сильного позднего стихотворения, как «За гремучую доблесть грядущих веков...», – по той причине, что этот размер вызывал у него докучные ассоциации с Надсоном («Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...»). Я кончил бы именно на знаке вопроса. Ни в какой степени не претендуя ничего исчерпать и ответить на вопрос, я предложил бы: во-первых, исходить в поисках интеллектуальных связей, сцепляющих строки Манделъштама с другими его строками и со стихотворениями других поэтов, – из ритма, в большей степени из ритма, чем из связей вербальных и предметных. Во-вторых, я думаю, что такой подход может как-то нас ориентировать в чрезвычайно смутном и сложном вопросе относительно большей или меньшей, условно говоря, «серьезности», которой обладают разные стихотворения в манделъштамовском корпусе. В общем-то это «проклятый вопрос», который отчасти и не может иметь ответа. Манделъштам потому и Манделъштам, что о мороженом говорится примерно с такой же степенью серьезности, как о Софии и Нотр-Дам; с другой же стороны, серьезность может прятаться за несерьезностью (как в стихотворении «Аббат» в каноническом тексте и в вариантах), но, как кажется, стихотворение «Посох мой, моя свобода...», очень условно говоря, «серьезнее» и существеннее, чем, например, «Поговорим о Риме»; это последнее стихотворение, очень медлительное, торжественное, важное, кончается, в сущности, шуткой рано лысеющего человека о «холоде католической тонзуры» на его голове. Еще раз повторяю, что это более чем условно и каждую секунду может быть оспорено, ибо самое существо поэтики Манделъштама – в том, что серьезность, но и несерьезность в равной степени поставлены под вопрос, остропорны: без этого манделъштамовская поэзия не имела бы своей «гениальной

физиологии», если перенести на нее то, что Мандельштам говорил о готике. И в-третьих, мне кажется, что следовало бы как-то демифологизировать вопрос об отношении между акмеизмом и символизмом. Разумеется, между поэтикой Вячеслава Иванова и поэтикой Мандельштама существует некоторая важная несовместимость. Разумеется, в обоих случаях поэтическую систему каждого поэта можно отвергнуть или «уничтожить», применяя к ней критерии, действительные для поэтики другого поэта; впрочем, великий поэт – это и есть поэт, который несколько изменил объем понятия поэта и объем понятия поэзии. Поэт, который не сумел изменить его, – это не великий поэт, это всего-навсего в лучшем случае хороший поэт, блестящий поэт. Но, с другой стороны, поэты жили в едином времени, дышали воздухом этого времени, решали задачи, данные этим временем. Потому поэзия постсимволизма в своем отношении к символизму не может быть описана чересчур однозначно. Ведь и старшие по-своему искали путей к несколько иной поэтике, чем та, которая звучала в обстановке, ну, скажем, 1905–1907 годов. То обстоятельство, что поэзия старшего поэта – всегда материал для младшего (как в средние века строили из развалин античных построек), материал, который пускается в дело, – это тоже очень естественно; а потому может ли быть, чтобы Мандельштам совсем не думал о стихотворениях, столь выделяющихся посреди корпуса «Нежной тайны» и написанных в таком временном соседстве с его собственными стихотворениями, притом точно воспроизводящими ту же формальную структуру четырех хорейских четверостиший.

¹ Нерлера. – *Ред.*

Текст доклада «По поводу четырехстопных хореев у раннего Мандельштама», прочитанного на заседании Мандельштамовского общества 5 февраля 1993 года. *Впервые*: Сохрани мою речь. Вып. 3–4 // Записки Мандельштамовского общества. [Том 10]. М.: Изд-во РГГУ, 2000. С. 42–54.

Страх как инициация:
одна тематическая константа
поэзии Мандельштама

I

«Страх берет меня за руку и ведет. [...] Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: с ним мне не страшно! Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками» («Египетская марка», 1927).

Эти слова, встречающие читателя, как мы все помним, под самый конец «Египетской марки», могли бы быть чем-то вроде эпитафии к этому тексту.

Как ни реконструировать неисповедимые извивы мандельштамовской амбивалентности, сама по себе констатация определенного позитивного значения страха как экзистенциала не вызывает у меня сомнений.

Тема грозной смерти как посвящения в таинство является, вообще говоря, общечеловеческой и предполагается как само собой разумеющаяся компонента чрезвычайно различными ритуальными и мифологическими системами – от архаических обрядов примитивных народов до христианского крещения как погружения (буквальное значение соответствующего греческого существительного βάλτισις¹. В новоевропейской цивилизации память о таких обычаях была подновлена практикой масонов и других тайных сообществ.

Но в применении к инициации поэта она, как кажется, имеет особое значение для русской поэтической традиции. Здесь в самом центре переднего плана стоит, разумеется, «Пророк» Пушкина. Но стоит вспомнить, что русская поэзия как в некотором до сих пор актуальном и естественно ощущаемом, не музейном смысле великая поэзия началась в 1779 г. с одой Державина на смерть князя Мещерского. Его же ода «Бог» смысловым поворотом на слове «ничто» также дает парадигму движения к истине через умственное умерщвление себя, сознаваемого ничем («...И через смерть я возвратился, / Отец, в безсмертие Твое!..»).

Мандельштам не был христианским поэтом в тождественном себе и очевидном конфессиональном смысле, как, скажем, помянутый им Франсис Жамм – «самый скромный современник». И еще дальше он был от доктринальных оккультистских систем, подвергнутых им в лице теософии и антропософии таким нападениям. Но это не значит, что в основе его поэзии не лежит достаточно четко определяемая мистическая презумпция. Правда, презумпция эта реализуется принципиально иначе, чем у символистов. Тем труднее и тем интереснее ее изучать.

Из опыта символизма в пору *преодолевших символизм* могло быть сделано два вывода.

Вывод первый, позитивный: настоящая тема поэзии – острое и опасное переживание мистериальной инициации, и кто это понял, тому писать о другом неинтересно; все становится интересным через это.

Вывод второй, негативный: в стихах лучше остерегаться чересчур в лоб называть мистерию – мистерией и инициацию – инициацией.

А самый выигрышный способ описывать мистерию так, чтобы сохранить минимум от ее внешней торжественности, но максимум – от ее мистериальной сущности, состоит в том, чтобы тематизировать свой испуг перед ней, свою слабость и робость.

По-видимому, молодому Мандельштаму в этом помогли биографические обстоятельства.

«Когда б не смерть, то никогда бы / Мне не узнать, что я живу...» (1909).

Это очень интересная строка. Она заставляет задуматься об известном, хотя одиноком упоминании о страш-

ных предсказаниях о его (Мандельштама) судьбе (болезни), которое встречается в письме Д.А. Черкесова к С.П. Каблукову от 14 января 1916 года². Вполне безотносительно к вопросу о том, насколько обоснованными были ожидания медицинской обреченности юноши-Мандельштама, важно, что они, судя по всему, входили в констелляцию самоосознания Мандельштама как поэта. Если так, строка приобретает достаточно буквальный смысл. Об этих переживаниях Мандельштам знаменательным образом вспомнит в начале тридцатых: «О, как мы любим лицемерить / И забываем без труда / То, что мы в детстве ближе к смерти, / Чем в наши зрелые года...» (февраль–май 1932).

Интересно, что, расписывая в письме Вяч. Иванову от 13/26 августа 1909 года свой «странный вкус», а именно несколько скандальную с точки зрения романтика или символиста, хотя укладывающуюся в парадигмы кузминско-акмеистские привязанность к «*буржуазному, европейскому комфорту*», и притом «*не только физическую, но и сентиментальную*», Мандельштам спрашивает: «*Может быть, в этом виновно слабое здоровье?*»

Разработка религиозных мотивов у раннего Мандельштама окрашена ощущением риска, опасности, страха, отнюдь не только благоговейного в конвенциональном смысле слова. В стихах июля 1910 года с многозначительным посвящением Каблукову: «*Убиты медью вечерней / И сломаны венчики слов. / И тело требует терний, / И вера – безумных цветов. // Упасть на древние плиты / И к страстному Богу воззвать...*»

С этим связано е *contrario*³ подчеркивание своей опасливой робости и осторожности: «*Страшен мне подводный камень веры, / Роковой ее круговорот!*» (1910). Общеизвестна мрачная окраска, которую приобретают у Мандельштама определенные образы природы – и космоса, и земли.

Звезда, колющая сердце булавкою, как бы соотносится с гумилевским «Звездным ужасом»; по этому поводу стоит задуматься о том, что именно тема смертельно опасного посвящения составляет общий знаменатель между образными системами обоих собратьев по Цеху поэтов, хотя гумилевская инсценировка воинской, почти спортивной хладнокровности перед лицом посвящения представляет

довольно очевидный контраст тому, что мы находим у Мандельштама. Гаспаров говорит об астрофобии, о звездоненавистничестве поэта: «Я ненавижу свет / Однообразных звезд...»; «Жестоких звезд соленые приказы...»; «До чего эти звезды изветливы...»

Так же окрашены образы леса и особенно сырой, хтонической бесформенности грибов: «А она мне соленых грибков / Вынимает в горшке из-под нар. / А она из ребячьих пупков / Подает мне горячий отвар» («Неправда», 1931). Сюда же – ягоды: «...Или охватит тебя, / Только уста разомкнешь, / При наступлении дня / Мелкая хвойная дрожь. // Вспомнишь на даче осу, / Детский чернильный пенал / Или чернику в лесу, / Что никогда не собирал» (октябрь 1930). Букволично-идилличное совсем не идиллично. Ср.: «В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше грибов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они топорщились. Они убеждали меня. В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь» («Путешествие в Армению», 1931–1932). Архитектура versus хаос, готика versus русское.

Тема смерти как инициации новичка-посвящаемого наиболее разработана в андрейбеловском цикле: «Когда душе и торопкой и робкой / Предстанет вдруг событий глубина, / Она бежит виоцеюся тропкой, / Но смерти ей тропина не ясна. // Он, кажется, дичился умиранья / Застенчивостью славной новичка...» (1934).

II

Только в этой связи могут быть поняты так называемые гражданские темы у Мандельштама послереволюционного времени.

«Куда как страшно нам с тобой...» Очевидно, что как бы ни относиться к общеакмеистическому концепту мужей (включая разработку этого концепта у Н.Я. Мандельштам), не может мужчина так охотно и с такой эмфазой говорить о своем страхе, если это была эмоция однозначно негативная и вызываемая обстоятельствами однозначно идентифици-

руемыми как политические или социальные. И тем более – с эмфазой остро амбивалентной.

Того, о чем я говорю, нельзя, по моему убеждению, вытекающему отнюдь не только из респекта к поэту, свести к мазохизму, травматическим комплексам и тому подобным материям; но совершенно очевидно, что оно еще того менее сводимо к эффектам давления советского режима или, с другой стороны, к внутреннему искушению конформизма, прежде всего потому, что оно выражалось в формах, не очень приемлемых даже по нормам 20-х годов.

Вот одна из этих амбивалентностей: «Спору нет – мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам дышать чистейшим воздухом разбойничьей средиземноморской республики шестнадцатого века...» («Феодосия», 1923–1924). Ср. также тень Леонтьева в последней главе «Шума времени». Это уж во всяком случае написано не от оглядки на цензуру, не из конформизма, хитрящего или, так сказать, идейного...

Тема роскошной бедности, могучей нищеты уже с «Декабриста» часто переплеталась с мотивом опасности, гибельности: «Умывался ночью на дворе...» (1921); «Крутая соль торжественных обид» (1922).

С этим связана тема мороза, в России легко становящаяся метафорой гибели, террора, репрессивности, но также нищеты и немощи (ср. «Зимние сонеты» Вяч. Иванова); мандельштамовский мороз – еще по преимуществу и ночной (ср. мистерию победы ночи над днем в «Грифельной оде» (1923–1937): «Звезда с звездой – могучий стык»... и затем: «Как мертвый шершень возле сот, / День пестрый выметен с позором, / И ночь коршунница несет / Горящий мел и грифель кормит. / С иконоборческой доски / Стереть дневные впечатленья...»).

Все это – противоположность буржуазному, европейскому комфорту, но становится поводом к экстатическому приятию, к наслаждению: «И мглой, и холодом, и вьюгой» (15–16 января 1937 г.).

«Это была суровая и прекрасная зима 20–21 года. Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью» («Шуба», 1922). (Трудно не вспомнить признание Ф. Степуна, что у него негативные чувства связаны не столько с воспоминаниями

о разрухе Гражданской войны, сколько с впечатлениями от времени нэпа.)

Этот же год: *«Кому жестоких звезд соленые приказы / В избушку дымную перенести дано...»; «О, если бы поднять фонарь на длинной палке, / С собакой впереди идти под солью звезд / И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. / А белый, белый снег до боли очи ест...»* (1922).

«...Ночь... Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозничьих санок. Холодно тебе, Византия? Зябнет и злится писатель-разночинец в не по чину барственной шубе» («Шум времени»).

«Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература – зверь. Скорняк – ночь и зима» (Последние слова «Шума времени», 1923).

«Если выйти на двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами, – физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы – тридцатилетней войны, с моровой язвой, притушенными огнями и страшной тишиной в домах маленьких людей» («Феодосия»). Грандиозный риторический период!

В числе других лишений – также и культурная нищета, конец культурной индустрии: *«Пусть лучше наступит в России книжный голод, пусть над нами развернется пустая лазурь бескнижья»* («Жак родился и умер», 1926). Опять-таки, какой яркий образ пустой лазури вспыхивает вдруг посреди полусоветской статьи о переводческой халтуре!

Снова и снова – тема казнителя как источника того посвящения, которое нужно поэзии:

«Не забывай меня, казни меня, / Но дай мне имя, дай мне имя!» («Как тельце маленькое крылышком», 1923).

«Я с дымящей лучиной вхожу / К шестипалой неправде в избу» с очень характерным концом: *«Ничего, хороша, хороша... / Я и сам ведь такой же, кума»* (4 апреля 1931 г.).

«И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, / Я – непризнанный брат, отщепенец в народной се-

мье, – / Обещаю построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. // Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, / Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду» (3 мая 1931 г.).

Фигура палача:

«Тычут шпагами шишиги, / В треуголках носачи, / На углах читают книги / С самоваром палачи. // И еще грибы-волнушки / В сбруе тонкого дождя, / Вдруг поднимутся с опушки – / Так, немного погодя» («Стихи о русской поэзии», 1932).

Варианты 10-й строки в стихотворении «Нет, не спрячется мне...» («Ты как хочешь, а я не боюсь / Не рискну»).

«Ода»: *«Я б воздух расчертил на хитрые углы / И осторожно и тревожно [...] Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу! [...] Лес человечества за ним поет, густея [...] Я у него учусь – к себе не знать пощады».*

А это совсем не эзопов язык, а полная его противоположность:

«Что ни казнь у него – то малина...» (1933) – «Непобедимого, прямого, / С могучим смехом в грозный час, / Находкой выхода прямого, / Ошеломляющего нас» (Стансы, 1937). Так ли уж одно не похоже на другое?

И Сталин в «Мы живем, под собою не чуя страны» – монструозный гигант, жестокий сверхчеловек, в описании которого с низким «жирны» рифмуется высокое «верны», и Сталин «Оды» и «Стансов» – страшен, нестерпимо жуток.

Тема готовности посвящаемого к жизни и смерти: *«На всех готовых жить и умереть / Бегут, играя, хитрые морщинки» («Ода»), «К жизни и смерти готовые» («С прирмесью ворона-голуби», 1937).*

И под конец – о савеловском стихотворении «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь», где нетрудно, конечно, вслед за Э.Г. Герштейн увидеть связь с русской фольклорной традицией. Однако возникает также мысль (принадлежащая, собственно, не мне, а не идентифицированному мной слушателю одного моего доклада на мандельштамовские темы) об отдаленном эхе того самого стихотворения Вяч. Иванова «Мэнада», которое было на слуху у нескольких поколений и которое Мандельштам⁴ читал по памяти Вл. Боцяновскому⁵. «Волга, хлынь – словно лань...» Стихотворение Вяч. Иванова трактует тему жертвенной инициа-

ции у последнего порога, называя все своими именами, как это обычно у символистов и запретно у Мандельштама.

У Вячеслава Иванова вынесено в эпитафия: «Вино осмирнено». Смесь вина со смиренной – одуряющий напиток, который давали из милости осужденным на распятие; Христос отказался его пить. «*Так и ты, встречая Бога, / Сердце, стань... / Сердце, стань... / У последнего порога, / Сердце, стань... / Сердце, стань*».

Мандельштам, наследуя символистской чуткости к теме жертвенной инициации, отталкивался от символистской практики лобового подхода к этой теме. Его стремление сохранить минимум от внешней претенциозности темы и максимум от ее сути естественно вело его к тематизации своих аффектов страха, что определяет разработку в раннем творчестве поэта религиозных, а также пейзажных и космических мотивов.

В послеоктябрьский период та же парадигма в определенной мере сказывается в так называемой гражданской лирике: контраст между «Мы живем, под собою не чуя страны...» и «Одой» отчасти осложнен общностью черт ужасающего и монументального совершителя инициации.

¹ Погружение (*др.-греч.*).

² Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 252.

³ По контрасту (*лат.*).

⁴ Если справедлива идентификация, см.: Памятные книжные даты 1988. М., 1988. С. 187. Ср. примечание к изданию «Камень» в «Литературных памятниках».

⁵ *Боцяновский Вл.* Афины на Неве // Утро России. 1911, 10 сентября. С. 2.

Впервые: Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28–29 декабря 1998 г.). М.: РГГУ, 2001. С. 17–23. Сверено с машинописным оригиналом из архива С.С. Аверинцева.

Предисловие к книге Елены Глазовой
«Поэтика Мандельштама:
сдвиг к постмодернизму»¹

Свойство книги, которое, пожалуй, первым бросается в глаза читателю, – это правильно найденная пропорция осмотрительности и отваги. Если тема скрывает в себе так много трудностей, опасностей, подвохов, как тема настоящего исследования, она требует от автора сознательной готовности на риск. Мандельштам – виртуоз точно продуманных диаметрально противоположных утверждений, делаемых в один и тот же период жизни, подчас в одном и том же тексте; в одной строке слово стоит словно бы перпендикулярно к другому, и это отнюдь не причуда, но самое существо его поэтической позиции. Его поэзия резко противоположна классицизму и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому. Мы ощущаем напряжение между логическими полюсами и в стихах, и в прозаических рассуждениях поэта. Слепая ласточка на крыльях срезанных вот-вот в чертог теней вернется – но все-таки еще не вернулась; яркая, нежная зелень на улицах нищего Петербурга говорит о девственном лесе, который покроеет место современных городов, – но покамест есть еще место горожанину и другу горожан, и старый мир жив более, чем когда-либо; и все уместается в единой точке дистанции между грамматическими формами будущего и настоящего. Тот, кто решился писать книгу об этом поэте, не понимая рискованности этого предприятия, заранее обречен на сомнительный результат. И напротив, то, что в оптику этой книги от начала до конца входит трезвая зрелость по отно-

шению к этому риску, уже свидетельствует о ее качестве. Хорошо, что уже Введение формулирует задачу: «...to uncover the structure and consistence of Mandel'shtam's apparently impenetrable and disconnected theoretical discourse» (p. 11). Связность в бессвязности – это действительно сущность мандельштамовской мысли, и мы не увидим связности – подчас поразительной и всегда неожиданной, – если не почувствуем содержательное отсутствие внешней связности.

Вторая гарантия высокого уровня – последовательность, с которой исключены все соблазны чересчур легких умозаключений от обстоятельств биографии поэта (включая догадки психологического и психоаналитического характера), а также от политической истории его отечества. Сложности этой задачи усугублены и тем обстоятельством, что Мандельштам, никоим образом не отвечая образу poeta doctus, каким он часто является, например, в трудах Ральфа Дутли, постоянно проявляет неожиданные провалы в познаниях, – но также и столь же неожиданную глубину познаний (а также сверхострую догадливость, для которой подчас достаточно самого беглого перелистывания книги или вылавливания сведений из прокуренного воздуха умных разговоров); по большей части исследователь лишен права уверенно постулировать для него знание такого-то текста или, напротив, незнание другого. Мы лишены возможности, так сказать, из-за его плеча подглядывать за его чтением (процедура, по отношению к большинству русских смволистов, возможная). И если, в соответствии со знаменитым высказыванием Мандельштама, цитируемым и в этой книге, для «разночинца» список прочитанных книг и есть его биографии, то одной из форм искушения чересчур биографического подхода могла бы стать неуместно уверенная игра в интертекстуальную детерминацию каждого атома текста (тем более что сам поэт неосторожно сказал в «Разговоре о Данте» про упоминательную клавиатуру, спровоцировав своих исследователей на методологические эксцессы, подчас прямо-таки грозящие перекрыть бронхи мандельштамоведения). Но и этот вариант неуместного биографизма чужд этой работе. Автор, обнаруживая во Введении достаточную осведомленность и о биографическом и об историческом контексте, с необычной для нашего времени

естественностью выдерживает подход, при котором общие концепты, *universalia*, как говорили в любезные Мандельштаму средние века, не подменяются ничем посторонним. Речь идет действительно о «structure and consistence of Mandel'shtam's... theoretical discourse», не о чем-либо ином. Вполне обоснован сформулированный в том же Введении отказ от еще одной возможности короткого замыкания на биографии поэта, на сей раз биографии творческой: от рассмотрения теоретических дискурсов Мандельштама как комментария к его стихам. Совершенно очевидно, что у него не было ни такого намерения, ни ненамеренного эгоцентрического помрачения ума, когда литератор вместо того, чтобы думать о возможностях поэзии, снова и снова думает только о своих собственных возможностях. Мандельштам был слишком впечатлителен по отношению к чужому творчеству, чтобы не выходить далеко за пределы такого замкнутого круга. Пример, имеющий в себе по обстоятельствам свою, если угодно, забавную, даже гротескную сторону, не переставая от этого по существу очень хорошо рекомендовать Мандельштама как субъект мышления о литературе, мы находим в статье 1923 г. «Vulgata. (Заметки о поэзии)». Рассуждая в этой статье о Пастернаке как великом «секуляризаторе» русского поэтического слова, переориентировавшем поэзию с «литургической» речи интеллигенции на «домашнее корнесловье» и драстическую энергию консонантов, оказывается настолько захвачен темой своей мысли, что для обострения контраста довольно агрессивно отзывается о практике «малого словаря», который «есть признак того, что говорящий не доверяет родной почве и не всюду может поставить свою ногу»; в качестве примеров упоминаются Сологуб, Ахматова (почувствовавшая себя задетой), Кузмин. Все это поражает постольку, поскольку являет собой диаметрально противоположность дискурсу *pro domo mea*: Мандельштам не мог не знать, что сам он в качестве практикующего поэта представляет собой аналог никак не Пастернаку, а скорее тому же Сологубу (которого так прославил в 1924 г.); что мандельштамовский словарь – за вычетом исключений, подтверждающих и оттеняющих правило, – есть, конечно, типичный пример «малого словаря», в котором отсутствие определенных компонентов чуть ли не важнее присутствия других, а выше всего ценится умение

сказать неслыханное самыми обычными языковыми средствами (как в латыни Цезаря или во французском языке Расина). Но для того чтобы с такой точностью сказать самое главное о раннем Пастернаке, надо было радикально отвлечься от собственных проблем, «забыть ненужное я», как сказано в одном мандельштамовском стихотворении². Это пример яркий и особенно очевидный, но далеко, далеко не единственный.

Итак, ограничения, которым подвергнута тематика книги, безусловно оправданны; и проведены они строго и последовательно. Тем интереснее, что с их соблюдением автору остается так много сказать и что напряжение анализа не только не спадает, но явственно нарастает от начала к концу книги. По ходу этого движения отметим анализ высказываний «Разговора о Данте», представляющих, может быть, наиболее благоприятный для предлагаемого подхода материал. А в последних разделах происходит динамический выход к более широким перспективам. Рассмотрение теоретических импликаций Мандельштама, завершающее книгу, едва ли не в наибольшей степени оправдывает целое.

1999 г.

¹ *Glazova E. Mandel'shtam's Poetics: A Challenge to Postmodernism. Toronto, 2000.*

² Я не обсуждаю мемуарного рассказа Вильям-Вильмонта, согласно которому весь этот пассаж – как бы эхо слов самого Пастернака, сказанных еще в 1915 г. в разговоре с Гумилевым и Мандельштамом; нет надобности подозревать мемуариста, пересказывающего пересказ этих слов, чтобы усомниться в точности свидетельства столь позднего. Притом существо дела не изменилось бы, если бы некоторые фразы мандельштамовской статьи оказались криптоцитатами.

Из переписки об Осипе Мандельштаме

*Письмо С.С. Аверинцева П.М. Нерлеру
от 7 июля 1992 г.*

7.07.92

Дорогой Павел!

Ваша статья «О композиционных принципах позднего Мандельштама» вызывает много мыслей, которые я сейчас не способен изложить с должной обстоятельностью. Я от души согласен, что пошлый политический морализм, едва допустимый в литературе («Sekundärliteratur»¹) «по поводу» Мандельштама, не имеет никаких прав при обсуждении текстологических вопросов и что любые «просоветские» стихи ОМ суть слово, которого из песни не выкинешь (причем творческая психология поэта дала им совершенно иной объективный статус, нежели статус казенных версификаций Ахматовой, – она могла «отключаться» и сочинять в отсутствие себя самой, он не мог, и все его стихи суть его стихи, не сводимые ни к какой однозначной позиции).

На Вашем месте я, наверное, попытался бы ввести проблему в историко-литературной перспективе «преодоления символизма», притом не в русских, а в европейских масштабах. Не правда ли, международный символизм воспринял и довел до крайности столь важный уже для Гёте принцип искусственной тематической архитектуры циклов,

при которой стихи одного и того же времени распределяются между разными циклами (как у любезного ОМ Верлена, скажем, между «Sagesse» и «Parallèlement», или как у Вяч. Иванова между творческими <нрзб.> и «Прозрачностью»), и цикл доходит до завершенности и округленности целого, по отношению к которому стихотворение является лишь частью («Stundenbuch» Рильке и особенно «мелонея» (нрзб.) Вяч. Иванова «Человек», где сам <нрзб.> созданный термин уведомляет, что лирический цикл превращается в мифическую поэму). Когда мы держим это в уме, становятся, по-моему, ясны драматические затруднения раннего ОМ при компоновке своих сборников; он ведь воистину «преодолевал» символизм, но «преодоление», вопреки Над. Яковлевне, не «отрицание», [а] куда более амбивалентно-заинтересованное отношение; притом «преодолевать» здесь приходилось не только Вяч. Иванову и Блоку, но и Сологубу, Инн. Анненскому, из которого сами «преодолевшие» сделали миф (чего стоят все эти «трилистники» etc!).

Что до «шуточных» стихов, мне кажется важным, что критерии, по которым они выделяются, должны быть «домашними» и «бытовыми» вплоть до внелитературности и во всяком случае *не* смысловыми, иначе пришлось бы выделять среди ранних стихи о мороженом, ровно столь же «сердечное» (и не-сердечное), как, скажем, «Айя-София». По-моему, в упразднении оппозиции «серьезность» ↔ «ирония» – одно из главных особенностей поэтики ОМ. У него все <нрзб.> возможно лишь бытовое выделение шуточных стихов, распространяющееся на «...полурифмованных украинцев», но не распространяющееся на «Татары, евреи, ненцы», не говоря уже о «Клейкой клятвой...».

Спорным, неизбежно спорным представляется мне (предлагаемое на с. 4) философское (т. е. не чисто поэтологическое) обоснование образа действий ОМ: да здравствует историзм и бергсоновская философия *durée*, да сгинет риторика. Едва ли Гёте и Верлен, поступающие иначе, не знали, что делают; едва ли мышление Гёте не было историческим. Другое дело, что в практике ОМ поэзия на своих путях пришла к чему-то (не лучшему и не худшему, но – иному). Специально к примечанию 8: одно дело, если сам поэт «придерживается хронологического принципа», другое – если поэт компоновал свои стихи заведомо иначе, как те же Гёте

и Рильке, но издатели применяют в альтернативных изданиях хронологический принцип именно как экспериментальный, эвристический сдвиг привычного, освежающий мозги интерпретаторов.

Далее Вы переходите к очень точному анализу данных. Мне особенно нравятся Ваши соображения «о метрической "битве" между "Одой" и "Солдатом"». Думали ли Вы о роли анапестов в метрике античной трагедии? ОМ не мог не знать этого (хотя бы смутно) по антиметрическим переводам Вяч. Иванова из Эсхила: первая песнь хора в любой античной трагедии непременно анапестическая. Все очень хорошо – только различие между ранним и поздним ОМ кажется мне чуть меньше. Верно ли, что ранний «преуспевал» в логико-грамматической «отчужденности»? Разве не удивляли, не злили первых читателей как раз очень диковинные (диковинно необязательные) отношения между отдельными строками, двустушиями и катренами? Какое-нибудь «и вот», словно бы рассеянно соединяющее разорванные узы трех измерений с медузами, лепящимися на Адмиралтейство; непостижимые «и», нанизывающие фразу за фразой...

Ваши тезисы на с. 8–9 вызывают у меня безоговорочное сочувствие.

Теперь – о прочем. Протокол переругивания меня ужаснул (хотя порадовало признание Ваших заслуг). Обращение к членам Совета я готов написать, от руки или на машинке, как Вы сочтете нужным, – но все-таки мне нужно было бы сначала поговорить с Вами (точно ли Вы будете в Москве 6 июля, как Вы писали в «Павловом послании»), или хотя бы со Сладковой, с Никитаевым, окунуться в московскую реальность, от которой я за время клиники и выздоровления малость оторвался (в Москве буду с 17 июля).

Павел, сердечно благодарю Вас за предложение касательно писем отца – и как мне жаль, что это невыполнимо. Писем не существует, по крайней мере, в известном мне месте; надо думать, и нигде. Мой отец чудом избежал расстрела под конец гражданской войны, а затем имел все основания ожидать, что в сталинское время ему припомнят антибольшевистскую позицию тех лет. Второе чудо спасло его от ожидавшегося им и мамой ареста. Но все это не способствовало сохранению архива (вместе с теснотой нашей

единственной комнаты в коммунальной квартире). В 30-е гг. родители кочевали по <край оборван>. Где уж тут было беречь архив! Притом реалии прежней жизни становились небезопасными: учился в Гейдельберге, до этого сражался добровольцем в англо-бурскую войну, – все какое-то не наше, сознайтесь, гражданин А., кто Вас там завербовал?! Недаром его мемуарный труд, написанный в подарок мне, трактуется лишь о раннем детстве. Увы...

Что до просьбы Кушнера и Меца – у меня возражений быть не может; поговорю с Елеаз[аром] Моис[еевичем] Мелетинским] о передаче архива в Архив Манд. Об-ва.

¹ «Вторичная литература» (нем.).

Письмо написано в процессе подготовки адресатом статьи «О композиционных принципах позднего Мандельштама. К постановке проблемы», опубликованной в 1994 году в сборнике «Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума» (Тенафлу: Эрмитаж, 1994. С. 326–341). В ее основу лег одноименный доклад, прочитанный на юбилейной мандельштамовской конференции в Лондоне в начале июня 1991 года. Замечания и соображения С.С. Аверинцева, изложенные в данном письме, были с благодарностью учтены и нашли свое отражение в печатном тексте статьи.

В конце письма С.С. Аверинцева также упоминаются: 1) острый конфликт между М. Шапиро и Л. Кацисом и попытки втянуть Мандельштамовское общество в ход скандала и использовать его в своих интересах, от чего правление Общества решительно дистанцировалось; упоминаются О.А. Сладкова и А.Т. Никитаев – секретарь и член Совета Мандельштамовского общества; 2) предложение гейдельбергского профессора В. Биркенмайера опубликовать письма отца Сергея Сергеевича периода его обучения в Гейдельберге, если таковые имеются, и 3) вопрос о передаче в Архив Мандельштамовского общества «мандельштамовской части» архива Ирины Михайловны Семенко, умершей в 1987 году (Е.М. Мелетинский являлся ее супругом).

В своем ответном письме, датированном 23 июля 1992 года, адресат, находившийся во Фрайбурге (Германия) на стажировке, среди прочего писал:

«<...> Спасибо за все замечания – часть (например, о "преодолении символизма", в том числе и "своих" в нем – Сологуба и Анненского) я обдумываю, большинство же с благодарностью принимаю. Как принимаю – можно видеть по следующим вставкам, из них вытекающим или на них опирающимся.

О шуточных стихах – "материализовалось" в сноске:

«Тут, впрочем, полегче: "на помощь" можно позвать и другие критерии. Шуточные стихи суть неизменно домашние, бытовые, встроенные в конкретные жизненные конструкции (и вне них – лишённые смысла, не говоря о смехе, отчего и нуждаются острее других в фактическом – реконструирующем – комментарии). В этом смысле, хоть они и "несерьёзные", ироничны, оба упомянутых стихотворения – не таковы. По мнению С.С. Аверинцева (в письме к автору), в упразднении оппозиции "серьёзность"/"ирония" одно из главных новшеств поэтики Мандельштама».

Внесена поправка и в примечание о Рильке и Гёте. Бывшее примечание 8 выглядит теперь так: «На Западе, впрочем, известны поэты, осознанно придерживавшиеся хронологического принципа – например, Сен-Жен-Перс во Франции и Фердинандо Пессоа в Португалии. К хронологии как к альтернативному эдиционному принципу все чаще и чаще стали прибегать серьёзные издатели классиков, например, Гёте и Рильке» (при этом, по замечанию С.С. Аверинцева, происходит «экспериментальный, эвристический сдвиг привычного, освежающий мозги интерпретаторов»).

«С.С. Аверинцев указал нам на роль анапестов в античной трагедии, в частности, у Эсхила: первая песнь хора в любой античной трагедии непременно анапестическая, что было сохранено и в эквиметрических переводах В. Иванова, например».

<...> Я очень надеюсь, что в конце сентября/октябре мы смогли бы собрать Общество на Ваш доклад и, на тот же или иной день, собрать Совет с Оргкомитетом Чтений. Относительно Чтений мне вдруг пришло в голову немного сдвинуть их – с середины января на середину июня 1994 года в том случае, если – сначала Совет, а потом Воронеж – не отвергнут идею если не проведения всех чтений в Воронеже (предлагаемый срок – 60-летие начала воронежской ссылки), то хотя бы их половины или экскурсии в мандельштамовский Воронеж. Спешу сообщить эту идею Вам. Если у Вас будет разговор с Афанасьевым, то, пожалуйста, предложите ему – вместе с Вами – быть председателями Оргкомитета Манд. чтений.

Если архив И.М. Семенко положит начало Архиву МО – будет, по-моему, замечательно.

Теперь – раздел новостей из Германии.

На днях я встречался с Л. Венцлером, ректором местной Katholische Akademie (который готов был – в случае моего отсутствия – приютить Вас во Фрайбурге). Мандельштамовский Tagung намечен на 6–7 ноября 1994 года, это будет совместная с МО 2–3-дневная конференция с участием Вашим, Микушевича, Дутли, В. Шлотта (Бремен), моим и, может быть, Бродского (ни в какой форме пока не среагировавшего на предварительное приглашение) – под условным названием «Мандельштам и Европа» и с обязанностью помимо доклада в 45 минут (по-немецки!) почитать и стихи (по-русски!) <...> Приглашения они вышлют через 1–1,5 месяца, м. б. я привезу их с собой в сентябре (я приеду числа 20). Можно будет попробовать договориться еще и о дополнительных выступлениях.

Не знаю точно, но наш план осчастливить Гейдельберг памятной доской может провалиться – в том смысле, что бургомистрша, кажется, уже распорядилась все сделать и чуть ли не открывать доску вот-вот – я написал ей, жду новостей».

Письмо С.С. Аверинцева печатается по копии оригинала, обнаруженной адресатом в своем архиве. Авторские выделения и пунктуация сохранены.

Публикация и послесловие П. Нерлера

Памяти Иосифа Бродского

Отношение Иосифа Бродского к Осипу Мандельштаму не нуждается в пояснениях: *«Предмет любви всегда является предметом бессознательного анализа...»*, точнее – *«интуитивного синтеза»*, – писал он сам в статье о мандельштамовском стихотворении *«С миром державным я был лишь ребячески связан...»*. Статья, кстати, заканчивалась так: *«Все это немного напоминает историю со второй частью гётевского "Фауста" – включая и наше с вами мероприятие, происходящее для поэта... на том свете»*.

Собственно, не статья, а доклад, сделанный Иосифом Бродским в 1991 году на Мандельштамовском симпозиуме в Лондоне. Все, кто там были, не забудут его замечательные выступления и реплики. Он был членом Совета Мандельштамовского общества. А когда Общество обратилось к двум-трем десяткам известных русских поэтов с небольшой анкетой о значении Мандельштама для их поэзии, *единственным*, кто на нее откликнулся, был... Иосиф Бродский!

Вместе с другими читателями и почитателями Иосифа Бродского и его поэзии Мандельштамовское общество скорбит о его кончине и, через «Русскую мысль», передает соболезнования его семье.

30 января 1996 г.

Сергей Аверинцев, Михаил Гаспаров, Павел Нерлер

Информационный бюллетень Мандельштамовского общества. 1996. № 1–2.

Набросок к статье «Страх как инициация:
одна тематическая константа
поэзии Мандельштама»

Космическая топика

Можно ли согласиться со словами Гаспарова (О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1997. С. 15): «Наконец, эсхатологические слова “все, кто жить и воскреснуть должны”, по-видимому означают просто: «воскреснуть от вечного страха войны»? Федоровщина как эзотерическое приложение ко всей советской идеологии – очень широкая тема.

Сходство палеонтологической (катастрофической) образности в «Ламарке» 7–9 мая 1932 и в: «Мир начинался страшен и велик: / Зеленой ночью папоротник черный. / Пластами боли поднят большевик – / Единый, продолжающий, бесспорный, / Упорствующий, дышащий в стене...» и далее: «каменноугольный / Могучий мозг...» (апр. – май 35).

Чувство, специфическое для раннесоветской поры и окончательно исчезнувшее после войны: все происходящее – невероятная архаика, начало нового цикла, описуемое не в исторических, а разве что в палеонтологических образах. Амбивалентность здесь возникает сама собой, не как психологический казус, не как литературная игра, но как адекватное самому предмету выражение всего спектра эмоций: ужаса перед неслыханными тяготами и взбодренности от нового вызова человеческой жизне-

способности, испуга перед возможностью тотальной и необратимой регрессии (тема «Ламарка») и надежды на начало от нуля нового цикла.

Печатается по машинописной копии, обнаруженной Н.П. Аверинцевой, в архиве С.С. Аверинцева публикуемые фрагменты следовали в ней непосредственно за статьей «Страх как инициация...».

Приложения

Приложение 1

Воспоминания о С.С. Аверинцеве

Нина Брагинская

Когда в начале девяностых узнала, что Аверинцев смертельно болен, показалось, рухнула стена дома и жилище открылось непогоде. Он замолчал за много месяцев до того, прежде чем его не стало, и его начали забывать на родине за много лет до его скорбной кончины. Спасибо ласковой Вене, она продлила дни Сергея Сергеевича. А нам придется жить без оглядки на него.

Это и есть самое страшное. Написанное не погибнет, неопубликованное опубликуют, он не прожил в безвестности, гонениях и неосуществленности, как многие дарования в России. Можно сказать, «взирая на конец», как учил мудрец Солон, что это была в целом хорошая жизнь. Рассказывать в некрологе, что он сделал? О, очень много!

Но для меня не в этом дело, а дело в его роли духовной, интеллектуальной, «воспитательной», которая уникальна. Я могу сказать о своем поколении, кто студентами ходил на его лекции еще в старом университете, на Моховой. Сотни молодых людей в битком набитой аудитории, которым запонадобилась вдруг «античная эстетика», «византийская эстетика»... Важнее всех мыслей, которые и теперь можно прочесть в его книгах, в этих лекциях был их автор, человек, который показывал, что мысль – это наслаждение и радость, и чужая и своя. И потому был сво-

боден. Пока он стоял на кафедре с характерным памятным жестом – острые локти вниз, а руки вскинутаы вверх – он был свободен. В этом, в своеобразии его облика со сложенными крыльями плеч, и в голосе, который попробуй опиши, но узнаешь с первого звука, – было больше несоветскости, чем в предмете годами шедшего разговора о немецкой философии, или о Библии, или о патристике. Да, Аверинцев «выступал» больше, чем обычно это делают ученые.

Он был проповедник любви к словесности. Очень важно, что круг его интересов и исследований был так широк. Аверинцев говорил обо всей европейской и средиземноморской культуре, включающей сирийцев, ромеев, евреев и коптов. Он был патриотом обширнейшей духовной родины. Узости не было в нем, эскизность была, *laissez faire*, да, но и открытость иному. Я впитала его ранние статьи («ранние» больше для меня, их, тогда семнадцатилетнего, читателя) до такой степени, что когда открыла их сравнительно недавно, обнаружила, что не помню ничего, но каждое слово и даже интонация вошли в состав моего собственного «экспертного вещества», того состава, на фоне которого происходит всякое восприятие и дается внутренняя оценка.

Он прочел когда-то мою курсовую работу. И первую статью. Надо ли говорить, что всю жизнь, что бы я ни писала, я внутренне оглядывалась на нескольких самых главных потенциальных читателей, и С.С. Аверинцев всегда был среди них? Написанное Аверинцевым мы не потеряли, но мы потеряли великого русского читателя, присутствие которого уже задает планку, ниже которой просто никак невозможно. «Нет у их, и все разрешено». Так не хочется быть брюзгой и собственный закат объявлять закатом Европы. Но состоявшихся еще при прежнем режиме несколько десятков ИМЕН заменить некем.

Что клясться, что «мы» его не забудем? Эти «мы», которые поймут меня, помнят Аверинцева и когда о нем не думают.

Леонид Жуков

Две встречи с Сергеем Аверинцевым

Я встречался с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым (далее я буду писать сокращенно – С.А.) дважды. Первый раз в середине 70-х, когда был в академическом отпуске. С.А. тогда читал цикл лекций о русском символизме в музее им. Скрябина, в переулке между старым и Новым Арбатом. Мне об этом рассказала моя сестра, а ей – ее подруга; а может быть, об этом рассказал Петя Старчик, на концертах которого мы тогда бывали. В общем, откуда-то эта информация дошла. Я был на лекции, посвященной творчеству Вячеслава Иванова. Помню небольшую комнату квартиры Скрябина, человек двадцать публики, негромкий монотонный голос Сергея Сергеевича. Он подробно и, я бы сказал, тщательно разбирал венки сонетов Вяч. Иванова. «Мы две в ночи летящие звезды» – я намеренно цитирую эти стихи очень приблизительно, потому что мне важно передать здесь некое свое состояние. Главное, что с тех пор все, что я запомнил из Вяч. Иванова, связано у меня с образом мышления С.А. и его голосом – неторопливым, методичным, непрерывно продолжающимся, как летний дождь, барабанищий по крыше веранды, или тиканье часов. И почему-то, видимо, вслед за содержанием его выступления, у меня в воображении встают картины Италии, Венеции – мест, куда после революции эмигрировал Вяч. Иванов, соборы средневековой Европы, чьи символы составляли ткань его стихов. Что-то готическое, с одной стороны, как тяжелый камень, вознесенный в небо, словно некоей мистической силой, и затейливое, трудное как лабиринт, венецианское – с другой. Он говорил об Италии как духовной родине Вяч. Иванова, об его эмиграции – как о возвращении домой, в ту культурную среду, которую он любил и знал. И тут же всплывала тема Италии как места, духовно чем-то притягательно близкого русской душе. И вспоминался художник Иванов с его картиной Христа, и итальянские путешествия Гоголя... И уже, казалось бы, вне всякой связи с той, давнишней лекцией С.А., несколько лет спустя увлекал меня мандельштамовский Данте Алигьери, и я шел за мандельштамовским голосом, как бы протягивающимся от «молодых

еще Воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Быть может, покопавшись еще в памяти, я пойму, почему образ С.А. для меня стоит рядом с О.М. – как две соприродные фигуры. «Мы – смысловики» – эти мандельштамовские слова ко мне пришли от Аверинцева, как будто именно он сказал их впервые, а Мандельштам лишь повторил. После той лекции С.А. я очень внимательно, от корки до корки, прочел сборник стихов Вяч. Иванова. Признаться, это мне стоило большого терпения. Я не полюбил творчество Вяч. Иванова, но благодаря С.А. стал его ценить, и, наверное, это единственный из русских поэтов, к которому у меня такое – уважительное, но беспристрастное отношение.

Второй раз я был у Аверинцева, если не ошибаюсь, в 1991 году. Эту встречу устроил мой помощник Михаил Ромм, председатель правления Всесоюзного гуманитарного фонда им. А.С. Пушкина, которым я руководил в то время. Я хотел записать С.А. в Попечительский Совет фонда. Я чего-то смущался, стеснялся, не знал, как найти повод для встречи, а Ромм, заведовавший в фонде всеми творческими контактами, сказал: «Нет проблем!» И действительно, через пару недель мы отправились то ли в Беляево, то ли на Юго-Запад, я запамятовал, – место, где жил тогда С.А. Это была обычная квартира в типовой советской многоэтажке. Мы зашли в комнату, бывшую его кабинетом, – мне запомнилась удивительная теснота этого помещения. Все было завалено книгами, вдоль стен до потолка стояли книжные шкафы и полки, посреди комнаты стоял еще один невысокий шкаф или какая-то тумбочка с книгами. Стол, стоявший торцом к окну, был завален стопками книг. Настоящий книжный червь, *archives worm*, сказал бы я теперь. Места едва хватало только для двух человек. Пока С.А. нас встречал и провожал в свой кабинет, было заметно, как он хромает. Кажется, Ромм сел на какой-то табурет, ближе к двери, а я разместился рядом с ним, стоя. С.А. сидел за столом вполоборота к нам, за его спиной было окно, а за окном однообразный вид одинаковых белых московских новостроек. Я спросил С.А., не согласится ли он войти в состав Попечительского Совета. Он ответил, что уже состоит в похожих советах других организаций, и у него просто нет времени вникать в деятельность еще одной. И я понял, что у него действительно нет времени, хотя я сильно сомневался, что

он в самом деле так уж вникает в какую-либо подобную деятельность. И подумал, что приди мы на два-три года раньше, вопросов бы не было, потому что тогда, на волне чувств освобождения первых лет перестройки, была еще жива иллюзия формы – будто достаточно лишь зарегистрировать организацию, а дело уж само пойдет, дали бы работать. Но со временем иллюзий становится все меньше. В общем, я чувствовал, что мои аргументы иссякают, минут через пять разговор прекратился, и мы ушли. Вот и все. А потом я узнал, что С.А. все же состоит членом Попечительского Совета, только не всего нашего фонда, а одного из его подразделений – Университета истории культур.

Когда я узнал, что С.А. переехал жить в Вену, я немало опечалился, потому что подумал: «Вот, теперь так просто к нему не придешь поговорить». А потом понял, что Вена – очень естественный город для С.А., место, противоположное «совку», точка того культурного смысла, о котором он всегда говорил. «Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды», – написал Пастернак. И здесь же мне вспоминается Шнитке. И Булат Шалвович Окуджава. Как будто уходит эпоха, не умирая, но превращаясь из функционирующего организма в незаметную составляющую культурного тела нашей жизни в двадцать первом веке.

Я постарался как можно подробнее припомнить и описать две свои встречи с С.А. И обнаружил, что, хотя в моей жизни было много других, куда более значимых с житейской точки зрения встреч, эти две почему-то запомнились яснее других. И это, как я понимаю, свидетельствует о том, что проявление настоящей духовной сущности человека, такого, каким был С.А., никуда не исчезает, но постоянно пребывает рядом с нами.

Олег Лекманов

Для меня, плохо и мало знавшего Сергея Сергеевича, главным в его человеческом облике было обаяние. Решусь ли сказать – чуть кокетливое обаяние. И артистизм. Он мог в первый день конференции подарить вам оттиск своей ста-

тьи, а на фуршете, в последний день, – преподнести другой оттиск этой статьи еще раз. Или же – так увлечься текстом на экране монитора, что в буквальном смысле забыть про ваше присутствие, и вот вам приходится два-три раза робко похлестать в кулак, напоминая о себе хозяину комнаты.

Вместе с тем Аверинцев абсолютно не был похож на такого горе-профессора, излюбленного персонажа кинофильмов 30-х годов, что-то такое распевającego на пару с артисткой Орловой. Лучшее тому доказательство – богословские статьи Сергея Сергеевича (но, разумеется, не только его богословские статьи), всегда отличавшиеся редкостным трезвомыслием и полным отсутствием взвинченной экзальтации.

Патентованным добряком Аверинцев тоже не был. Думаю, не мне одному приходилось видеть его в сильном раздражении, а мои друзья, как одно из самых сильных впечатлений памятной ночи страшного октября 1993 года, вспоминают характерный, высокий голос Сергея Сергеевича, льющийся из динамика на площади у Моссовета. Аверинцев тогда взволнованно говорил о людях, которые перестали быть людьми, и о трудной необходимости сообща отстаивать дарованные нам демократические ценности (а в это время бывшие герои «Взгляда» из телевизора убеждали москвичей «сидеть дома и не обращать внимания»).

И еще одно воспоминание. Года четыре назад в ЦДЛ состоялся замечательный вечер памяти Мандельштама, в рамках которого самые разные поэты читали мандельштамовские стихи. В конце организаторы поставили пластинку с авторским исполнением стихотворения «Я буду метаться по табору улицы темной...». Выходя из зала, я столкнулся с Ю.И. Левиным, и он сказал: «Было интересно, но лучше всех читали два человека. Осип Эмильевич и Сергей Сергеевич». По-моему, он был прав.

Павел Нерлер

...Этот скрипучий, этот ни на чей другой не похожий голос, это коронное «Вы знаете...», с которого начиналась едва ли не каждая его фраза в диалоге, да и сами эти фразы,

начиная которые говоривший решительно не знал, куда уведет их дыханье мысли и где приземлится последний причастный или деепричастный оборот, – всего этого уже больше не будет. Сергея Сергеевича Аверинцева нет в живых.

Казалось бы, за свои короткие 67 лет он сделал так много! Но на самом деле – еще больше, ибо далеко не все попадало в печать.

Для иллюстрации – высказывание Аверинцева о Мильтоне, Мерике и об их переводчице Аркадии Штейнберге. Вот что я записал на пригласительном билете на творческий вечер Аркадия Акимовича в ЦДЛ 17 февраля 1984 года.

Из выступления Аверинцева: «В переводе Мильтона спасено то, что труднее всего спасти, – торжественная предпраздничность, блеск и слава еще не оскверненного мира. Психологию сатаны, психологию падших передать проще. Тот праздник, который создал Мильтон, повторился в русском стихе – то самое, что утекает между пальцами.

На все это есть только один ответ – который оказался столь труден для сатаны: сказать "спасибо".

О переводе из Мерике: к кому обращается поэт? К себе, отроку, – с чувством того, что книга, которую он создал, так нужна была ему в отрочестве, но ее, увы, не было. А всему остальному лучше бы не возникать».

Восхищает не только аверинцевский диапазон, восхищают тот блеск, которым он владел, и та щедрость, с которой распоряжался своим интеллектуальным богатством. Поистине дышать и мыслить было для него единым, практически слитным занятием.

...Нашей последней встречей стал мандельштамовский вечер в копелевском форуме в Кёльне 29 октября 2002 года. В своем слове Аверинцев говорил, что Мандельштам не был ни культуртрегером, ни эрудитом. Когда, подразумевая акмеизм, он говорил о «тоске по мировой культуре», то это была именно тоска, а не, скажем, обладание или владение ею. Его знания не были безграничными или систематическими, – они были прежде всего неожиданными, как, впрочем, и пробелы в его знаниях. Но даже умница и эрудит Ходасевич, обронивший однажды: «Мандельштам глуп», – так и не смог подняться до озарений мандельштамовского уровня. Оттого-то «встреча» Мандельштама с Эвальдом

Кристианом Клейстом, мало кому известным и в самой Германии, стала не только возможной, но еще и естественной и плодотворной, обернувшись таким шедевром, как «К немецкой речи».

Кажется, первым Аверинцев обратил тогда внимание на связь немецкой темы у Мандельштама с его реальным «путешествием в Армению», увенчанным встречей с реальным Борисом Сергеевичем Кузиным, тоже не-классиком (это о нем сказано в стихотворении «К немецкой речи»: «Я дружбой был, как выстрелом разбужен...»).

Под конец Сергей Сергеевич прочел стихотворения «Чуть мерцает призрачная сцена...», «За гремящую доблесть грядущих веков...» и «К пустой земле невольно припадая».

Последнее, как известно, посвящено Наталье Штемпель, близкому и едва ли не единственному другу четы Мандельштамов в воронежской ссылке. Однажды Аверинцев был поражен звонком Надежды Яковлевны Мандельштам, буднично сказавшей: «А завтра ко мне приезжает воронежская Наташа». Для него же это прозвучало, как если бы было сообщено о приезде Лауры или Беатриче.

...В Кёльне Сергей Сергеевич был бодр и в хорошем расположении духа: много шутил, с удовольствием дал интервью журналисту, забывшему, как оказалось, включить диктофон на «запись». Расставаясь, мы по традиции говорили о мандельштамовской энциклопедии. Работа над ней разгоралась, и за Аверинцевым кроме нескольких тематических оставалась огромная вступительная статья на тему «Мандельштам и мировая культура» – ни больше и ни меньше. Кто же, если не он? И когда же, если не теперь?..

А вот никогда.

Ольга Седакова

Мне невыносимо горько думать о том, что наши встречи с Сергеем Сергеевичем здесь, на земле, кончились. Что следующей встречи – в Москве, в Вене, в Риме, в Париже или в Тюбингене (это места, где нам приходилось бывать вместе в последние годы) – уже никогда не будет. Мне так же горько, совсем невыносимо знать, что больше не придет-

ся прочесть ничего нового, написанного Аверинцевым. Никто не писал до него и не напишет после ничего похожего, о чем бы ни шла речь в каждом случае – о переводах Жуковского или о Ефреме Сирине, о происхождении формы акафиста или о «Царе Эдипе». Это при том, что редко кто был так мало озабочен собственной «оригинальностью», «непохожестью», пресловутым «страхом влияния». Такого рода заботы кажутся слишком суетными рядом с тем, чем он занят. Дело не в том, что его тексты сообщают знания (еще бы, и знания редкие, обширные и увлекательные!), но они сообщают нечто поважнее – они помогают не умирать заживо, они помогают не сдаваться тому «духу времени», который люди в каждое время считают чем-то совершенно особенным, необсуждаемым, небывалым прежде, но который во все времена одинаково враждебен одному: осуществлению человека.

Аверинцев видел вещи с особой точки зрения: с той, навстречу которой они раскрываются. Другие исследователи берут свои предметы мысли приступом, или заслоняют их собственными «концепциями», или орудуют ими, или говорят об их непроницаемости для нас – Аверинцев показывал нам мир смыслов самостоятельных и при этом готовых к собеседованию, к участию, к вниманию. Такая позиция неистощима и такой поворот речи никогда не перейдет в самоповторы. С такой точки зрения можно смотреть на самые разные вещи, и все они сообщат взгляду нечто новое и нужное. Не только теперь у нас нет ощущения, что Аверинцев уже сказал все, что мог, – мы не смогли бы решить так, если бы он продолжал жить и работать еще десятилетия. Он рано нашел этот ключ понимания вещей – чудесный ключ, не отмычку, – который открывает не только умственные, религиозные, художественные сокровища прошлого, но и события современности, еще не нашедшие воплощения. Не менее чудесно то, что он его не потерял, – как многие, пережившие раннее прозрение. Аверинцев – не музейный хранитель прошлого: и тогда, когда он пишет, скажем, о Плутархе, он мыслит о настоящем, из которого открывается и прошлое, и будущее, «и широта, и глубина, и высота». Этот ключ, я думаю, можно назвать Премудростью, которой он посвятил столько чудесных размышлений, – той библейской Премудростью, о которой сказано,

что она «дух человеколюбивый», иначе переводя, «дух, дружественный человеку».

Сергей Сергеевич любил строки Мандельштама:

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг –

и, мне кажется, произносил их как бы от первого лица. Несомненно, он понимал собственную жизнь как служение («служба понимания», его определение филологии) – и несомненно, он был прижизненным другом всех живущих. Мы слышим этот дружественный голос в его письме, в его обращении к читателю – доверяющем и уважительном, который так отличает его от почти всего, что пишется у нас, и не только у нас. Дружеское отношение предполагает отсутствие и высокомерного, и заискивающего отношения к другому, свободу и от страха перед ним, и от желания овладеть им. Это негативное описание дружбы; позитивное же состоит в реальной, глубокой заинтересованности другим. Дружеский голос Аверинцева прозвучал в том нелюдимом, ожесточенном, забитом и развязном обществе, каким стало наше к 70-м годам: это было неожиданнее, чем любой эпатаж, и в настоящем смысле бескомпромисснее.

В предисловии к последней изданной им книге (Псалмы Давидовы / Перевод С.С. Аверинцева. Киев: Дух и литера, 2003) Аверинцев говорит о простоте и сложности. «Потом (после простоты псалмов. – О. С.) придут сложные мысли, упорядоченные вероучительные тезисы. ...И благословенна эта сложность... И неправ был Лев Толстой, когда ему хотелось разрушить сложные системы догматики, и литургии, и дисциплинирующих условностей культуры – ради опрощения. Но ведь когда-то сердце просит простоты: не опрощения и не упрощения – первоначальной простоты». Сложность и простота не относятся как добро и зло, вот что говорит Аверинцев. Есть благо сложности и благо простоты. Сердце когда-то просит одного и когда-то – другого. Зло в другом: в дурном упрощении и в дурной запутанности. Дружелюбный дух Премудрости не терпит неразличения. «Различай!» – одно из любимых слов Аверинцева. Этому он нас и учил. Не «реагируй», а «различай». Не бойся сложного, поскольку без него мы можем возвести напраслину и

на мир, и на себя самих. Не бойся простоты, поскольку без нее жизнь обрывается. Множество вещей, которые принято считать противоположными (как эти простота и сложность) и которые делят людей на непримиримые партии, – новаторов и традиционалистов, космополитов и почвенников, рационалистов и интуитивистов, и т. п. и т. п. – в мысли Аверинцева не противоречат друг другу. Выбор происходит не между ними: между ними происходит плохой, сектантский выбор (Аверинцев любит напоминать, что у дьявола две руки, он может предложить нам противоположные соблазны: а, не хочешь кошмарного хаоса? у меня есть еще и жутковатый «порядок»!). Но еще более неприятно Аверинцеву в таких случаях «беспринципное совмещение» бросающих друг другу вызов вещей. Это цинизм, «а на смену цинизму не приходит уже больше ничего. Ибо в нем выражает себя последнее, окончательное, безнадежное растление» (Псалмы. С. 143).

Настоящий выбор «для тебя, читающего, и меня, пишущего» происходит между верностью и предательством. Здесь ничего «сложного» или «амбивалентного» нет. То слово Псалмов, которое традиционно переводится как «правда» или «истина», Аверинцев передает словом «верность»:

ибо до небес – милость Твоя,
до облаков – верность Твоя.

Посильная верность этой Верности – это то, чего он хотел от себя, на что надеялся в своих друзьях-собеседниках, которыми, как уже говорилось, были все живущие.

Никита Струве

Наше общее чувство сиротства – двойное: ушел, скажем прямо, большой, незаменимый человек, а для многих из нас и незаменимый друг. Среди прочих даров Сергей Сергеевич обладал и редким даром дружбы.

Пытаясь определить значение Сергея Сергеевича в русской культуре, я говорил себе: он вроде бы Жуковский

наших дней! С той разницей, что Жуковский стоял у колыбели русской культуры, а Аверинцеву суждено было преодолеть ужасающее безвременье, когда культуру сознательно разрушали. К Жуковскому Аверинцев питал особую любовь, писал о нем, чувствовал с ним родство. И не только потому, что оба исключительные поэты-переводчики, их объединяла через поколения христианская вера, о которой они свидетельствовали и жизнью своей и словом.

Большой ученый, библеист, патролог, тонкий литературовед, поэт, возродивший традицию духовных стихов, Аверинцев предстоит перед моим взором не в меньшей мере как смиренный ученик и яркий свидетель Христа. Лучи веры освещали все его творчество.

Встреч у нас с ним было много – в Париже, Москве, Лондоне, Бергамо, на разных конференциях, но почти всегда под сенью Церкви. Так было в сентябре 2002 года на конференции о семье в Киево-Печерской Лавре. Мы жили с ним и с Натальей Петровной в соседних комнатах лаврской гостиницы и общались непрерывно. Незабываема совместная воскресная поездка в сельский приход о. Филарета под Киевом, где мы с ним, один после другого, читали перед литургией службу «часов». И в те же дни имело место его триумфальное выступление в Киево-Могилянской Академии о «языке Библии», когда по окончании лекции тысячная толпа, в основном студентов, без устали ему рукоплескала.

Или встреча в Париже в марте того же года – в связи с конференцией о поэзии в Сорбонне – мы общались после службы во дворе Александро-Невского собора, когда вдруг, без предупреждения, Сергей Сергеевич стал читать «Отче наш» наизусть по-арамейски – и кому? Нашей полуторагодовой внучке!.. Большой ученый со светлой, детской душой:

Поистине, как голубь чист и цел
Он духом был, хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел –
Но веял в нем дух чисто голубиный,

– как сказал о Жуковском Тютчев.

Юрий Фрейдин

Передо мной пожелтевший от времени экземпляр маленькой, но легендарной книжки – «Плутарх и античная биография». Тридцать с лишним лет назад она получила премию организации, о которой теперь мало кто вспоминает, – премию Ленинского комсомола и сделалась знаменитой, сделалась событием. О нем не могли забыть много лет, настолько тема книжки и личность ее автора были далеки от всего, что хоть как-нибудь было связано с Ленинским комсомолом. Автор книги не состоял не только в комсомольской, но, кажется, и в пионерской организации, что для человека, родившегося в черно-памятном 1937 году, было совсем уже странно и необычно.

Но это был особенный человек и особая биография.

Многие смогут рассказать об этом лучше и подробней меня. Я же прочту дарственную надпись на экземпляре: «Дорогой и многоуважаемой Надежде Яковлевне эту ненужную книжку с рожей на обложке с поклоном кладет в руки С.А.», – Серёжа Аверинцев, как называла его Н.Я.

На обложке в неровном округлом медальоне, действительно, резкий стилизованный воинственный профиль, увенчанный лавровым венком, – скорее Данте или Тассо, чем тот провинциальный Плутарх, многовековой учитель европейского юношества, которого вновь открыл тысячам русских читателей Сергей Сергеевич Аверинцев.

Книжка имеет еще и почтительное посвящение: «Моей матери Наталии Васильевне Аверинцевой...»

Вот вместе с Наталией Васильевной я и увидел впервые Сергея Сергеевича в доме Н.Я. – не на кухне, а в единственной комнате, и Н.Я. не лежала, а сидела на своей тахте, в «парадном» платье, закинув ногу за ногу, с папиросой в руке и с пепельницей поблизости. Наталия Васильевна сидела в единственном кресле, а Сережа примостился на принесенной из кухни табуретке. Я принес себе вторую и пристроился в уголке. Это был парадный прием: Сергей Сергеевич настолько почтительно относился к своей маме,

а Н.Я. так ценила и любила своего Сережу, что не могла позволить себе принимать их на кухне, где обычно размещались ее посетители.

Потом Сергей Сергеевич приходил с женой Наташей, и Н.Я. все стремилась что-нибудь ей подарить...

А потом Н.Я. умерла, и на ее похоронах между Сергеем Сергеевичем и отцом Александром Менем произошел краткий обмен знаменитыми репликами про «ежи-ков»...

Так что для меня и для многих вокруг Н.Я. Сергей Сергеевич, античник, медиевист, поклонник и исследователь творчества Вячеслава Иванова, а этого поэта Н.Я., как известно, откровенно не любила нелюбовью, унаследованной от Анны Андреевны Ахматовой, – был настолько привычно связан с мандельштамовским ореолом, что я совсем не удивился его занятиям мандельштамоведением с конца 80-х годов.

В ходе первой попытки мандельштамовского академического проекта мне случилось по организационным делам несколько раз разговаривать с Сергеем Сергеевичем, и, право, даже я, при моей удачливости на начальников, не могу припомнить руководителя менее обременительного, чем Сергей Сергеевич. И все эти тридцать с лишним лет он «всегда был», как сказала когда-то Н.Я. про Анну Андреевну.

И была, хотя все реже и реже, возможность послушать его выступления – взволнованные, вдохновенные и всегда открывающие новое, и чтение его собственных стихов или новых переводов Давидовых псалмов или услышать, как венские студенты боятся сдавать ему экзамен – ему, в моем представлении абсолютно неспособному кого-нибудь обидеть...

Знали, что он много болел и мужественно переносил и преодолевал болезни.

Казалось, одолеет и эту.

Он был всегда нужен не только его близким, его друзьям, но и нам, его современникам, людям, которым посчастливилось издалека слышать, изредка с ним общаться – нужен как человек, как ученый, как имя, как легенда...

Таким он и останется навсегда в наших сердцах.

Роз-Мари Циглер

«Не сравнивай: живущий не сравним»

В цикле лекций Сергея Сергеевича Аверинцева об О. Мандельштаме в летнем семестре 2000 года мне особенно запомнилась одна лекция об этом стихотворении Мандельштама. Сергей Сергеевич говорил о том, что нельзя сравнивать настоящее с прошлым, потому что прошлое кажется нам лучше по сравнению с сегодняшним днем. Особенно мне запомнилась интерпретация Сергея Сергеевича, что каждое время так же реально, как и все другие. Я тогда не могла с этим согласиться, я думала о погибших в сталинских и нацистских концлагерях и о том, что и Мандельштаму предстояла такая же участь, о чем он, несомненно, знал. Но, по-видимому, и Мандельштам и Сергей Сергеевич имели тут в виду превосходство жизни, живучести – надо всем, что то или другое время еще в себе несло, даже если это и означало полную обреченность.

Когда в январе 1993 года в Вене Сергей Сергеевич выступил с докладом на конкурсное место профессора Венского университета, он говорил на тему «Die konfessionellen Typen der christlichen Kultur im Denken von O. Mandel'stam»¹. Его блестящий доклад и последующая дискуссия – все на немецком языке – были решающими для получения им абсолютного предпочтения. На его лекцию кроме других пришел и Ефим Григорьевич Эткинд с женой. Вечером я пригласила гостей в ресторан «Шубертштюберль» недалеко от университета. Еще с нами были Нина Сергеевна Павлова из ИМЛИ, Лиза Маркштейн, профессор Александр Флакер из Загреба. Говорили, среди прочего, о диалогичности у М. Бубера и у М. Бахтина и об их преемственности. Сергей Сергеевич рассказал, какими хитрыми способами ему в советское время удалось получить сведения об актуальных вопросах теологии и религиозной жизни различных христианских религий на Западе – из источников, общедоступных в Ленинской библиотеке в Москве. Подобные темы можно, например, найти и в речи Сергея Сергеевича по поводу присвоения ему премии Лукаса в Тюбингене в 1995 году «Die Solidarität in dem verfeimten Gott».

Первое время после того, как Сергей Сергеевич переехал в Вену, он жил в VIII районе Вены, в Иосифштадте. Оттуда открывается дивная панорама города с зелеными крышами и куполами. При виде этой панорамы Сергей Сергеевич говорил о Вене как о женственном, мало того – девственном городе. Он также называл ее третьим Римом. Он любил Вену, особенно ее старинные кварталы в центре, кварталы около «Хайлигенкрейцергоф» и старого университета. Часто говорил он и об определенном виде, открывающемся из центра, близ церкви «Мария на берегах» на Каленберг, который он запомнил еще из короткого пребывания проездом в Вене в 1979 году. Он любил показывать любимые части «своей» Вены своим гостям, например Дмитрию Вячеславовичу Иванову.

Во всех временах, культурах и языках Сергей Сергеевич был дома и чувствовал себя дома. Наверное, ему было бы не так уж и трудно ощутить себя австрийцем после того, как ему как профессору университета автоматически присвоили австрийское гражданство в 1994 году. Он говорил, что ему нетрудно принадлежать к культуре, к которой принадлежали Моцарт и Шуберт.

Аверинцев любил и окрестности Вены, ценил их красоту и чистоту природы. Однажды мы поехали за город на Каленберг, интересовавший его еще и потому, что там висит памятная доска австрийскому поэту Иосифу Вейнгеберу, которого он, по-видимому, ценил. Другой раз мы посетили Штифт Хайлигенкрейц, где он все собирался когда-нибудь провести отпуск. Но, по-видимому, Сергей Сергеевич не отдыхал никогда. Больше всего он ценил такое сочетание культуры с природой, какое находил в ландшафтах Италии или в Греции.

Несколько месяцев по приезде в Вену Сергей Сергеевич с семьей жили недалеко от университета в квартире В. Крауса, председателя Австрийского литературного общества и основателя нескольких австрийских библиотек во всем мире. В. Краус очень ценил Сергея Сергеевича и всячески помогал ему. Вторую квартиру – ту самую, где он прожил до самой смерти, Сергей Сергеевич и Наталия Петровна нашли сами, по газетному объявлению. Это была редкая удача, ибо квартира расположена в прекрасном районе и буквально напротив университета. В ней ученый мог спокойно работать.

Областью научной работы Сергея Сергеевича в Институте славистики Венского университета в первую оче-

редь была русская литература и культура в их европейском контексте. В течение почти десяти лет он читал общий курс лекций о русской литературе – от ее истоков и до сегодняшнего дня. Кроме того, он читал спецкурсы и вел семинары на следующие темы: «Религиозные мотивы в русской литературе», «Русский символизм и постсимволизм», «Русские славянофилы и польский мессианизм», «Поэзия Анны Ахматовой», «Русский стих в славянском контексте», «Вячеслав Иванов: аспекты русского модернизма», «Русская сакральная диглоссия», «Неоклассицизм в русской поэзии от Ходасевича до Бахыта Кенжеева», «Русский модернизм», «Проза Достоевского», «Пастернак в контексте времени», «Поэзия и проза Пушкина», «Мандельштам: поэзия и проза», «Проза Лескова», «Проза Гоголя», «Русский стих», «Древнерусская агиография», «Цветаева: поэзия и проза». Еще он прочел цикл лекций на тему «Поэты как переводчики из иноязычной поэзии».

Студенты и коллеги Сергея Сергеевича очень хорошо относились к нему, ценили в нем не только превосходного ученого, но и его человеческую теплоту, скромность и чувство юмора. Студенты любили его еще и за то, как он читал лекции, как дружелюбно-естественно относился к ним, шутил с ними и не был строг. Кроме того, они ценили Аверинцева за частое цитирование из русской литературы. Он лишь тогда сердился на них, когда они неправильно ставили ударение – и особенно сильно, если из метра или ритма в тексте было заведомо ясно, куда ставить ударение. Студенты надеялись на его выздоровление, ждали его прихода, а когда он умер, они говорили мне, как им его не хватает.

Сергея Сергеевича и в советские времена часто и охотно приглашали на различные научные конференции, симпозиумы и т. д. Эта традиция продолжилась и в Вене, он и Наталия Петровна много ездили, не страшась при этом поездок и в самые отдаленные места, – единственно ради профессионального и человеческого общения. Многие свои доклады он с удовольствием читал и по-немецки. Например, доклад о Кафке в Вене «Kafka und die biblische Alternative zum allgemeinen europäischen Typus der narrativen Kultur»², который имел значительный резонанс. На симпозиуме в Кирлинге в 1996 г. он выступал с докладами на темы «Humorlosigkeit des Zeitgeistes»³, «Globalisierung und Kul-

tur»⁴, а часто и на темы из области религий. При этом Сергей Сергеевич в Вене необычайно много, быстро и плодотворно работал, писал статьи, готовил лекции и доклады.

Складывалось впечатление, что больше удовольствия он получал, когда сам писал или переводил стихи. Он снискал немалую известность как переводчик Ветхого и Нового Завета. Превосходно зная и чувствуя немецкий язык, он переводил и самых трудных немецкоязычных поэтов, таких как Гельдерлин, Тракль или Бенн. Он читал лекции о переводе, готовил об этом монографию. Кажется, это была последняя книга, над которой он работал: отдельные главы в ней посвящались И. Крылову, В. Жуковскому и И. Бродскому.

Критически относясь к современным поэтам, он выделял среди них и по-настоящему ценил творчество Ольги Седаковой и Бахыта Кенжеева. Ольга Седакова впоследствии два раза выступала с чтением стихов в Институте славистики. Побывали у нас при Сергее Сергеевиче и Андрей Вознесенский, и Геннадий Айги, но они как поэты интересовали его значительно меньше.

Впрочем, о научных докладах, как и о докладчиках, он нередко выражался весьма критически, не скрывая того, что ему казалось менее удачным или даже неудачным. С другой стороны, он всегда был готов поддерживать молодых талантливых научных исследователей или авторов. Он любил дискуссии после докладов или во время своих семинаров и всегда призывал к ним слушателей. То, что в австрийских университетах дискуссии не так уж и приняты, как это имеет место в России, оказалось для него неожиданностью.

Как человек своей страны и своего поколения, Сергей Сергеевич любил ходить по букинистическим магазинам. По дороге между Институтом славистики и домом, где он жил, в подвале находится один такой букинист. Сергей Сергеевич регулярно заходил в эту «Яму», где его уже хорошо знали.

Но еще больше, чем старые книги, Сергей Сергеевич любил пожилых людей. Не раз он рассказывал о том, что в детстве жил в окружении старых людей и много общался со стариками, любя и ценя это общение, черпая из их рассказов множество интересного. Через них он был связан с дореволюционной культурой, с правдивой историей и повседневной жизнью, что помогало ему сравнительно долго держать дис-

танцию от советской действительности. Родители Сергея Сергеевича и сами принадлежали к дореволюционной русской интеллигенции. Его отцу, когда Сережа родился, было уже далеко за 50 лет. Ученый рассказывал, что отец на прогулках по Москве ему показывал то, что именно раньше находилось там-то и там-то, например издательство М. Каткова.

Сергей Сергеевич очень любил животных, особенно кошек. Он говорил, что у них в квартире в Москве и на даче множество кошек, и всегда рассказывал о них и об их судьбах. Вспоминал Аверинцев и о старом псе, который жил у них. Он всегда кланялся моей кошке и птицам и расспрашивал о них. Любовь к кошкам связывала его, например, с Вячеславом Ивановым и с его сыном Димитрием Вячеславовичем, но и с Римом, вообще с Италией, где много кошек.

Как известно, Сергей Сергеевич был хронически болен, но в общении с ним не возникало впечатления больного человека. Наверное, он был закален и многое выдержал. Могу сказать, что в течение 10 лет в Вене ученый не отменил почти ни одной лекции по болезни. В первые месяцы 2003 года он, однако, говорил о том, что чувствует себя не очень хорошо. По-видимому, он был простужен и не мог вылечиться.

Последний раз я видела Сергея Сергеевича перед пасхальными каникулами в институте. Он заходил в мою комнату, чтобы попрощаться, сказав, что после Пасхи они поедут в Рим. Спрашивал, над чем я работаю, и я ответила, что готовлю доклад о месте Маяковского в системе культуры русского модернизма для конференции в Загребе. Я знала, что Аверинцев не очень любит Маяковского, но на этот раз он высказался о нем как о хорошем поэте, так как его стихи запоминаются, а это признак настоящей поэзии.

Уже тогда и много раз до того Сергей Сергеевич заводил разговор о Димитрии Вячеславовиче, здоровье которого разрушалось. Он говорил и о том, что А. Шишкин с женой в Риме проявляют к нему и к квартире-музею Вячеслава Иванова в Риме ужасающе небрежное отношение, что ему, Сергею Сергеевичу, позвонили из Рима и попросили его о помощи для Димитрия Вячеславовича. Сергей Сергеевич и Наталия Петровна всячески помогали ему. Сергей Сергеевич всегда очень волновался, когда затрагивал эту тему, извинялся, но считал нужным, чтобы об этом знали и

другие люди. 3 мая, узнав, что в Риме у Сергея Сергеевича был инфаркт и он в коме, я сразу подумала, что это случилось из-за волнений в связи с Дмитрием Вячеславовичем.

Когда в конце лета Сергей Сергеевич был перевезен в Вену, мы его в больнице навестили. Он не мог шевелиться, только двигал глазами и немного головой. Сложилось впечатление, что он нас узнал и понимает, о чем мы говорим, но вскоре он устал и ушел в себя. В другой мой приход Сергей Сергеевич явно меня узнал и со вниманием смотрел на меня, когда я ему что-то говорила. Его лицо почти не изменилось за время болезни, что давало хоть какую-то надежду на регенерацию мозга. Наверное, он мужественно боролся за жизнь, но потом сдался и 21 февраля 2004 года вечером умер. Мне кажется, что все это время он продолжал мыслить.

¹ «Конфессиональные типы христианской культуры в мышлении О. Манделштама» (нем.).

² «Кafka и библейская альтернатива общеевропейскому типу нарративной культуры» (нем.).

³ «Отсутствие чувства юмора у духа времени» (нем.).

⁴ «Глобализация и культура» (нем.).

Д. Черашняя

OMNIA MEA...

(Из переписки с С.С. Аверинцевым)*

И. Связующим звеном была Елена (Нелли) Александровна Миллиор (1900–1978), «ровесница века», ученица Вяч. Иванова по Бакинскому университету, аспирантка по отделению классической филологии ЛГУ (научные руководители С.А. Жебелёв, С.Я. Лурье); в 1937–1939 и 1943–1960 годах доцент Удмуртского пединститута.

* Впервые: *Черашняя Д.И.* Сергей Сергеевич Аверинцев (1938–2004) // Кормановские чтения: Материалы Межвуз. конф. (Ижевск, апрель, 2004). Ижевск, 2005. Вып. 5. С. 217–230.

В январе 1978 года уникальная библиотека Елены Александровны, согласно ее последней воле, была поделена между ижевскими друзьями (числом семь). Часть редчайших книг (как, например, Немецко-греческий словарь и др.), которые никому из нас непосредственно не могли пригодиться (а Елена Александровна часто повторяла: книга должна быть в работе), было решено предложить Сергею Сергеевичу Аверинцеву принять в память их знакомства. О нем Елена Александровна не раз упоминала или подробно рассказывала письменно или устно.

Знакомство их состоялось, по-видимому, в 1971 году, во время конференции, о чем свидетельствуют две записи.

[Открытка из Ленинграда от 12.X.71]

Сегодня читала В<опросы> лит<ературы> 8–71 статью Аверинцева¹ (доклад его о том же слушала весной) – интересно.

[Адрес в записной книжке тех лет]

Аверинцев Серг. Серг. М-34 Бутиковский пер. д. 11 кв. 18. Г-6-68-23 [с пометой] (конфер<енция> антич<ников>).

[Открытка из Москвы от 26.XII.72]

Встреча с Серг<еем> Серг<еевичем> была необычайно интересной, речь шла о многом разном, однако мой «Пилат»² одобрения не получил. Объяснить в открытке невозможно, суд – справедлив. Видите, не все гладко, но ведь это закономерно.

[Открытка из Ленинграда от 30.X.73]

В М<оскве> повидалась с Серг<еем> Серг<еевичем>, Мих<аилом> Мих<айловичем>³, Алекс<андрой> Вениам<иновной> (ее покойный муж – основатель Евр<ейского> театра Грановский) и др.

[Письма из Москвы от 20.V.74 и о том же – из Ленинграда от 1.VI.74]

Встретилась я с С.С. Ав<еринцевы>м – была у него. Как всегда, было интересно и приятно. <...> Из всех встреч – самая значительная и приятная с С.С. Аверинцевым.

[Письмо от 15.X.75]

Я встретила хорошо⁴ – у В<иктора> А<ндрониковича>⁵ втроем, третий – Аверинцев.

О решении ижевских друзей Елены Александровны я сообщила С.С. Аверинцеву и вскоре получила ответное письмо (на штемпеле – 24.03.78):

«Глубокоуважаемая Дора Израилевна!

Сердечно благодарю Вас и прежде всего обращаюсь к Вам с просьбой: пожалуйста, напишите о кончине Елены Александровны. Я узнал об этом печальном событии только из Вашего любезного письма. Когда и как она умерла? Простите, если Вам больно писать.

Спасибо за книги. Если я никого не обделяю, я охотно их приму, как по их полезности для меня, так и в память о Елене Александровне. При этом я рад буду познакомиться с Вами. Единственная просьба: если Вы приедете летом, напишите, пожалуйста, недели за 2 или за 3 до того: большую часть лета я, если удастся найти дачу и все будет благополучно, думаю прожить под Москвой, очень регулярно навещаясь в Москву, но в мои планы входила еще короткая, в пределах недели, деловая поездка в Ригу. Поэтому мне надо заранее знать о Вашем приезде – чем раньше, тем лучше.

[Далее – домашний адрес, уже на просп. Вернадского, и телефон. – Д.Ч.]

С поклоном и благодарностью
С. Аверинцев»

Летом того же года, будучи в Москве, я позвонила Сергею Сергеевичу и услышала: «Я страшно рад Вас увидеть!» Совсем не политесная открытость поразила, хотя я понимала, что обязана ею Елене Александровне.

Внешнее впечатление – высокого роста, кабинетная сутулость, внимательный и мягкий взгляд, предупредительность естественная. Познакомил со своей мамой (они похожи, тот же овал лица).

В кабинете, кроме большого стола, словно город из книг. Они поднимались от пола высотными сооружениями по всей комнате, но в их соотношении угадывался какой-то план: улицы, переулочки, в которых Сергей Сергеевич сво-

бодно и легко ориентировался. Вот он вернулся с книжкой в желтом коленкоре.

– Если Вы не очень плохо относитесь к поэзии Вячеслава Иванова, я бы хотел подарить Вам.

– Не очень плохо, – ответила я в тон.

Это был выпущенный в 1976 г. в Малой серии «Библиотеки поэта» сборник стихотворений и поэм со вступительной статьей Сергея Сергеевича, подготовленный к изданию Р.Е. Помирчим. Так завершился один из нижеследующих эпистолярных сюжетов.

[Письмо ЕАМ от 5.VI.73]

Знаете ли Вы, что В<ячеслав> Ив<анов>, Во-лош<ин>, кажется Кузмин и почему-то Иг<орь> Северянин выйдут в Малой серии б-ки поэта? Кому поручено изд. В<ячеслава> Ив<анова> – не знаю.

[Открытка от 9.VI.74]

Происходит много грустно-забавного: из избранных стихов Вячеслава ред<коллег>ия исключила 2-ю картину «Прометей» (1915 г.) по идеологич<еским> причинам⁶.

[Письмо от 27.IX.75]

Наверное Вы прочитали статью Аверинцева в ВопЛях <Вопросах литературы> № 8–75 о Вяч<еславе> Ив<анове>⁷.

[Письмо от 10.I.77]

Последняя новость: вышел сб<орник> Вяч<еслава> Иванова, я не видела. Буду попозже звонить, м<ожет> б<ыть> узнаю что-н<ибудь>. Поэтому пока прерываю письмо. Кн<ига> вышла, но для меня пока нет. «Ищите и обрящите».

[Письмо от 20.I.77]

Совершилось большое событие литературной жизни, 19-го янв<аря> в Доме писателя (секция переводчиков) состоялся вечер памяти В<ячеслава> И<ванова> – 110 лет со дня рождения, первое признание его значения со времени его отъезда в Италию в 24 г. Предполагалось, что начало положит Аверинцев, но он заболел, ждали из М<осквы> и

Вяч. Всеволодовича Иванова, сына писателя, он тоже не приехал.

В<о> вступит<ельном> слове была дана общая характеристика значения В<ячеслава> И<ванова> в истории русской культуры XX в. Затем выступил Виктор Андроникович <Мануйлов>, очень обстоятельно и ярко. Важно, что он документально доказал, что В<ячеслав> И<ванов> не был эмигрантом, не только уехал, но и задержался в Ит<алии> с разрешения и долго (до 30-х гг.) сохранял сов<етское> подданство. Ни на какой контакт с ит<альянскими> фашистами не пошел. В<иктор> А<ндроникович> рассказал о его необыкновен<ной> личности, способности читать мысли, огромном влиянии как учителя в широком смысле, о его пребывании в М<оскве>, встречах с Луначарским, Маяковск<им>, Брюсовым и др. После В.А. слово получила я. Говорила в другом жанре, больше личного, о его работе со студентами, как он принимал экзамен, как требовал непрерывного духовного напряжения, не терпел пустых дней. После перерыва выступил Альтман. – Разговоры с В. И. на литературные темы⁸. Был еще доклад о переводах В<ячеславом> И<вановым> Новалиса, чтение стихов. Народу собралось много, прошло оч<ень> хорошо. Совпало с выходом его стихов в Малой серии. Словом – праздник, торжество.

И грустно, и удивительно, что обрету я эту книгу, как и многое в своей жизни, благодаря Елене Александровне. На форзаце надпись: «Дорогой Доре Израилевне с поклоном от С.А.». И еще один тогдашний дар – отдельный оттиск статьи «Традиция греческой "диалектики" и возникновение рифмы» из «Контекста-1976». Надпись по латыни в соответствующем стиле: «Dominae clarissimae maxima cum reverentia d. d. d. S.A.» (Светлейшей госпоже с совершенным уважением дает, дарит, посвящает С.А.).

Полгода спустя пришло второе письмо:

«Дорогая и глубокоуважаемая Дора Израилевна, я не знаю, как мне благодарить Вас за доставленную мне радость – или какими словами просить у Вас прощения за то, что так запоздал с ответом. Конец декабря и январь были у нас довольно трудными, мы все болели, а мое нездо-

ровье затянулось до невозможности надолго, приведя в страшный беспорядок мои просроченные срочные дела – но, конечно, это объяснение, а совсем не оправдание.

Еще раз спасибо, и простите меня!

Я недавно познакомился с одной ленинградкой, которая часто бывала с Нелли Александровной в последние недели ее жизни и рассказывала о завершении ее духовного пути⁹.

Дора Израилевна, если Вы будете в Москве, пожалуйста, заходите к нам. Наше семейство должно к этому времени увеличиться на одного маленького, кричащего человека – а Fräulein Maria сильно вырастет.

Жизнь моя идет нелепо: как я уже сказал, мне пришлось много проболеть, я как-то не могу поправиться, с делами не управляюсь, и мною овладевает черная ипохондрия.

С низким поклоном и выражением
самой искренней благодарности

С.А.»

Такое вот письмо, домашнее, щедро открытое к общению, мною, однако, признаваемому как совершенно незаслуженное и – Боже упаси! – как бы навязанное дарением книг... Продолжение последует спустя несколько лет.

П. Готова в 1984–85 годах для альманаха «Уральский библиофил» очерк «И не кончается симпозион», посвященный описанию библиотеки и рукописного архива Е.А. Миллиор, я попросила Сергея Сергеевича откомментировать письмо и открытку Вячеслава Иванова, отправленные им в 1925 году из Рима в Баку, а также перевести с греческого дарственную надпись Вяч. Иванова на его книге «Дионис и прадионисийство».

В ту пору с чередой смертей престарелых руководителей страны прошла волна переименований городов, которая накрыла (к счастью, ненадолго) и наш двухсотлетний Ижевск. Я сообщила Сергею Сергеевичу по телефону, что почту надо теперь слать не на Ижевск, а на Устинов. «Как?» – переспросил он. – «Устинов!» Помолчал и выдохнул: «О Господи!..»

18 октября 1985 года пришел пакет с материалами и сопроводительной открыткой, изображающей Монетный двор Херсонеса и херсонесские и римские монеты III в. до н. э.

(что было, кстати, знаковым, поскольку Елена Александровна в 1950-е годы ездила на раскопки в Ольвию и Херсонес). Текст на обороте открытки:

«Дорогая Дора Израилевна!

С покаянным чувством посылаю Вам требующееся. Для меня большая радость – сделать хоть что-нибудь для Вас и для священных теней В.И. и Е.А.

Хотелось бы увидеться.

12.X.85

С самым искренним уважением

С.А.»

Приведу переводы и комментарии.

Дарственная надпись Вяч. Иванова на книге «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923) в переводе с греческого и с комментариями С.С. Аверинцева.

Надпись на книге:

«Нелли

Νελλίδι, τῶν μελετῶν προμύχῳ, γλαυκώπιδι κόρη,
ὡς ἤσκησα ἕων ἀρχέχορος θασον.

В.И.»

(Нелли, первой воительнице среди ученых бесед, совоокой деве, – то, в чем я, хороначальник, наставлял фиас юных).

Совоокая – как известно, эпитет Афины Паллады, причем традиционный перевод эпитета гадателен; возможны переводы – «светлоокая», «с блистающими очами».

Фиас – культовое сообщество, чаще всего дионисийского характера*.

Вот текст письма Вяч. Иванова к Елене (Нелли) Александровне Миллиор с комментариями С.С. Аверинцева.

* С фиасом сопоставима «Чаша» Вяч. Иванова – бакинский круг его друзей и учеников (см. об этом: Вестник УдГУ. 1995. С. 47, 48, ил.; также: Вестник УдГУ. 2000. № 10. С. 102, ил. 2, 3).

«8 марта 1925

Дорогая умница, Нелли, будьте и впредь умницей! Пишу эти несколько строк, чтобы Вы услышали мой голос и выдержали мой испытующий взгляд. Верны ли Вы науке, Элладе, dem großen Ernst des geistigen Strebens?¹ Сентиментальное – не увлажняет ли, не расслабляет ли Вас? Не откажите представить подробнейший отчет о Ваших университетских делах и планах, как и обо всей Вашей умственной и – если хотите – духовной работе.

Для моих личных нужд и интересов не откажите также в пространных сообщениях об университетской жизни и, в частности, о словесном отделении, которое, по моему представлению (никто мне ничего не пишет толком, и я принужден довольствоваться гипотезами) принадлежит ныне Вост<очному> факультету.

Мне нужно также иметь, по возможности, перечень моих книг, перешедших в университетскую библиотеку и оставшихся у Сергея Витальевича*, которого я просил о том написать. Без некоторых умираю. Ибо их нужно иметь у себя, а не в библиотеке. Мой бедный 2-томный лат<инский> словарь Георгеса!² A Rhode's «Psyche»!³ Лучше и не вспоминать... Денег нет, обзаводиться утраченным нельзя: Neque me miserum!⁴ Только что ушла от меня милая девушка, которую я учу по-гречески, потому что она жаждет научиться... Держите высоко светоч гуманизма. Это нужно веку. Я не гуманист по миросозерцанию, но всегда буду свидетельствовать,

ὅτι καλὸν φίλον ἔστι, ὃδ' οὐ καλὸν οὐφίλον ἔστι...⁵

Итак, будем стремиться «раждать в красоте»⁶,
и да здравствует Платон.
Ваш Вяч. Иванов».

¹ Великой серьезности духовного устремления (*нем.*).

² *Georges K.E. Ausfrihriches lateinisch-deutsches Handwörterbuch.* Leipzig, 1869 и др. переиздания.

* С.В. Троцкий (см.: Вестник УдГУ. 1995. С. 31–37).

³ *Rhode E.* Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube. («Психея. Культ души и вера в бессмертие»). Bd. I–II. Freiburg in Breisgau – Leipzig, 1890–1894.

⁴ Увы мне несчастному! (*лат.*).

⁵ Что прекрасно, то и мило, а что не прекрасно – немило (*греч.*).

[Этот гекзаметр взят из Феогида, стих 17; в переводе Адриана Пиотровского:

Зевсовы дщери, Хариты и Музы, что некогда, в терем
Кадмов венчальный войдя, дивную подняли песнь:
«Вечно прекрасное мило, а что не прекрасно, немило» –
Песню такую в ту ночь пели бессмертных уста.

(*Зелинский Ф.Ф.* Древнегреческая литература эпохи независимости. Часть вторая. Образцы. Пг.: Огни, 1920. С. 88.)]

⁶ Выражение из Платона, «Пир», 206 с. [у В. И. – явно старомодное «раждать»]

Текст на обороте римской открытки Вяч. Иванова, а также расшифровка и перевод надписи на лицевой стороне:

«Под аркою рельефное изображение из Иерусалимского храма среди палестинских трофеев, несомых легионерами. За триумфальной аркой виден Палатин. Привет кабинету классической филологии, в котором висит то же изображение.

Счастливого нового года, дорогая Νελλίς. Вашего триумфа Вашей выпускной работы желает ревниво относящийся к Вашим научным занятиям

Вяч. Иванов.»

[На почтовом штампе: 29.XII.1925. Roma.]

Надпись на арке Тита, приведенная на открытке: Senatus Populusque Romanus Divo Vespasiani filio Vespasiano Augusto. «Римский сенат и народ божественному Титу, сыну божественного Веспасиана, Веспасиану Августу» (примечание С.С. Аверинцева).

Альманах «Уральский библиофил» с описанием архива и библиотеки Е.А. Миллиор выйдет в свет в Южно-Уральском книжном издательстве в 1989 г. Огорчительным оказалось лишь то, что за отсутствием у наборщиков греческого шрифта цитата из Феогнида в письме Вяч. Иванова была опубликована сразу в переводе (правда, заключенном в угловые скобки); неловко было посылать книгу Сергею Сергеевичу... Но этот недочет впоследствии будет устранен.

III. В 1994–1995 годах, с приближением 95-летия со дня рождения Е.А. Миллиор, активизировалась обработка ее ижевского архива (комментирование автографов и писем); он пополнился публикациями ее эссе о Булгакове в периодической печати, воспоминаниями о ней; материалами из ленинградской части ее архива (РГАЛИ, СПб.). Готовился к изданию спецвыпуск «Вестника Удмуртского университета», посвященный Елене Александровне, и в его формировании участвовал Сергей Сергеевич. Дневниковые записи тех лет позволяют сегодня восстановить наше общение по этому поводу.

На моих путях в Воронеж (III Мандельштамовские чтения, 1994) и обратно, через Москву, состоялись два телефонных разговора, суть которых (вкратце и полужитатно) сводилась к следующему.

28 мая. Трубку взяла его жена Наталья Петровна:

– Он болен, но будет огорчен, если не поговорит с вами.

[Наш разговор о «Вестнике»]: Сергей Сергеевич сказал, что напишет несколько страниц воспоминаний, «хотя плохая память на такого рода» события. – День ее рождения втроем с Виктором Андрониковичем Мануйловым. – Вместе ходили на «Башню»¹⁰ – из первых. Жильцы были недовольны, не хотели пускать, но Нелли Александровна со свойственной ей решимостью и волей проникла и мы за ней. – Нужно связаться с Васей Рудичем¹¹. – Я поговорю с Натальей Юрьевной Сахаровой, которая была рядом с Нелли Александровной перед ее кончиной и была свидетелем ее духовного преображения.

5 июня. [Разговор о Мандельштамовских чтениях. Сергей Сергеевич предполагал в них участвовать, но не

смог по болезни, однако передал организаторам свой доклад, текст которого сын отвез на вокзал, к поезду. В начале Чтений было оглашено обращение С.С. Аверинцева как председателя Мандельштамовского общества ко всем участникам, но его доклад (включенный в программу одного из заседаний, которое как раз мне поручено было вести) не прозвучал, так как в самом начале конференции было принято общее решение не зачитывать доклады отсутствующих. Мне, к сожалению, досталось сообщить об этом Сергею Сергеевичу, невольно огорчив его]. В продолжение разговора о «Вестнике»: Сергей Сергеевич сказал, что называет Елену Александровну Нелли: «Мне кажется, в этом аромат эпохи Серебряного века».

13 октября позвонила из Ижевска: С.С. сказал, что не написал. Астма. Во вторник едет в Вену. Читать лекции. Целый семестр. – Спросил, можно ли обождать до декабря. – С Н.Ю. Сахаровой не разговаривал, но к ней можно обратиться, сославшись на него. – Дмитрия Вячеславовича¹² должны оперировать. – На «Башню» тогда поднимались вторым – с Васей Рудичем. Связей с ним сейчас нет. – Нет ли факса университета? – Я, может быть, из Вены пришлю, но немного... Хотя я сейчас пишу быстрее, но телесные недомогания... Мне совестно подумать, сколько Вам будет стоить этот разговор, но в двух словах скажите о себе, как Вы.

Я: Работаю, и в этом все [о Карсавине, о «Поэме о смерти»].

С.С.: А я о Вячеславе Иванове пишу. Не знаю, что будет.

Я: Статья к чему-нибудь или книга?

С.С.: Думаю, что это будет книга. Какие-то договоренности с издательством «Искусство».

Я: Без вас не мыслю «Вестника», он будет неполным.

С.С.: Спасибо. [Просил до вторника сообщить факс университета. Был еще один мой звонок – с номером факса и пожеланиями в дорогу. С.С.: Целую вашу руку.]

В январе–апреле 1995 г. был ряд телефонных переговоров с Н.Ю. Сахаровой (она напишет для «Вестника» удивительные воспоминания о последних днях Елены Александровны¹³) и сыном Сергея Сергеевича; какие-то неурядицы с fax'ом. 28 апреля Наталья Юрьевна сообщила мне,

что Сергей Сергеевич через нее посылает мне свою статью, и вскоре, 6 мая, наконец-то я ее получила.

Как мы поднимались на «Башню» Вяч. Иванова

Елена Александровна Миллиор... впрочем, я никогда не называл ее так, ни в глаза, ни тем паче в мыслях. В каком-то из первых разговоров, может быть, в самом первом, она произнесла свое имя из поры молодости, из того времени, которому не переставала принадлежать, – «Нелли»; и я сейчас же испросил разрешение, коим дорожил и пользовался до конца, обращаться к ней не иначе, как «Нелли Александровна». Я любил окружавший ее воздух того, иного времени, когда девушки в России назывались «Нелли». Мне тогда еще были неизвестны обращенные к ней стихи ее учителя Вяч. Иванова:

Какая светлая стезя
Открыта мысли, сердцу Нелли...

Она была поразительно молода – моложе нас всех. И она оставалась, в общем, поразительно, образцово свободна от уныния. Она твердо знала, что не может, не может быть ни униженной, ни жалкой; и в этом она была достойной ученицей Вяч. Иванова, который тоже сумел в римском изгнании, в уединении, схоронив свою Россию и свой мир, оставшись без читателей и сотоварищей, решительно не стать жалким. Какой пример для нынешних, что, кажется, рождались обиженными!

Уже не припомнить, в первый или не в первый раз, но я повстречал ее в Питере у кумрановеда и чудного человека Иосифа Давыдовича Амусина. И вдруг она объявила, что у нее день рождения, и позвала нас всех к Виктору Андрониковичу Мануйлову, тоже бакинскому питомцу Вяч. Иванова, и мы уже ехали через город – к нему, естественно, чуть удивленному нашим появлением, но по сути дела довольному. Такова уж была она: то, что в другом было бы озадачивающей бесцеремонностью, было в ней той спонтанностью, которую обычно в нашем унылом мире сохраняют лишь дети и от которой, в конце концов, всем бывает только хорошо. Велел же ей Вяч. Иванов идти «на Дионисовы свирели», да еще предупредил:

Кому оне однажды пели,
Тому нейти на зов нельзя.

Вот она и шла, решительно и прямо. Как-то она предложила – подняться на знаменитую ивановскую «башню», на которой сама она, общавшаяся со своим наставником в другой, более поздний период его жизни, никогда не была. Я никогда не отважился бы по собственной инициативе звонить в дверь коммунальной квартиры, расположившейся на том месте, где некогда собирались гости знаменитых «сред»; но с Нелли Александровной ничто не было страшно, таким неотразимым был живший в ней порыв. Уж точно, что «нейти на зов нельзя». И вот мы уже поднимались – втроем (третьим был, помнится, молодой тогда Вахтель¹⁴). Напоминаю, что происходило это еще в довольно дремучее советское время, когда имя Вяч. Иванова было забыто куда более основательно, чем нынче, и соответственно наше паломничество выглядело куда экстравагантнее. На наш звонок выглянули не совсем приятно удивленные жильцы; на наши разъяснения они решительно заявили нам, что никаких писателей здесь никогда-де не жила. Для меня этого было бы достаточно, чтобы с позором бежать; но не такова была Нелли Александровна. Как-то само собой, хотя и вопреки законам естества, она во время, потребное жильцам для произнесения их реплик, уже обреталась по ту сторону двери. Нам ничего не оставалось, как пройти туда же за ней. Единственный обитатель квартиры, сохранивший невозмутимость, не отрывался от телевизора; прочие обступили нас. Разумеется, мы не стали долго искушать их терпения. Но нескольких минут было достаточно, чтобы пережить особое ощущение от круглящихся стен (по преданию, приснившихся Лидии Дмитриевне Зиновьевой-Аннибал накануне отъезда из Женева в Петербург), бросить торопливый взгляд из окна вниз, на Таврический сад, и понять строку:

...А ветер, вскрутя золотой листопад...*

И вот мы уже спускались, взволнованные, назад. Что мы видели, то видели.

И вот: решусь ли я, посмею ли я сказать, что с той же решительной сосредоточенностью наивного дерзновения и

* Ср. у Вяч. Иванова в стихотворении «На башне»:

...Стучится, вскрутя золотой листопад,
К товарищам ветер в оконца...

неразделенного, как в детстве, хотения, с которым Нелли Александровна тогда входила на порог «башни», сумела она на исходе своих земных дней войти в Царствие Божие? Я не был свидетелем ее обращения к вере, пережитого уже в больнице; свидетельницей и доверенным лицом была Наталия Юрьевна Сахарова, мой питерский друг. Из ее рассказов слагается тот образ последних дней Нелли Миллиор, который существует в моем уме; но в образе этом ни единая черта не разноречит с тем опытом общения с покойной, которым я обладаю. Та же спонтанность и цельность, решительность в следовании зову. Она шла на Дионисовы свирели – и когда услышала голос Доброго Пастыря, без колебаний пошла на него.

IV. Декабрь 1998 г. Москва. РГГУ. Конференция «Смерть и бессмертие поэта. К 60-летию памяти О. Мандельштама». Разговор в перерыве. Сергей Сергеевич сказал, что книгу о Вяч. Иванове закончил¹⁵. По его просьбе я ксерокопировала и вручила ему свою статью о Карсавине¹⁶. Сказала: «Мне Вас не хватает в стране». Развел руками: «Вот я ведь приезжаю» [конечно, я понимала, что в Вене он получал постоянную и полноценную медицинскую помощь].

[Тогда же – из моих записей на заседании редколлегии «Мандельштамовской энциклопедии», где я по случаю оказалась.]

С.С. Аверинцев:

...Есть много такого, что мы, в пору стремительного расширения мандельштамоведения, не имеем никакого права (ни морального, ни иного) табуировать, но и вносить материал, не имеющий справочного значения.

...Так ли просто под конец 1000-летия знать, что давать крупным, а что мелким шрифтом...

...Это справочное издание – что? где? когда? Здесь не дихотомия, и пространство делится не на две, а на большее количество единиц. Я ни в коем случае ничего не предлагаю, но, может быть, провести какую-то аскетическую операцию (что сократить), чтобы повысить удельный вес сообщений о том, что где когда было, плюс стиховедение, и как можно более минимизировать интерпретирующую часть...

V. Январь 2001 г. Москва. РГГУ. 110 лет со дня рождения О. Мандельштама. Литературный вечер. [Из кратких записей.] С.С. Аверинцев напомнил о варианте одной строки в стихотворении «К немецкой речи»:

Так я стою, и нет со мною сладу, –

(вместо раннего перевода из Лютера: «Здесь я стою – и не могу иначе»), которая не разрешает нам капитуляцию ни на каких условиях, в том числе и таких приятно-легкомысленных, как в наши дни...

В стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена...» есть не окончательный, а один из вариантов (черновой) этого стихотворения – не потому, что он лучше – я не знаю, что может быть лучше, чем окончательный вариант, – сравнивая с Пастернаком, его морализаторским: «Позорно, ничего не знача, Быть притчей...» – здесь иначе: «Снова Глюк из жалобного плена...».

Моя хрупкая конститутивная система, как и у Осипа Мандельштама, внушает мне страх перед холодом, хаосом варварства. Варварство... всё шире круг для нового Овидия.

<Читать Мандельштама> студентом я ходил в библиотеку, а остальное я получил от Роберта Рафаиловича Фалька¹⁷ – в 1957 году – «Воронежские тетради». Знал раннего и позднего Мандельштама, но не знал, что в середине. Но, листая «Новый мир» 30-х годов, был испуган (и до сих пор!) «Ламарком» как страшным пророчеством о Европе без филологии, это – и в «Пшенице человеческой».

Я (для моего мелкого тщеславия) всегда читал <это стихотворение>, резко понижая голос после первой строфы. И потом узнал, что Осип Мандельштам читал так же (как в музыкальной партитуре можно резко понижать...).

Тогда же, в перерыве между заседаниями, в Профессорской аудитории РГГУ, слегка наклонившись с противоположной стороны длинного стола, сказал мне, улыбаясь:

– У меня родилась внучка.

Январь 2005 г.

¹ *Аверинцев С.* Греческая «литература» и ближневосточная словесность: Два творческих принципа // Вопросы литературы. 1971. № 8. С. 40–68.

² *Миллиор Е.А.* Вина и расплата в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // [Впервые] Круг чтения: Календарь. М., 1991. С. 128–132. Речь идет о первоначальном варианте.

³ Михаил Михайлович Бахтин (1885–1975). См. об этом также: Вестник Удмуртского ун-та: Спец. выпуск, посвященный Е.А. Миллиор. Ижевск, 1995. С. 132.

⁴ День рождения Е.А. Миллиор, 9 октября.

⁵ Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987), лермонтовед, ученик Вяч. Иванова, из ближайших друзей Е.А. Миллиор.

⁶ «Прометей» будет полностью исключен из состава сборника.

⁷ *Аверинцев С.* Поэзия Вячеслава Иванова // Вопросы литературы. 1975. № 8. С. 145–192. Значительная часть статьи вошла в Предисловие к сборнику Вяч. Иванова.

⁸ Моисей Семенович Альтман (1896–1986), филолог-классик, поэт, автор бесед с Вяч. Ивановым, опубликовал их в сокращенном виде с предисловием З.Г. Минц в «Трудах по русской и славянской филологии» (XI. Литературоведение // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 304–325); затем полностью: *Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым / Сост. и подгот. текстов В.А. Дымшица и К.Ю. Лаппо-Данилевского. СПб., 1995. В том 1977 году я бы не могла даже вообразить, что через 20 лет буду писать рецензию на эти «Разговоры»: «А мы благословили нашу встречу...» // RS Ежегодник русской филологии и культуры. СПб., 1996. № 3. Т. II. С. 496–501.

⁹ Речь идет о Наталье Юрьевне Сахаровой. О ней же в письме Е.А. Миллиор ко мне от 9.02.77: «Вчера меня посетила некая Нат<алья> Юрьевна с мужем. Мы познакомились с ней в дек. на конференции в музее Дост<оевского>. Она узнала, что я занимаюсь Булг<аковым>, позвонила мне, и я ее пригласила. Она спец<иалист> по фр<анцузской> литера<туре>, рассматривает в интересном для меня аспекте, он этнограф-социолог, ездил в Индию».

¹⁰ С осени 1905 г. – знаменитая «Башня» Вяч. Иванова в Санкт-Петербурге на Таврической улице в доме 25; один из духовно-художественных центров петербургской интеллигенции.

¹¹ Василий Алексеевич Рудич, историк; в начале 1970-х годов – из самых юных ленинградских друзей Е.А. Миллиор. Вынуж-

денный эмигрировать, он с ее письмом поедет в Рим, к Лидии Вяч. Ивановой, дочери В.И. Иванова, ближайшей бакинской подруге Е.А.М.; впоследствии – профессор Йельского университета (США).

¹² Сын Вяч. Иванова и В.Е. Шварсалон (род. 1912); см. о нем в письмах Л.В. Ивановой к Е.А. Миллиор (Вестник УдГУ. 2000. № 10. С. 14, 16, 21–25, 27, 28, 31 и далее. См. также подробно: *Обер Р., Гфеллер У.* Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым / Предисл. Ж. Нива. Пер. с франц. Е. Баевской и М. Яснова. СПб.: Изд-во Ив. Лимбаха, 1999.

¹³ *Сахарова Н.* Нелли и Иешуа (Воспоминания о последних месяцах жизни Е.А. Миллиор) // Вестник УдГУ. 1995. С. 149–157.

¹⁴ В мемуарном очерке С.С. Аверинцев напишет: «...с молодым тогда Михаилом Вахтелем». Очевидная ошибка памяти, на которую обратит внимание М. Вахтель в своем обзоре: Новое о Вячеславе Иванове // Новый журнал. The New Review. 1996. 202. Р. 320. Я же доверилась его печатному слову, а не своей памяти, да и уточнять было проблематично: где Ижевск и где Вена...

¹⁵ *Аверинцев С.С.* «Скворешниц вольных граждан...»: Вячеслав Иванов: путь поэта между мирами. СПб.: Алетейя, 2002.

¹⁶ Структура авторского сознания в «Поэме о смерти» Л.П. Карсавина // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1997. Т. 56. № 6. С. 43–47.

¹⁷ Р.Р. Фальк (1886–1958), живописец, член объединения «Бубновый валет». Длительное время его картины не выставлялись в отечественных музеях. Из письма Е.А. Миллиор ко мне от 20.05.74: «Вчера смотрела частное собрание картин Фалька – замечательный художник!» (Вестник УдГУ. 1995. С. 146).

Рената Гальцева

Из телефонных разговоров с С. Аверинцевым

13 апреля 1991. Поздно, после одиннадцати вечера, звонил Сережа, уезжает в Швейцарию, улетает через «полчаса-час». Выписан из больницы, но болен. Страшно спешит, но не удерживается от того, чтобы не высказаться по поводу недавней статьи А. Янова в «Страннике»¹, который также глубоко не любит Европу (как и Россию), включая весь Запад, все больше и больше влюбляется в Японию, потому что нехристианская страна. «Я не западник, потому

что люблю Запад. У Запада есть всегда возражение на себя самого». Говорит о вине русского православия, для которого «грех – читать западные христианские книги». (Я, вспомнив С. Булгакова: двери, таким образом, распахнулись для Маркса, Бюхнера, Фогта и Молешотта. С. соглашается.)

Сереза просит посмотреть и подредактировать его выступление на круглом столе² (тем паче письменное не то, что устное), отнести к его тексту построже. Показать Наташе³, с этой «оказией» отправить ему; Наташа через месяц будет в Швейцарии. Вернется С. в июне–июле. Недавно по поводу критической статьи в адрес патриарха в «Независимой газете», куда С. пишет ответ, он сказал: «Наша современность отравлена негативизмом, что не имеет ничего общего с критикой. Наоборот, она не обеспечивает критикой, она несет в себе некритическое отношение. Такая критика прежде всего подзуживает, как будто в ней спрятана иголка, которая рано или поздно вылезет и вопьется вам в тело. И потому, помимо всех действительных и реальных оскорбительных вещей, более всех действует эта иголка». В связи с перипетиями критики С. вспомнил о своем знакомом, живущем в Лондоне, художнике Кирилле Соколове: «Я смотрел, как он ругает Англию, ругает все английское, и, казалось, мог бы подумать, что он англофоб, антизападник. Однако он так же ведь раздражается, живя у нас. Просто все окружающее раздражает его. Но, поскольку у всякого слушающего человека есть презумпция, иллюзия, что существует положительное начало, то считается, что раз говорящий бранит одно, значит, есть нечто другое, что он любит. Парадигма всех: если некто бранит «их», европейское, то его ipso с «нашим» будет противоположное. С неистовостью «новых левых» он бранит «новых левых», но это ему прощается – в предположении, что, по законам сердца, за этим должна стоять любовь к иному. Но ведь тон делает музыку, всю музыку сердца.

4 окт. 1991. В день моего рождения, он же день памяти Франциска Ассизского, Сереза начал свои пожелания и поздравления с того, что призвал мне в помощь неослабное покровительство святого, а заключил пожеланием: быть воительницей, которая не будет призывать чуму на оба дома, но побьет оба дома, чтобы привести их к покаянию. Как все-

гда, поделился антропологическими наблюдениями: некоторые люди, даже не особенно ловкие, дошлые, говорят фальшивые успокоительные фразы. Другие все находят ужасным. Как важно отличаться от обоих: быть благодарным и действовать в любое время.

31 декабря, вечер. Сережа звонит из больницы (Бонн), где у него рядом с кроватью телефон. С Новым годом! Он хочет все-таки отвечать Парамонову, хотя нельзя обойти спора с В. Розановым. Имелась в виду статья Б. Парамонова «Наши новые христианки. Разлагают ли либералы из подполья основы русского бытия» («Независимая газета», 30.11.91), направленная против наших с Ириной Роднянской выступлений на круглом столе «Литература и христианство», опубликованных в парижской «Русской мысли» и других изданиях, включая организатора обсуждения – «Вопросы литературы» (1991, август). Помимо несправедливых нападок на друзей, которых критический автор обвинил сразу в воинствующем антилиберализме и в «розовом», либеральном христианстве, Аверинцева возмутили фрейдистские «штучки» в приложении к христианству. «Христианство, – возвещалось в статье, – крайняя душевно-духовная утонченность, возникающая как результат эксцентричного психологического опыта... Святость – это сублимированная преступность». В поддержку автор «выдвинул тяжелую артиллерию – В.В. Розанова». Потому Сережа хотел отреагировать и на его позицию: «Розанов, будучи великим писателем, был плохой психолог, потому что он по-видимому не знал о такой реальности, как воля; не знал разницы между “мне хочется” и “я выбрал”. Так и для Парамонова нет разницы между свободным полетом и свободным падением».

У С., как он сказал, есть один («полемический») прием – «простоватая хитрость»: «Когда я вижу развязного субъекта, я не показываю ему, что шокирован, а показываю, что мне скучно». Выяснилось, однако, что это не всегда годится, хотя по сути справедливо. Вот, например, С. собрался писать статью против Парамонова (он зачитал мне ее название: «Заметки стародума на полях «Независимой газеты». Христианство как проблема и как тема»), отвечая ведь не скучной гримасой, а серьезным обличением...

6 января 1992, вечером, сочельник. Как всегда первый вопрос: «Ну, как ты?» И тут же: «Как Ира?» Поздравляет с Рождеством. В больнице карантин, никого не пускают. Завтра будут в пятый раз переливать кровь (чистка!), всего нужно семь. Во время чистки видел сон – этрусский обряд. Читает по-гречески молитвы Никодима Святогорца – если телевизор не мешает. С. выслушал мои рассказы о политических страстях в нашем храме⁴, впрочем, характерных для большинства приходов, страстях, бушующих под покровом социального изоляционизма, в которых к тому же сквозит очевидное презрение к политике как «грязному делу». Выслушал мои огорчения по поводу ангелической концепции человека, явно господствующей в нашей церкви: не предполагается, что человек должен дышать, что он имеет объем, что ему жарко, душно, нужно снять пальто... С. сказал: «Никто не думает, как должен двигаться причащающийся». В общем, подытожили: монофизитство – в действии. «В отличие от других мест, – продолжил С., – у нас недостаток реальной власти Церкви компенсируется властью харизматических или лжетеократических персон. Это напоминает ситуацию в современном иудаизме – с хасидами. Нет учащей церкви, но есть самозванные учителя». В пример привел одного реббе из США, претендующего на звание нового Моисея. Выслушав мой отчет о ходе дел на недавней Ватиканской конференции «Христианство и культура Европы», приуроченной к столетнему юбилею «Regnum poenitentiae», и о моем «поучении» папы, что-де настало время так же отважно принять «культурный» вызов времени, как когда-то Церковь приняла «социальный» (я даже похвасталась любезным откликом на это выступление кард. Поля Пупара), С. развеселился. По поводу отношения клириков к культуре он вспомнил, как несколько лет назад, кажется в Москве, при крещении взрослой женщины священник сказал: «А вот плевать мы будем в сторону книжной полки. Вот от чего Вы "отрицаетесь"!» Сказал это без юмора, а с победительной веселостью... «Культура, как и все, должна знать свое место; но, вообще говоря, мы впадаем в иллюзию, что мы выбираем между культурой и отсутствием культуры; нет, мы выбираем между хорошей и совсем плохой культурой. Как мы не можем говорить без грамматики, так мы не можем жить без культуры. Все то пространство, из которо-

го мы выключили культуру, будет занято не нейтральным или апофатическим элементом, а элементом бесчеловечным... Еще никогда не доходило до такого отрицания самой идеи критериев, как сегодня... В 20-е – 30-е годы было больше критериев; поколение кубистов /признавало/ какие-то всеевропейские критерии, знало, пусть и заблуждаясь: это – культура, а это – нет. Могло быть возвращение к классике, как у Фаворского (которого я не так уж почитаю). Была игра по каким-то правилам, может быть, они были даже безумными. Но ситуация, когда объявляют, что правил вообще нет, когда объявляют себя источником правил, является приглашением ко всеобщему самозванству. Признается по сути все, кроме гармонии».

23 янв., два дня назад, С. вернулся из больницы, 37,4, истомлен долгой болезнью; интересуется нашей политической ситуацией, за переливами которой ему из больничной палаты трудно было следить. К тому же он убежден, что время дилетантов прошло. Так, о реформах Гайдара судить не берется. После августа 91-го метафизическая политика должна смениться конкретной, а он не следил за газетами. В ответ на мое описание «текущего момента» и огорчительной эволюции ХДД (Христианско-демократического движения) в сторону противостояния новой власти и коалиции с «розовыми» лжепатриотами, что может надолго загубить идею христианской демократии в России, Сережа, разделивший мои опасения, заметил, что за границей, в Англии, проявляли большой интерес к ХДД и его об этом спрашивали. «Во всех случаях сближение с Бабуриным мне совсем не нравится». А позже добавил: «Я бы с величайшей осторожностью отнесся к идее оппозиции, а тем более к союзу с Бабуриным. Это союз не *за что*, а *против чего*. Г. Попов на IV съезде предлагал антигорбачевский союз с Алкснисом. Слава Богу, не прошло». Вспомнили из Солженицына: «Волка на собак в помощь не зови». И вообще: «Главное сегодня: толкать под руку правительство – грех, потому что оно единственная реальная, хотя, может быть, и зыбкая надежда». «То последнее, что я думал о политике, я сказал в "Литературной газете"⁵». Да оградит нас Бог от призраков. Там скрытая полемика против Боннер и Баткина. Бывают геологические перевороты, по поводу которых нелепо лико-

вать или потрясать кулаками... Самое плохое свойство империи, что она порождает антиимперскую идеологию. Она слишком связана, с одной стороны, с теократией, с другой стороны, с пародией на нее. Империи не могут ужиться друг с другом, они сживают со света друг друга. А сегодня: снявши голову, по волосам не плачут. СНГ – единственный способ спасти то, что еще можно спасти. Разговоры о Союзе безнадежны уже по-видимому с 89-го года, не позже первой половины 89-го, но точно, что в 90-м было уже поздно. А о V съезде смешно говорить: там баранам сказали, что они бараны, что их нет; они поблеяли и разошлись. С V съезда, на котором голосовали о ликвидации Съезда и Союза, можно мечтать уже не о Союзе с большой буквы, но хотя бы о союзе с маленькой буквы – экономическом, экологическом, культурном и т. п. Что касается упреков в несостоятельности договоров с Кравчуком, то можно напомнить: вексель, выданный даже преступниками и с преступными целями, может быть предъявлен к оплате. И коммунистам их векселя были только что предъявлены (по поводу умозрительно нарезанных национальных республик и провозглашенных на бумаге суверенитетов). Единственная странность, что до сих пор никто не сказал, что при всей возможной разности мнений в качестве основы суждения должна быть принята некая юридическая концепция, которой можно было бы руководствоваться. Так, если все бывшие республики – колонии, то они никак не могут претендовать на присвоение военных баз, а могут только говорить о сроках выведения их с территории, поскольку принадлежат эти базы метрополии». Кто-то звонил Сереже, расспрашивая его о ситуации с ядерными вооружениями и их размещением, ситуацию, которую С. назвал головоломной. С. ответил: «Если атомная база на территории колоний, то они не могут претендовать на нее. И на меня можно сослаться».

Звонок в конце января, С. все еще за границей. Когда я пожаловалась ему на странную для «Новой Европы» публикацию итальянцами в № 1 (пусть и в их версии журнала) опуса пропагандиста нечестия, критика «гиперморализма» русской классики, короче – Вик. Ерофеева, Сережа тоже этому неприятно подивился⁶. «При всей широте мы должны иметь направление, в самом в широком смысле христианское... И какие-то вещи должны быть отторгнуты. Этим мы ведь никаких

гонений не устраиваем, ибо у людей есть другие возможности печатать свое. Сегодня не годится старая политика неразборчивости. Надо поднимать бедный андерграунд из подполья! Сейчас объединение с андерграундом абсурдно. Нужна если не агрессивность, то определенность по отношению к нему. Не каждое направление нам подходит».

У Сережи есть задание от Жоржа Нива – о Хомякове. «Хочу разговор о славянофильстве начать с Европы. Они ведь не каприз или курьез, а общеевропейское умственное движение. Те же вопросы, что в Европе, но реализовывались несколько иначе. Те вопросы, за которые у нас взялись светские богословы, там решали бы патеры и пасторы». С. перешел к сравнению христианской и мусульманской земных стратегий. «Как несхожа геополитика христианства по сравнению с геополитикой ислама! Христианство, как это ясно из реальности Пятидесятницы, может оставить одну местность и перенестись в другую. Задумаемся над тем, что самые святые места – семь церквей, которым писал апостол Павел, – заняты нехристианами. А сегодня у нас удивительная ситуация: все как бы верующие, даже художник-кощунник, расписывающий светские картинки поверх икон. Хотя бы кто-то был неверующим».

14 февраля. Вечером звонит Сережа уже из кунцевской больницы, где находится со 2 февраля, хочет поздравить с приближающимся Сретением и прочесть два новых стихотворения: одно, посвященное московскому гербу⁷, «Стар и мал»:

Не в расцвете сил, не средовеки –
Стар и мал здесь Божьи человеки.
Тихо птицы над крестами реют,
Адовы врата не одолеют...

Другое стихотворение – о России⁸.

Жесткие наверхия ветвей,
Что кресты на холмах могильных...

Второе С. писал «О России», много вычеркивая, первое, «Стар да мал», сразу сложилось.

Вообще-то он устал лечиться. Но главное, что здесь он без семьи и без друзей. Слушал по радио выступление Аксючица (у С. теперь есть двухпрограммный приемник): «даже не столько смысл (это само собой), сколько тон, самоуверенность, удивляет». Снова приходит в «бешенство» (подчеркнул это слово) от андерграунда: никаких норм и правил! Очевидно, «отчитываясь» за ненаписание своего ответа Парамонову, рассказывал, как его порывы возмущения на то, что ему попадается в одной газете, уже излившиеся на нескольких начальных страницах, прерываются попавшимися на глаза еще более возмутительными статьями.

13 августа, уже с дачи, из Переделкино: обещает дать в «Новую Европу» то, что он пишет для немецкого «Меркурия» по истории церкви на советском этапе. «Я иначе хочу писать для нашей печати, чем для немецкой, поэтому мне нужно еще несколько дней для переделки и дописывания этого текста. Может быть, отдам числа 21–22⁹. Внутренне занят одной работой, из которой может возникнуть нечто для меня важное, – об аппиевом свидетельстве о Христе»¹⁰.

17 августа, с дачи. Серезу удручает двойничество ХДД (Аксючица, Константинова, Анищенко), да и некоторых кругов православной церкви. Ира прокомментировала: «Аверинцева все больше пугает исламизация православия через борьбу со свободой совести. При этом они не ссылаются на ислам, а ищут отцов в Иосифе Волоцком и единомышленников в Иване Ильине. Но Ильин не говорил о борьбе со свободой совести, а – с разбойниками, захватившими Россию. Мечтают возродить такого рода симфонию, которая позволила бы силою бороться с конкурентами».

19 августа. С. поздравляет из Переделкина с днем Преображения. Дети пришли из храма, расстроенные радикализмом священника, дерзавшего оспаривать патриарха. Я Серезе рассказала о моих прениях с другим батюшкой, из Тропарева, по поводу высказанных им на проповеди воззрений на демократов, коммунистов, а также на христианские конфессии. Он посоветовал мне обратиться в Данилов мо-

настырь, «там вам все скажут». Я его спрашиваю: «А разве я расхожусь во взглядах с патриархом?» Тот неколебимо повторяет: «Идите в Данилов монастырь». В ответ С. рассказал, как «один иностранец высказал свое беспокойство, не установится ли в России лжетеократия архиереев». С. ответил: «Нет, нет, нам грозит лжетеократия лжестарцев» и добавил уже мне: «Ты же знаешь, что архиереев у нас никто не слушается».

23 августа, Переделкино. Сережа огорчен «нелепой» статьей в «Известиях» об итальянском городе Бари, где хранятся мощи святителя Николая. «В то время как католики по доброй воле отдали часть крипты православным и теперь там есть православный престол, в то время как они открыли экуменический институт, изучающий наследие Киреевских, что есть тоже жест доброй воли, у нас это все замалчивается. Но выверенных фактов у меня для возражений “Известиям” нет, на даче не могу их достать. А детали очень важны».

6 сентября, утро, звонок из Переделкино. «Я скажу тебе: вроде бы пустяк, а с другой стороны – дело очень серьезное». Наблюдая за новым подростковым поколением, С. поражен, как резко меняются у них вкусы при выходе из детства. Еще вчера отрок признает только Моцарта и презирает «роки», а вот проходит всего ничего, и он уже слушает и защищает их. «Вспоминая свое раннее прошлое, я вижу колоссальную разницу. Я никогда не угождал современности. Не очень мной любимый Гумилев – автор очень близких мне строчек:

Я вежлив с жизнью современной,
Но между нами есть преграда.

Когда я был подростком, мне все не нравилось, но мои сверстники мне не нравились больше всего. Подростком я готовил себя к полному одиночеству, и когда вдруг, позже, наступило время общения, это был подарок. У меня оказались друзья, жена, я читаю лекции... Книги иностранные я читал больше, чем русские, но я уважал русскую классику. Я вообще уважаю авторитеты... легализованные.

В 20-х числах октября по телефону мы вернулись к обсуждению соловьевской конференции, в которой оба участвовали. Мы восстановили такую картину. В первом заседании (23 октября), говорят, выступал Кравец, всех напугал и сам испугался и ретировался, избавившись от возмущенных вопросов. С. вспомнил, как развязалась полемика с «князьями церкви». Отец Валентин Асмус уверял, что антихриста Соловьев писал с себя (старая история!): те же многознание, художественные способности и т. п. Вообще говорил о нем с неприязнью (что зачастую сквозит у клерикально облеченных лиц по отношению к «вольно-обязанным»). Тут ввязалась я, возражая предшествующему выступающему: Соловьев действительно был многодаренный человек, способный и к самопародированию, но что в данном случае версии отца Валентина мешает одна «небольшая закавыка», очевидная из текста «Трех разговоров»: антихрист всем хорош, только имени Христа не выносит, в то время как Соловьев, напротив, без Христа ни шагу.

Но меня еще больше потряс отец Александр Шаргунов. Это было инквизиторское судилище, особенно невыносимое от режущей разницы талантов: обличающего клирика и – обличаемого мыслителя. Мы присутствовали при попытке наложить печать на уста и на саму мыслительную способность, дарованную человеку Богом. Везде-то успел Соловьев быть вредоносным еретиком. Начал отец Александр катить свой «ком обвинений» с того, что не так страшно прямое богоборчество, как тонкая подмена. Главный дефект Соловьева, оказывается, – смешение тварного с нетварным, Софией. В подтверждение в качестве христианского авторитета цитировал нашего «турецкого игумена» Леонтьева, не упоминая о том, что тот был на 90 процентов восторженным поклонником Соловьева. Говорил о «нечистоте» Соловьева (но кто же боролся с «нечистотой», если не Соловьев?!). Был и перл, – хотя и не новый: «Соловьев соблазнил не только православных, но и католиков». Был и итог: соловьевская мысль – не главная в русской мысли. (А что же главное? Космизм?) «И вообще, кто ему дал право говорить от имени Церкви?!» Я, внутренне кипя, обратилась к отцу Александру: Соловьев никогда не выступал от имени Церкви, при том что много говорил о Церкви. Но

главное, человеку отец Александр оставляет право мыслить, но до тех пор, пока дело не доходит до вопросов существенных. Он накладывает запрет на философию, на размышление человека, отнимает свободу совести, данную Богом, оставляет одну церковную теологию для церковных людей. Тут вступает Сережа, который еще раньше предложил мне переписываться, благо мы сидели рядом, и я прочитала выведенные церковнославянской вязью два слова «учители уныния» и еще одно, более грозное. Его возражение касалось «эмоциональной» стороны – взгляда отца Александра на человеческое сердце. Начав с характерного для С. дипломатического реверанса («я не поправляю, а дополняю»), он вскоре «вошел в раж»: «Как же отец Александр представляет себе отношения между Спасителем и грешниками? Если грешник не способен любить, то приход Христа на землю бессмыслен». И тут символически и/или промыслительно в зале вдруг потух свет.

14 июня 1993. Звонил Сережа, он только что приехал из европейских весей, рассказал о выступлении на католическом коллоквиуме в Германии под руководством кардинала Пупара, который попросил его говорить о будущем христианства¹¹. С., как он сказал, выступал в духе Савонаролы. Начал с Новалиса: о христианстве и Европе. Констатировал, что сегодня «сексуальная революция» перешла из разрешительной стадии в террористическую. «В мире нынешнем надо бороться за право не быть сумасшедшим». Есть еще, правда, оазисы, которые хранит Бог. Но пустыня будет расти, и мы, христиане, должны к этому подготовиться, приготовить пути Богу. Согласился с тем, что было сказано в нашей с Ирой «Summa ideologiae»: плюралистический релятивизм эксплуатирует чужой базис – правовой демократии – и долго на этом не проедет. Но Бог может изменить все в лучшую сторону. Кончили разговор так: «Пустыня или нет, – сказал Сережа, – но ведь мы будем бороться?!» – «Конечно! Несомненно!»

8 сентября. Сережа поздравляет с днем ангела. «Я очень люблю этот день – день ангела также моей мамы, моей жены, праздник Владимирской Божьей Матери – покрови-

тельницы нашей семьи. Моя покровительница – икона Знамения, Маши¹² – Иверская, потому что она родилась в этот же день; по Григорианскому календарю это день Рождества Богородицы...»

¹ 1991. № 1–2.

² Речь идет о его выступлении на недавно прошедшей конференции «Евразийская идея: вчера, сегодня, завтра» в Комиссии по делам ЮНЕСКО.

³ Имеется в виду жена С.С. Аверинцева Наталья Петровна.

⁴ Церковь арх. Михаила в Тропарево.

⁵ Литературная газета. 1991. 25 сент.

⁶ Он состоял членом редколлегии этого журнала, выходящего на двух языках.

⁷ См.: *Аверинцев С.* Стихи духовные. Киев, 2001. С. 46.

⁸ Там же. С. 55.

⁹ Статья была опубликована в «Новой Европе» (1992. № 1) под названием «Мы и наши иерархи – вчера и сегодня».

¹⁰ См.: Деян 9. 3–9.

¹¹ Русская версия доклада, прочитанного на немецком языке 30 мая 1993 г. в Клингентале близ Страсбурга, опубликована в «Новой Европе», № 4, под заглавием «Будущее христианства в Европе».

¹² Дочь Аверинцева.

Приложение 2

Вечер памяти С.С. Аверинцева в РГГУ

18 мая 2004 года

(Стенограмма¹)

П.М. Нерлер

Последние годы С.С. Аверинцев был связан с Российским государственным гуманитарным университетом, с Мандельштамовским обществом, которое он возглавлял с момента его основания до конца своей жизни. Я передаю слово Юрию Николаевичу Афанасьеву, ректору, а ныне президенту РГГУ, – он откроет наш сегодняшний вечер.

Ю.Н. Афанасьев

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! Я рад возможности быть на вечере памяти Сергея Сергеевича Аверинцева, поприветствовать всех собравшихся в аудитории в качестве президента РГГУ и хозяина этого дома и сказать несколько слов. На самом деле, в конце 1980-х, или, если быть точнее, в середине 1980-х годов и 1990-е годы Сергей Сергеевич был не просто так или иначе связан с этим зданием, с этим университетом, с людьми, которые здесь присутствуют, он имеет непосредственное, прямое отношение к зарождению идеи РГГУ. А это, как мне кажется, больше, чем активное участие одного из выдающихся исследователей России и мира в повседневной жизни того или иного университета или учебного заведения. Для всех нас Сергей Сергеевич – это огромная величина, наша гордость. Но помимо этого для тех, кто трудится и учится в РГГУ, он еще и человек, с именем которого связано зарождение и какая-то часть, какая-то доля направленности всей

деятельности нашего университета. Он не просто принимал участие в научных конференциях, выступал с лекциями, вел семинары, встречался и работал со студентами, он еще и думал о том, каким может быть университет и университетское образование нашего времени. И конечно, все идеи и мысли, которые он излагал, имеют для нас огромное значение. Я хотел бы в этой связи сказать, что, конечно, сам по себе факт участия Сергея Сергеевича в разработке идей РГГУ и активное его участие во всех делах по воплощению этой идеи в жизнь не означают, что устремления университета, содержание и характер его деятельности вполне отражают то, к чему стремился Сергей Сергеевич в своих научных исследованиях, в своей педагогической практике. Для того чтобы это случилось, нужны, конечно, огромные усилия с нашей стороны и встречные движения в отношении тех идей, замыслов, мыслей, которые он выражал. Как показывает практика, особенно в последнее время, соответствовать вот в этом смысле – дело нелегкое. Соответствовать великим помыслам, глубине исследований этого человека в педагогической практике, в научной деятельности для любого учреждения, в том числе и такого, как РГГУ, дело непростое. В то же время иметь в своих истоках, в своих основаниях мысли и устремления, а также надежды таких людей, каким был Сергей Сергеевич Аверинцев, – это тоже немало, это тоже огромный капитал, которым, может быть, мы пока что не смогли воспользоваться в полной мере. Я еще раз приветствую всех пришедших на вечер памяти Сергея Сергеевича и хочу заверить, что в РГГУ и дела, и мысли, и имя этого человека будут вечны.

П.М. Нерлер

Институт высших гуманитарных исследований РГГУ – та среда, где Сергей Сергеевич, так же как и в Мандельштамовском обществе, чувствовал себя, как мне кажется, очень комфортно. И со многими его сотрудниками Сергея Сергеевича объединяли десятилетия общих работ, общих проектов. Но с Михаилом Леоновичем Гаспаровым, насколько я могу судить по биографиям обоих, Сергей Сергеевич был знаком в общем-то с первых недель или по крайней мере месяцев своего поступления в университет на классическое отделение филологического факультета. Михаил Леоно-

вич, как мне рассказывала Наталья Петровна Аверинцева, был председателем студенческого научного общества, а Сергей Сергеевич его активным членом и выпускал стенгазету этого общества. С тех пор между Сергеем Аверинцевым и Михаилом Гаспаровым завязались многолетние дружеские и коллегиальные отношения, начался их пожизненный диалог. Так сложилось, что Михаил Леонович так же, как и Сергей Сергеевич, в 1990-е годы в силу каких-то внутренних процессов очень приблизился к поэзии Осипа Мандельштама. Мандельштамовское общество обрело счастливую возможность иметь в своих рядах двух замечательных ученых: его первым председателем был Сергей Сергеевич, а сейчас его возглавляет Михаил Леонович – и я представляю ему слово.

М.Л. Гаспаров

Сергей Сергеевич Аверинцев был филолог. Его называли культурологом, но он этого слова не любил. Не в последнюю очередь потому, что в нем не было той этимологии, которая есть в слове «филология». Филология значит любовь к слову – из всех русских «логий» это единственная с корнем «любовь», что придает этой науке особое измерение – человеческое. Любовь – опасный соблазн. Когда этимология разрешает человеку что-то любить, он тотчас ищет в этом право чего-то не любить. Этот соблазн был чужд Аверинцеву. Филолог должен любить всякое слово, а не только избранное. Мне дорога его реплика: «Как жаль, что мы не в силах все вместить и все любить!» Мало того, когда разрешено любить, то кажется, что разрешено и внушать, навязывать эту любовь своим ближним и дальним. Этого соблазна он тоже избегал. В предисловии к книге «Поэты», десяти замечательным признаниям в любви к писателям, от Вергилия и до Честертона, он писал: «Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитариев, хотя бы потому, что у меня нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая отличает последних». Это неслучайные слова. Молодые слушатели, стекавшиеся на его выступления, радовались подпасть именно такому гипнозу. Но сам он совсем не был этому рад. Он говорил: «Кончая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, все совсем наоборот». Нас сегодня здесь собрал Мандельшта-

мовское общество. Для каждого из нас Мандельштам значит очень много. И каждый видит и утверждает его по-своему. То он палладин православия, то иудейства, то борец со сталинизмом, то комбинатор литературных подтекстов. И каждый помнит, как выглядит на этом фоне статья Аверинцева со много на себя берущим заглавием: «Судьба и весть Осипа Мандельштама». Многомерный образ с разнообразными плоскостными отражениями, торжественность без позы, схождения борющихся противоположностей на той глубине, которая покрывается самым трудным для словесности понятием – целомудрием. Понятием, одинаково дорогим эллинизму и христианству. Читая эту статью, мы чувствуем, что одни из проявлений этого душевного и словесного мира ближе автору, чем другие, но видим – это для него не главное. Главное то, что Мандельштам для нас, как бы мы его ни любили, это часть чужой культуры, нуждающейся в переводе, и филолог намечает для нас общие очертания этого фрагмента человеческой культуры, переводит в нем на наш язык то, что ему легче дается, что по его душевному складу, и приглашает нас самих также перевести то, что легче дается нам. Он это называет: «Моей целью было ввести мою субъективность в процесс познания, но так, чтобы она в этом процессе умерла». Или, цитируя слова Мандельштама, – «Я забыл ненужное "я"». Не каждый из нас мог бы или даже хотел бы так сказать. Слово – это мысль, любовь к слову. Этому чувству соотношения их в слове учит наука риторика. Та, о которой Аверинцев писал так много и настойчиво.

У него было редчайшее качество, известное только близким собеседникам. Он точно знал во всякий момент, говорит ли он как человек мыслящий и с доказательствами или как человек чувствующий, с убеждением. В публичных выступлениях это терялось. Его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, чуралась иррациональной одушевленности и пропускала мимо слуха рациональную строгость. Его глубочайшее уважение к европейскому рационализму, родившемуся из риторики, не находило и, боюсь, до сих пор не находит достаточного отклика у читателей и слушателей. Все, что мы знаем, по крайней мере все, в чем мы можем сами себе дать отчет, который называется рефлексией и которого многие, по романтической привычке, так не любят, – все это мы знаем через слово. А оно не бес-

плотно – у него есть грамматика, стилистика, поэтика, риторика. Не зная этой органики слова, мы напрасно будем воображать, что постигаем какой бы то ни было дух. Как широко и высоко ни простирались мысли Аверинцева в этой области духа, связь со словом не терялась никогда. Это не всем казалось нужным. Он считал себя учеником А.Ф. Лосева, и Лосев очень ценил его, но говорил: «Только зачем он занимается такими пустяками, как поэтика?»

«К нему приходили за универсальной духовностью», – было сказано в одной статье. Это так. Но лозунгового слова «духовность» я за многие годы разговоров не слышал от Аверинцева ни разу. В книгах его оно есть, но редко. Потому что Духовность раскрывается нам только через Словесность. И понять слово, несущее духовность, можно только через склонения риторики и спряжения поэтики. Их недостаточно чувствовать, им нужно учиться, а научившись, учить им других. Он говорил мне: «У нас с вами в науке не такие уж непохожие темы: мы все-таки оба говорим о вещах обозримых и показуемых». Выражаться иррационально, пользоваться словом для заклинания и гипноза – это значит употреблять его не по настоящему назначению. Когда чья-нибудь метафора начинала самоутверждаться, притязая на всеобъясняющий смысл, – например, что греческая культура пластична, а всякая культура диалогична, – он умел унять ее здравым переспросом. Не нужно бояться рефлексии: она не отчуждает, она приближает. Избегать рациональности, избегать рефлексии – значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен. «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему» – это вещи взаимосвязанные.

«История духа и история форм духа – разные вещи: христианство хотело быть новым в истории духа, но нимало не рвалось быть в истории таких форм, как риторика». Причастности к словесному духу и к словесным формам духа сосуществовали в нем, не подменяя друг друга. Божье слово тоже имело свою поэтику и риторику. Он не спросил бы, как Карл Краус: «Если в начале было Слово, то на каком языке?», – но понял бы этот вопрос. Вера без слов мертва есть. Он не отождествлял христианство с православием, и многим это не нравилось. «Он был духовным конформистом», – с пониманием писал он про Григория Нарекаци. В лучшей статье, которую я

о нем читал, было сказано: «В других условиях такой человек, как Аверинцев, мог бы, наверно, возглавить какую-нибудь церковную реформу: в нем присутствуют как необходимый для всякой религии традиционализм, так и полнейшая незапороженность, бескомпромиссная отвага мысли, не говоря уже о знаниях. Но, видно, время Аверинцева для русского православия еще не наступило».

Первая его книга была о традиционном Плутархе, вторая – о малоизвестной византийской поэтике, третья – о христианском интернационализме от «Босфора до Евфрата». Параллельно, как что-то само собой разумеющееся, раскрывалась Европа, от Юнга, Шпенглера и Хейзинги до Брентано и К.С. Льюиса; и Россия, до Мандельштама и Вячеслава Иванова. Казалось естественным, что во всем этом он был как дома; мало кто верил, что свой немецкий язык он знал не отроду, а со студенческих лет. «Сейчас переводят таким слогом, как будто русский язык уже мертвый и его нужно гальванизировать», – говорил он с обидой о тех переводах, где стилем считалось употребление «сей» и «кой». Когда три года назад он позволил себе напечатать свои «Стихи духовные», это тоже были стихи филолога: он не изменил своей сути, даже входя в тот мир – и в духовное, и в стихи, – где о филологии у нас принято забывать. (Стихи Вячеслава Иванова тоже были стихами филолога.)

И последней его работой стали перевод и комментарий к синоптическим евангелиям.

Я говорю о том, какой это был большой ученый. Я не могу говорить о том, какой это был большой человек: для этого человеческого измерения моя филология не имеет слов. «О чем нельзя сказать, о том следует молчать». Те, кому выпало счастье расти, слушая его выступления и читая его статьи и книги, расскажут о том, как это помогало им выживать в нелучшие годы советской жизни. Я могу лишь сказать, что быть рядом с ним и видеть, как он сам рос и становился самим собой, было, может быть, еще большим счастьем, радостью и жизненным уроком.

П.М. Нерлер

Сам Сергей Сергеевич помимо Лосева своими учителями считал и называл также Михаила Леоновича Гаспарова и Александра Викторовича Михайлова. Вот я нашел за-

пись в газете, которая выпускалась тогда на филфаке, на классическом отделении, она называлась «Филамотес». Где вы видели еще стенную газету, в которой публиковались бы переводы из древневизантийских, латинских авторов? А это была именно такая газета. И то, что давал, что закладывал в Сергея Сергеевича университет, что он впитывал из книг, которые читал в библиотеке, вся университетская, студенческая жизнь – это основа основ. Среди тех, кто будет сегодня выступать, есть еще несколько человек, знавших Сергея Сергеевича по университету, и Грейнем Израилевич Ратгауз – один из них. Я передаю ему слово.

Г.И. Ратгауз

Кончина Сергея Сергеевича Аверинцева скорбью отозвалась во всех концах читающей и мыслящей России и острой болью полосула прямо по сердцу всех, кому посчастливилось хотя бы немного знать этого удивительного человека. В нашей духовной жизни после безвременной смерти Аверинцева, вечно хворого и, наконец, осиленного мучительной болезнью, возник зияющий провал.

Имя Аверинцева вот уже несколько десятилетий звучит – и будет звучать – на многих языках Европы. О непреходящем вкладе в мировую науку и словесность этого эллиниста и византиниста, авторитетного исследователя христианства и иудаизма, философа и богослова (я помню до сих пор, с каким вдохновением он говорил о библейских пророках Иезекииле и Иеремии!) я здесь не буду говорить. Чтобы компетентно судить о научной деятельности С.С. Аверинцева, надо знать хотя бы примерно столько же, сколько знал он сам. Вероятно, об этом лучше скажет его названный брат М.Л. Гаспаров, не раз помогавший Аверинцеву на его тернистом пути. Многое мог бы об этом сказать и другой его названный брат А.В. Михайлов, к великому нашему горю покинувший нас еще раньше Аверинцева.

Моя же задача – совсем в ином: обозначить лишь некоторые существенные грани в научном и гражданском облике Аверинцева (а он, в отличие от иных его коллег, «кабинетных ученых», остро и точно ощущал современность!) и уловить хотя бы отдельные штрихи его редкостного личного обаяния, той неповторимой «ауры» (говоря словами любимого им Франческо Петрарки), которая уходит вместе с ним в небытие.

Понятия «Аверинцев» и «смерть» для всех знавших его в корне несовместимы. Само их сочетание кажется логическим абсурдом. Для тех, кому посчастливилось знать, видеть и слышать Аверинцева, застать живой трепет его мысли в минуту ее зарождения, для тех, кто видел его среди любимых книг, кто был его соседом в залах, где звучала музыка Баха и Скрябина, для тех, у кого в памяти и бесконечно милая и скромная улыбка его преданной спутницы Наташи, и крохотная Машенька Аверинцева в детской кроватке, – его уход кажется каким-то заведомо недостоверным слухом. Так и хочется сказать: «Да не может быть!» В нашем сознании жив Сережа Аверинцев во всей неотразимой поэтической притягательности его облика, жив как воплощение «музыки света» (Александр Блок).

Все знавшие Аверинцева видели, что этот «рыцарь бедный», которого никогда не покидало «виденье, непостижное уму» (А.С. Пушкин), этот вечно хворый и тяжело бедствовавший в юности поэт и мыслитель страстно любил земную жизнь и дорожил ею явно. Не оцененный, на мой взгляд, в полной мере на родине, – даже в годы признания и всемирной славы! – он нашел для себя новое поприще за рубежом. Исконный почитатель Моцарта и Гайдна (чьи имена не сходили с его уст!), он с радостью принял предложение возглавить Институт славистики в Вене, предпочитая одну из самых притягательных и магнетических европейских столиц более тихой и уютной Женеве (куда его приглашали с не меньшим почетом!). Не раз я слышал от него при встречах, с какой тихой отрадой он посещал старинные венские монастыри и соборы, иные из которых еще хранят память о великом монархе-реформаторе, современнике просветителей Иосифе II. С явной гордостью он говорил мне: «Знаешь, Гриня, я живу близ Minoritenplatz». В Вене и прошли последние годы его жизни.

Но Аверинцев, как и его кумир Вячеслав Иванов, никогда не мыслил себя вне России. Он, если ему позволяло здоровье, нередко навещал Москву. Здесь его всегда гостеприимно встречали Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших гуманитарных исследований и Мандельштамовское общество, где Аверинцев был президентом.

Вместе с тем Сергей Аверинцев, как когда-то Гоголь или Брюллов, нежно любил Италию, куда его влекли и Флоренция Джотто и Данте, и Равенна, и особенно Рим. Там в мае 2003 года его настиг роковой инсульт, от которого ему уже не суждено было оправиться.

Я прервусь на минуту. Сейчас писать об Аверинцеве немислимо трудно: кажется, что светлые, добрые и вместе с тем требовательные глаза Сережи смотрят на тебя, следя за тем, чтобы ты был до конца правдивым. Но как бы это ни было трудно, все, кто знал Аверинцева, обязаны сказать о нем все, что помнят.

С чего же все началось? Весной 1958 года Гаспаров подвел ко мне худенького высокого студента-старшекурсника с длинными светлыми прядями до плеч и отрешенным, монашеским взором нестеровского отрока Варфоломея. (Я сразу подумал: «Аскет». К счастью, я ошибся. И все же ошибся не совсем – много лет спустя Сережа признался: «Знаешь, кто мой любимый святой? Франциск Ассизский».) Гаспаров сказал мне: «Вот Сережа Аверинцев. Он любит и переводит Гёте». Это происходило на балюстраде Ленинской библиотеки, где мы тогда с Гаспаровым встречались дважды в неделю или чаще. Видимо, Гаспаров ожидал, что мы быстро подружимся с Аверинцевым. Но что-то оставило меня: мне показался слишком отрешенным взор этого юноши, почудилось, что он устремлен в непроницаемую глубину своего «я», что он едва слушает собеседника, занятый своими мыслями. Мы пожали друг другу руки и разошлись.

Но мы встретились примерно десять лет спустя, чтобы уже не расставаться. Чтимый мною Н.С. Лесков незадолго до смерти властно изрек, что не признает римского изречения: «De mortis nihil nisi bene», а признает совсем иное: «De mortis veritas». Я буду следовать этому правилу. Я входил в большую когорту друзей Аверинцева и, кажется, имею право сказать, что он следил за моей работой. Но после наших возобновившихся встреч я сразу понял, что Аверинцев сделан из того же теста, из которого природа вылепила Леонардо, Гердера или Гегеля. Поняв это, я никогда не стремился войти в круг ближайших друзей Аверинцева, к которому принадлежали, насколько я знаю, А.В. Михайлов, М.Л. Гаспаров и Н.В. Котрелев. Аверинцева и Котрелева

роднило многое, и прежде всего общая любовь к Вячеславу Иванову. Но величайшим достоинством Аверинцева я считаю его неизменное стремление к диалогу, к платоновскому «пиршеству идей». Наши встречи возобновились в 1968 году, когда Аверинцев (как когда-то Вячеслав Иванов) завораживал всю мыслящую Москву своими устными импровизациями, своими лекциями в самых разных аудиториях, где он – и только он! – мог «царям Земли напомнить о Христе» (Н.А. Некрасов). Но он упорно отказывался играть роль «модного тенора», никогда не изменял прежним друзьям, охотно подшучивал над своей славой и настаивал на строгом равенстве отношений.

Он настойчиво расспрашивал меня о трагической судьбе непризнанного гения Фридриха Гёльдерлина, о христианских писателях XX столетия Иоганнесе Бобровском и Йохане Клеппере, который невольно стал мучеником «третьего Рейха». Монархист по убеждениям, автор исторических романов, прославлявших прусских курфюрстов и имевших большой успех среди офицеров вермахта, Клеппер был женат на еврейке Ганни Штейн и отказывался с ней развестись. Ему удалось получить для себя, жены и падчерицы шведскую визу (подобным же образом удалось спастись поэте Нелли Закс). Но решение зависело от Адольфа Эйхмана, а тот ответил резким отказом. Клеппер, в доме которого стояли старинные распятия, перед одним из них в декабре 1942 года отравился вместе с женой и дочерью. Я одолжил Аверинцеву его дневники (никогда не издававшиеся порусски). Сережа вдруг спросил меня шутливо по-немецки: «Wie kannst du dann leben, klepperlos?» («Как же ты будешь жить бесклепперно?»).

С женой Аверинцева, Наташей, я познакомился позже. Аверинцев был уже тогда знаменитым филологом и прославленным лектором, был окружен легендами, как некогда Менделеев или Ключевский. Рассказывали, что якобы кафедра античной филологии на особом заседании выбрала ему невесту, а Сережа потом объяснился ей в любви, и почему-то на немецком языке времен «Песни о Нибелунгах». Наташа никогда не читала «Нибелунгов» в подлиннике, но ей было и так все понятно².

В жизнь Сережи властно вошла любовь, сразу обновившая его. Не осталось и тени от прежнего меланхоличес-

кого аскета: Сережа как никогда излучал лучезарную приветливость, был неистощим в разговорах и шутках, весь распахнут навстречу людям. В детстве он много болел (Сережа, как Кьеркегор, был поздним ребенком: когда он родился, его отцу, Сергею Васильевичу Аверинцеву, было уже 62 года). Болезни и потом не оставляли его, но в эти первые годы брака он как-то даже внешне окреп, раздался в плечах и заражал своей бодростью всех окружающих.

Вскоре он впервые пригласил меня к себе домой. Издатель дневников Йохана Клеппера профессор Губерт Фензен, жизнелюбивый эрудит, возглавлявший в ГДР крупнейшее христианское издательство и одновременно читавший лекции по древнерусскому искусству в университете им. братьев Гумбольдтов, загорелся желанием познакомиться с Аверинцевым. Ему восторженно рассказала о Сереже их общая подруга г-жа Фэри фон Лилиенфельд – профессор богословия в университете им. Лютера в Галле. Я постоянно слышал о ней от Сережи, который прямо-таки упивался их беседами. Он артистично владел всеми тонкостями немецкого языка, а поговорить на богословские темы в брежневской Москве 1970 года можно было только с большой опаской.

Аверинцев, который, насколько я помню, только к тридцати годам проникся идеями христианства, чуть позже убедился, что Москва – это вовсе не Галле. В это время (по инициативе Р.М. Самарина) он уже перешел в Институт мировой литературы и вместе с Гаспаровым подготовил трехтомную антологию средневековой латинской литературы, где, разумеется, преобладали тексты с христианской тематикой. И Аверинцев, и Гаспаров сделали чудесные переводы – именно для этого издания (его первый том у меня хранится с памятной надписью Гаспарова). Третий том был положен под сукно дирекцией института; он так и не вышел. «Оказывается, мы охмуряем народ», – с мрачным свифтовским сарказмом сказал Гаспаров.

Итак, зимой 1973/74 года мы с Губертом Фензеном были приглашены к Аверинцеву. Только что вышла первая монография Сережи – его книга о Плутархе, которая сразу же стала важным событием. Фензен хорошо знал античность и решил издать эту книгу в научном издательстве «Koehler und Amelang», которым он руководил. Сережа назвал нам адрес: Бутиковский переулок, куда я и повез бер-

линского профессора. Мы попали в какие-то мрачные темные трущобы, спускавшиеся от Остоженки к Москве-реке; фонарей не было и в помине. С трудом пробираясь по темному обледенелому двору, мимо помоек, мы увидели двухэтажную деревянную хибару. На двери красовалась классическая надпись: «Аверинцевым – 3 звонка».

Аверинцев жил в коммуналке – с молодой женой и старой матерью Натальей Васильевной Аверинцевой, которая в это время обитала за ширмой и уже не вставала с постели; честно говоря, я не ожидал ничего подобного. Но молодые супруги как бы ничего не замечали. Сережа показал нам немецкие пластинки с записями малоизвестных композиторов XVII–XVIII веков: Генриха Шютца, Дитриха Букстехуде. В разговоре возникали имена Дюрера, Гёльдерлина, Брентано, Гёте, Германа Гессе. Аверинцев особенно нежно любил Германа Гессе как позднего романтика: в этом мне предстояло еще не раз убедиться. Аверинцев перевел замечательную статью Гессе «Библиотека всемирной литературы» и его несколько стихотворений.

Когда мы с Фензенем оцупью выходили обратно по скользкому, обледенелому крыльцу, в полной темноте, Фензен вдруг остановился и сказал: «Unter welchen Bedingungen leben die Sowietgelehrten! Und was entsteht unter diesen Bedingungen!»³

Благодаря Аверинцеву русский читатель впервые узнал о двух выдающихся немецких христианских писателях, и доньше незаслуженно малоизвестных у нас: о замечательном поэте и прозаике Вернере Бергенгрюне и прославившемся прежде всего своими историческими романами Рейнгольде Шнейдере. Не участвуя ни в каких политических акциях, эти писатели, легально издававшиеся в Германии, внушали своим читателям презрение к деспотизму и сочувствие к гонимым.

Страницы Аверинцева, посвященные творчеству Нелли Закс (1891–1970), одной из величайших поэтесс, когда-либо писавших на немецком языке (в глубокой старости она неожиданно получила Нобелевскую премию), обжигают своим драматизмом. Поражает не только глубина человеческого сочувствия безвинным жертвам Холокоста (скорбь о которых, хотя и в крайне зашифрованной герметичной форме, как траурный орган, неизменно звучит в

творчестве Нелли Закс), но и редкостная осведомленность Аверинцева в наследии средневековой еврейской мистики и каббалы, ярко и своеобразно преломившемся в лирике поэтессы.

С книги о Плутархе, в сущности, и началась подлинная слава Аверинцева. Я не поверил своим глазам, когда прочитал в газете «Московский комсомолец» имя Аверинцева среди лауреатов премии ЦК комсомола (именно за книгу о Плутархе!). Я тут же позвонил Сереже; он еще ничего не знал и был изумлен не меньше моего.

Но еще больше меня удивило то, что случилось потом: при следующей встрече у Аверинцевых Сережа с видом заговорщика показал мне отличную записную книжку с плотной бумагой и раскрыл страничку: против адреса ЦК комсомола, куда он явился за премией, он нарисовал две крупные черные буквы: «НЈ». (Это означало: «Hitlerjugend», традиционное сокращение эпохи «третьей империи».)

Хочется напоследок выделить одну черту в облике Сергея Аверинцева: он никогда не отступал от своих нравственных принципов. И поэтому с полным правом о нем можно сказать словами любимого им поэта – Осипа Мандельштама: «...Мы умрем как пехотинцы. / Но не прославим ни хищи, не поденщины, ни лжи». Он действительно умер как пехотинец, не отступивший ни на шаг от тех законов чести и справедливости, что были для него непреложными.

П.М. Нерлер

Спасибо, Грейнэм Израилевич. Еще один человек, который учился вместе с Сергеем Сергеевичем. Я не вижу, Евгений Борисович Пастернак, вы здесь? Тем не менее, когда мы говорили с ним по телефону, он сказал: «Я со второго курса с Сережей!» И воспоминания, связанные именно с общей университетской жизнью, нахлынули тогда на него.

Вообще надо сказать, что в научном бытовании Сергея Сергеевича достаточно интересно соотношение «университетского» и «академического» начал. То есть, собственно, в университете как таковом, в месте прямого контакта со студентами, Сергей Сергеевич оказался после того, как много лет проработал в академических учреждениях, главным образом в ИМЛИ. В 1990-е годы он преподавал и в Москве, и в Вене, хотя у него все время были разные кур-

сы и разные лекции. А вот публичные лекции Аверинцева, где бы они ни состоялись, чему бы они ни были посвящены (я думаю, очень многие помнят такие циклы или отдельные лекции), собирали большие и полные аудитории, причем публика была не совсем студенческая, а несколько более зрелая и взрослая.

Аверинцев-лектор сам не всегда знал, куда его заведет мысль, которую он начал излагать, и сможет ли он раскрыть хотя бы половину из того, что наметил. Мысль его была свободна, и эта свобода заводила его в какие-то боковые ответвления темы, и вообще она не останавливалась ни на минуту. Я помню, как в Институте Герцена в Петербурге, оказавшись на одном из таких вечеров, мы прогуливались в перерыве между его полупарами. И проходя мимо, я извиняюсь, как полагается в каждом университете, туалетов, Сергей Сергеевич вдруг произнес целую тираду о символике разных знаков, обозначающих важное заведение. «Петушки», «нолики» – получился чистый экспромт, его взгляд упал на это – и мысль тут же откликнулась, и с полоборота возникла необычайно интересная «лекция».

Я к тому это говорю, что существует еще и устное наследие Аверинцева, хотя я не знаю, в какой степени оно зафиксировано, – его курсы лекций. Знаю, что в Вене некоторые его лекции записывали. Публикации Аверинцева в наших мандельштамовских сборниках – это как раз его доклады. После того, как они были записаны и напечатаны, он их редактировал, правил, и они становились статьями. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я прослушал на пленке несколько его выступлений на заседаниях общества, и когда он в этом же зале вел вечер памяти Надежды Яковлевны, и его тираду о тоталитаризме, когда мы обсуждали, действительно ли век Мандельштама – XX век. Это все существует, но не в письменном виде, на магнитофонной ленте, и, может быть, нам предстоит еще работа по расшифровке и публикации такого рода источников.

Среди тех, чье творчество Сергей Сергеевич любил, – Ольга Александровна Седакова. Мне не раз приходилось слышать самые теплые и лестные слова Аверинцева о ней как о поэте. И я с удовольствием передаю ей слово.

О.А. Седакова

Я принадлежу к тем, кто бесконечно многим, может быть, всем обязан Сергею Сергеевичу, как раз к тому поколению (о нем говорил Михаил Леонович), которое росло с мыслью Аверинцева, со словом Аверинцева. И звучали для нас эти слово и мысль совершенно невероятно в той пустыне конца 1960 – начала 1970-х годов. Для меня огромное счастье, что мне довелось встретить такого собеседника, такого учителя не среди парнасских мертвецов, как это обычно бывает («друзья мне – мертвецы, парнасские жрецы»), а непосредственно в жизни. И это ученичество, хотя и косвенное, когда я прямо не сдавала Сергею Сергеевичу экзамен, потом перешло в нашу, посмею сказать, дружбу. Мне приходилось уже много думать и говорить о том, что такое сочинения Аверинцева, его труды, и я не смогу использовать это время для того, чтобы сказать что-нибудь отчетливое. Мне хотелось ответить, пожалуй, только на одну вещь, о которой сказал Михаил Леонович, справедливо отмечая то, насколько важен для Сергея Сергеевича был рационализм, античный рационализм схоластики, и еще обширный, можно сказать, здравый смысл, который в общем-то и переводится как целомудрие. То, что для русской традиции необычайная редкость, – здесь всегда беспредельность, вызывает восторг, но здравый смысл, чувство меры – очень редко. Мне пришлось много раз присутствовать на выступлениях Аверинцева, и я могу свидетельствовать, что его голос всегда замечался как совершенно особенный и неожиданный, кто бы там ни собирался, было ли это филологическое собрание или богословское. Уловить тонкости подхода и герменевтики Сергея Сергеевича, его понимания было не так просто. И теперь мне кажется, что я поняла, в чем дело. Да, это рационализм, но допросвещенческий рационализм, о котором совсем забыли, и, говоря о рационализме, думают только об этом уже суженом, противоположном чувству, вот так разделяющем: здесь – чувства, а здесь – мысль. Но рационализм Аверинцева был мыслью сердца. Он был основан и на библейской и на античной традиции, когда говорится, что человек мыслит в сердце. Сердце как орган мышления и орган чувства – и этот прибор понимания теперь настолько

уникален, что все просто изумляются такому соединению ума и чувств. Дело не в том, что они соединяются, а в том, что они не разъединялись. Вот, собственно, все, что я хотела сказать.

П.М. Нерлер

Спасибо большое. Одной из важнейших, может быть, самой важной (не берусь как бы то ни было это оценивать), составной частью жизни Сергея Сергеевича была его религиозность. Он был не только философом, размышляющим над религиозными текстами, и не только филологом, переводящим их на русский язык, но и прихожанином, участником общинной жизни. Я передаю микрофон отцу Георгию Кочеткову, с которым Сергея Сергеевича так много связывало.

о. Георгий Кочетков

Очень трудно за несколько минут что-то всерьез сказать о духовной жизни человека, особенно такого, как Сергей Сергеевич Аверинцев. Стоит ли говорить, что духовная жизнь любого человека – это тайна. Тайна, которую можно раскрывать, но нельзя раскрыть, ибо она известна до конца лишь одному Господу. И поэтому моя задача сегодня представляется мне до конца не выполнимой.

Что я могу сказать о церковной, духовной жизни, о религиозной жизни Сергея Сергеевича? Нужно прежде всего, мне кажется, здесь начать с того, что он не отрицал религиозную сторону духовной жизни. И не только не отрицал, но и утверждал ее. Утверждал, не навязывая – никогда. Но Сергей Сергеевич понимал, что дух должен воплощаться, ибо, если можно так выразиться, воплощенный дух – это более совершенный дух. Я как-то ему сказал, повторяя известное утверждение, что христианство – это не религия. Он ответил: «Да, конечно, оно – *не только* религия». Нельзя было не согласиться с этой поправкой. Для Сергея Сергеевича, мне кажется, духовный поиск, жажда свидетельства – живого свидетельства – имели огромное значение. Можно сказать, наверное, что вся жизнь его проходила в этом свидетельстве – и поэтому мученичестве. О нем можно сказать – «мартир» (как «свидетель»), но и «мученик» здесь, пожалуй, подходит.

Удивительные вещи иногда происходили в связи с Сергеем Сергеевичем. Я никогда сам не мог бы представить, что в нашем храме он будет читать проповеди, что он будет в алтаре, в стихаре, будет выносить свечу, как вы это сейчас видели на фотографиях. Что он будет непосредственно участвовать в тех действиях, которые столь торжественны, величественны и так малопонятны для большинства современных людей. Но это случилось как-то само собой. Я хорошо знал, что Сергей Сергеевич – совершенно свободный, внутренне свободный человек, которого поместить в какие-то рамки было невозможно. Он выбирал сам, он имел это дерзновение, эту свободу – свободу выбора. Вот он выбрал и это храмовое служение по призванию свыше, а мы, можно сказать, лишь пошли ему навстречу. Да, конечно, мы сами предложили Сергею Сергеевичу войти в алтарь, но, предложив это ему в первый раз, я имел в виду просто его плохое здоровье. Ведь нельзя же, когда вокруг много народу, слишком долго стоять человеку с плохим здоровьем, а в алтаре можно иногда даже посидеть. И я думал: мы поставим стульчик, и Сергей Сергеевич хорошо проведет время и будет себя прекрасно чувствовать. Но получилось совершенно иначе.

В конце 1980 – начале 1990-х годов нас связывала совместная работа в Свято-Филаретовском институте, а значит, и какие-то общие научно-гуманитарные христианские интересы. Помню, как он в 1989 году попал в один полуподвальчик, где нам приходилось тогда совершать Евхаристию почти в катакомбных условиях. На него это, видимо, произвело впечатление некоей подлинности. Там во время литургии на голову нам могла капать вода из труб. А в алтаре в тот же день у нас присутствовал монах из бельгийского Шеветоньского монастыря (о значении этого бенедиктинского монастыря всем, думаю, известно). Конечно, этот монах не причащался, но Сергей Сергеевич, наверное, заметил наше огорчение по поводу того, что такой замечательный человек не может причащаться, находясь в алтаре, хотя наша молитва, безусловно, возносилась единодушно. Мы не говорили об этом, но я почувствовал, как удивительно распахнулось после этого дня сердце Сергея Сергеевича, несмотря на все трудности тех лет – и со здоровьем, и со многим другим. Он стал не только часто приходить на испо-

веди, но и участвовать в нашей духовной, общинной и братской жизни. Конечно, для него Церковь была в первую очередь не институцией, т. е. не просто иерархически устроенным обществом. Она была чем-то большим. И всем нам это было очень близко.

Сергей Сергеевич совершенно спокойно, совершенно адекватно относился к традиционному православному богослужению, даже если какие-то его части совершались в переводе на русский язык. Он понимал, что в переводах могут быть некоторые неточности и даже неудачи, потому что иногда эти переводы приходилось делать в необыкновенной спешке, связанной с обстоятельствами того времени. Аверинцева все это волновало. Но он понимал, что там, где есть внутреннее единство в благодати и любви – не просто со-организованное единство, а непринужденное единство, – и там, где присутствует свидетельство (маририон), где есть открытость и свобода, – там не может не дышать истинный Дух.

И Дух дышал. Поэтому я не удивлялся, получая от Сергея Сергеевича разные просьбы неординарного характера. Помолиться в храме за Михаила Леоновича Гаспарова, например, или за Юрия Лотмана после его кончины и т. д. Однажды я приехал к нему домой, а он плохо себя чувствовал и вдруг захотел исповедаться, у меня же ничего с собой не было, абсолютно ничего, поскольку я никак этого не ожидал. Тогда Сергей Сергеевич сказал: «Ну что же с того, что нет у Вас епитрахили. Ведь в лагерях-то батюшка просто вешал полотенчику на плечи, перекрестив его, и использовал как епитрахиль». Мне ничего не оставалось делать, как согласиться с этим «лагерным» вариантом. И, кажется, это было оправдано и услышано Богом. Во всяком случае, я тому свидетель.

Проповеди, которые читал Сергей Сергеевич, – это был какой-то совершенно особенный случай. Его удивительная открытость нас поражала, всех прихожан, всех. Первые проповеди, которые он читал – сразу после чтения Евангелия, в стихаре, – были больше похожи на лекции, и, видимо, это его не удовлетворяло. Они были замечательными, но еще больше лекции, чем проповеди. А проповедь – это какой-то другой, и не только эмоциональный, не только рациональный жанр. Это, если можно так сказать (при ус-

ловии, что это настоящая, живая, а не схоластическая проповедь), пророческий жанр. И этот жанр все же оказался близок Сергею Сергеевичу. Поэтому он очень быстро, буквально за несколько месяцев радикально изменил не только внешнюю форму своих проповедей: они остались такими же длинными, но стали настоящими проповедями. Впрочем, иногда, когда это было нужно, например после венчания, он произносил очень короткие проповеди-свидетельства с использованием своего личного опыта. В архиве нашего института хранится немало записей проповедей Сергея Сергеевича, и я очень надеюсь, что нам удастся их издать. Тогда все смогут увидеть, как это было. Я думаю, что это целая эпоха и заявка на будущее, некое откровение той глубины духовной жизни, интегрирующей все живое, к которой так стремился Аверинцев.

Уход Сергея Сергеевича обнажает какую-то зияющую пустоту нашей жизни. Нам обязательно будет чего-то не хватать и уже не хватает. И все-таки есть надежда. Потому что все подлинное, все истинное не гибнет и приносит плоды. Конечно, и слово, и писания Сергея Сергеевича и в будущем будут приносить плоды, я уверен. От нас здесь требуются только небольшие усилия для того, чтобы его больше читали, и слушали, и смотрели. А есть что посмотреть, есть что слушать и есть что читать – не только нам, но и многим следующим поколениям.

П.М. Нерлер

Спасибо, отец Георгий. В последние годы, в последние десятилетия, по меньшей мере, интересы Сергея Сергеевича (наверное, это для каждого его десятилетия характерно) удивительным образом расширялись и расширялись. Иногда могло показаться, что это связано с какими-то внешними мотивами – обращением, например, одного из телеканалов с просьбой прокомментировать что-либо. И по результату это всегда было очень интересно. Но существовали темы, которые интересовали Аверинцева независимо от каких бы то ни было к нему обращений. Мне кажется, что одним из таких органических направлений расширения его интересов были вопросы семьи и воспитания. Если мы прочитаем его последние публикации, то это достаточно сквозная для них тема.

Подумать только, у Сергея Сергеевича отец был профессором-биологом, а дед – еще крестьянином и чуть ли не крепостным. Огромная дистанция была пройдена его родом и им самим. Не забудем, что Сергей Сергеевич очень поздний ребенок, родившийся, когда его отцу был 61 год. Во время работы в архиве Гейдельбергского университета, по мандельштамовским, кстати, делам, мне случайно удалось наткнуться на университетское дело его отца. Сергей Сергеевич очень радовался, получив ксерокопию дела со сведениями о том, какие отметки у каких профессоров получал его отец.

Аверинцев воспринимал кризис культуры, с которым мы сейчас, безусловно, имеем дело, как кризис культивирования (буквально – воздвигания), как кризис именно воспитания – ума, души, духа. Постмодернистский подход к культуре был ему, мягко говоря, не близок, а успехи постмодернизма вызывали у него очень большую тревогу.

Я вижу, что Юрий Львович Фрейдин появился в зале, и хочу передать ему слово.

Ю.Л. Фрейдин

Не скрою, я специально готовился к этому вечеру. И захватил вот эту книжечку (она, вероятно, есть и здесь на стенде): «Плутарх и античная биография». Но на этой книжечке есть дарственная надпись: «Дорогой и глубокоуважаемой Надежде Яковлевне эту ненужную (для нее, по-видимому, ненужную) книжку (с рожей на обложке) с поклоном кладет в руки С.А.». Вот эта античная рожа, конечно, на Плутарха мало похожа. Это может быть стилизованный Данте или Тассо в лавровом венке. И вот тридцать с лишним лет назад эта книжка получила премию организации, о которой молодые присутствующие, наверное, имеют довольно смутное представление, – премию Ленинского комсомола. И сделалась событием, потому что это была прекрасная книжка и прекрасная о ней история. Есть много разных вариантов истории о том, как Сергею Сергеевичу, который не только не был комсомольцем, но и пионером, вручили такую премию. Может быть, Михаил Леонович Гаспаров, если его попросить, вспомнит что-то более конкретное. Все это было очень странно и необычно: Аверинцев, человек, о котором тогда уже многое было известно, в частно-

сти о его диссертации о Плутархе и издании этой книжки, и – премия Ленинского комсомола! Дорогой и многоуважаемой Надежде Яковлевне «ненужную книжку с рожей на обложке» подарил Сережа Аверинцев. А книжка посвящена, это там и написано дальше, его матери – Наталье Васильевне Аверинцевой. И вот их вместе, Сергея Сергеевича и Наталью Васильевну, я встретил у Надежды Яковлевны, когда они пришли к ней в гости. Нужно сказать, что отношение Надежды Яковлевны к Сергею Сергеевичу и, надеюсь, его к ней носило совершенно особый характер. Она его из всех выделяла, но и человек он был совершенно выделяющийся. Аверинцев претендовал еще на какую-то роль – и в этом случае тоже. К сожалению, Евгений Борисович Пастернак, который не смог прийти, а он бы тоже рассказал об этом подробнее.

Наталья Петровна вспоминает, как однажды Сергей Сергеевич решил поговорить с Надеждой Яковлевной всерьез, чтоб она не так сильно ругала людей и вообще была бы даже к тем, кого не любит и осуждает за что-то, более милосердной. Когда Наталья Петровна узнала о его намерении, то она сказала: «Она тебя выкинет в окошко». Вообще по нраву Надежды Яковлевны если не в прямом, то в переносном смысле этого можно было ожидать. Сергей Сергеевич вполне серьезно ответил жене: «Ничего, там первый этаж». И это правда, там был первый этаж.

Надо сказать, что Сергей Сергеевич в ту пору еще Мандельштамом не занимался, и, в сущности, Надежда Яковлевна и Сергей Сергеевич принадлежали как бы к разным лагерям любителей поэзии. Надежда Яковлевна, например, считала, что нельзя одновременно любить Мандельштама и Хлебникова, у нее было такое мнение. И уж, во всяком случае, она очень сильно не любила Вячеслава Иванова, которого любил, изучал и о котором писал Сергей Сергеевич. Этому можно найти разные причины. Суммарно проще считать, что эта нелюбовь была ею унаследована не от Осипа Эмилевича, который и в поздние годы относился к Иванову вполне позитивно, а скорее от Анны Андреевны, то есть унаследовано в годы более поздние, когда Осипа Эмилевича уже не стало. А уж как эта нелюбовь сформировалась у Анны Андреевны – это отдельная и большая история. Сегодня кажется смешным – любить, предпочитать

Ахматову, или Гумилева, или Вячеслава Иванова, а по тем временам это были разные поэтические лагеря. Поэзия была довольно опасной зоной – минным полем, можно было легко взорваться, попасть в какую-нибудь историю, в какой-нибудь скандал. Вот этим умением попадать в истории и скандалы и обладал в высшей степени Осип Эмильевич Мандельштам.

Может быть, за это его и ценил Сергей Сергеевич, сам не любивший ни гладкого течения мысли, ни такого же гладкого, простого течения жизни и никогда не избегавший прямизны. И я думаю, что в этом случае неумение избегать прямого слова тоже ему помогло: Надежда Яковлевна его не выбросила в окошко, Надежда Яковлевна ничего ему не сказала, и все разошлись при своих интересах.

Нужно сказать, что нам, к сожалению, не удалось увидеть Сергея Сергеевича в том состоянии, в котором жила последние годы Надежда Яковлевна. Для Аверинцева было характерно переживание чувства, состояния постоянно исполняемого долга, исполняемой задачи, может быть, и миссии, одним словом, и этого большого дела, которое постоянно творилось у него в душе и творилось им самим – тоже. А вот у Надежды Яковлевны где-то в последние десять лет ее жизни было чувство совсем другое. Все мы хорошо знаем, что есть какая-то задача, какое-то трудное и важное дело, его нужно сделать, и вот ты делаешь, делаешь – и сделал его. И наутро просыпаешься с чувством исполненного долга.

Надежде Яковлевне в этом смысле очень повезло: она последние десять лет жила с чувством исполненного долга. Буквально, совсем, полностью. И это было совершенно особое состояние. Я думаю, ее очень привлекало в Сергее Сергеевиче то, что он этот долг постоянно исполнял. Об этом, наверное, лучше скажут другие, поскольку мои воспоминания и рассказы основаны на не очень большом числе встреч с Сергеем Сергеевичем. А встречались мы, кроме как у Надежды Яковлевны, в разных общих местах, собраниях и концертах.

Кроме того, был такой интересный эпизод, когда Сергей Сергеевич занялся Мандельштамом всерьез и был организован мандельштамовский проект – очень неудачный и, по сути, провалившийся, потому что был плохо организован (отчасти ответственность за это нес и я), – ака-

демическое собрание. Нужно сказать, что Сергей Сергеевич в этом проекте участвовал очень душевно, но практический его вклад был невелик. Не редактировать же ему материалы, которые время от времени поступали! Казалось бы, Аверинцев был занят в ту пору иными вещами, тем не менее он открыл (иначе это не назовешь) такую удивительную черту мандельштамовского облика, такой сквозной его мотив, который оставался для исследователей в тени. Это свойство ювенильности, долгой юности самого Мандельштама, именно не инфантильности, а ювенильности, отразившейся в его стихах, прозе содержательно, и тому есть много разнообразных примеров. В этом смысле я считаю, что, хотя сам академический проект был неудачным, завершился он такой удачей, я бы сказал, открытием в этой области – соответствующую работу проделал Сергей Сергеевич.

Я думаю, что многие, кто с ним соприкасался в разных областях и интересах, могли бы сказать, что соприкосновение это, особенно если оно касалось новой для Сергея Сергеевича темы, проходило вроде бы не очень активно, не очень заинтересованно, но в конце концов возникало какое-то открытие. Я думаю, что, действительно, как тут говорилось, нам еще долго предстоит эти открытия осваивать, осмысливать, а многие из них, если удастся, и продолжать. Благодарю вас.

П.М. Нерлер

Спасибо, Юрий Львович. Вы правильно сказали, что в те годы, когда Сергей Сергеевич общался с Надеждой Яковлевной, непосредственно Мандельштамом – исследовательски или как-то иначе, в научном плане – он не занимался, но его отношение к поэту может охарактеризовать следующий эпизод, который он мне рассказал. Однажды ему позвонила Надежда Яковлевна и сообщила: «Вы знаете, завтра ко мне приезжает воронежская Наташа». И Сергей Сергеевич испытал буквально шок, – как если бы ему сказали, что завтра приезжают Лаура или Беатриче! Такое ощущение мандельштамовского стиха и всего того, что за ним стоит, было, безусловно, предпосылкой уже собственно мандельштамоведческих работ Сергея Сергеевича. Я представляю слово Георгию Степановичу Кнабе.

Г.С. Кнабе

Здесь было упомянуто о том, что Сергей Сергеевич Аверинцев за одну из своих работ получил премию ЦК комсомола. В конце своей жизни он получил также премию и признание Ватикана. Это важно. Важно потому, что Сергей Сергеевич никогда не жил и не думал на общественно-политической, хроникально-повседневной поверхности жизни. Он жил и думал на глубинных горизонтах времени, на горизонте культуры. Говорить о том, что такое горизонт культуры и что такое культура вообще, занятие сомнительное и безвкусное, тем более в такой аудитории.

Но есть в этом понятии одна грань, которая абсолютно необходима, поскольку она составляет самую суть и сродни Сергею Сергеевичу, тому, что он сделал и написал. Речь идет об одной лекции Лотмана, на которой я услышал его фразу, впоследствии появившуюся в напечатанном виде: культура – это попытка выразить невыразимое. В этом суть дела: выразить, то есть вывести из глубин, из невыговариваемой глубины своего «Я». Из текучей, неуловимой плазмы мысли, чувства, общения – выразить, найти слово, определить. Установить границы, сказать. Но как выразить невыразимое? При сохранении всего того дословесного богатства, которое живет в душе человека и делает его таким, а не другим. Взаимодействие этих двух начал образует самую суть культуры вообще и той грани культуры, которой она повернулась к нам в последние полстолетия.

И вот в чем суть отношения Аверинцева к культуре. В книге «О ранневизантийской литературе» есть поразительная глава, «Унижение и достоинство человека». Выявленное в Библии начало человека ничуть не менее телесно, чем в античности. Но только для него тело – не осанка, а боль. Не жест, а трепет. Не объемная пластика мускулов, а уязвляемая потаенность недр. Это тело, несозерцаемое извне, но восчувствованное изнутри, ибо образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого нутра. Я думаю, что большинство здесь присутствующих знакомы с творчеством Аверинцева и могут заполнить это суждение реальными материалами его биографии, отчасти здесь уже об этом говорилось, и реальными текстами из его произведений. Вот это внутреннее, острое, болевое, невысказываемое, невербальное, интимное ощущение культуры, общест-

ва, жизни и составляет суть человеческого поведения и человеческого отношения к жизни.

Но эта сторона дела в условиях современной цивилизации, которая здесь была названа, в частности, цивилизацией постмодерна, вышла из естественного, натурального равновесия со своей противоположной стороной, с тем, что высказано и что должно быть высказано. За этими годами пошли общезначимые и распространенные в общественном мнении и философской публицистике суждения, из которых следовало, что все оформленное, структурированное, общезначимое и потому нормативное, закрепленное в традиции и выходящее за рамки «здесь-сейчас» и «я», риторично. Риторичное, внятное, а значит – не мое. Только неправильное и сиюминутное, только непосредственное и пробормотанное – нериторично и в силу этого человечно.

И вы ускользнули от отчуждения, от вторичности, а значит, от лжи, которая заключена в культуре. Это поразительное – не мысль, это развитое в культуре и в цивилизации ощущение, что все, что общее, все, что нормативное, все, что правило, все, что закон, все, что может быть рационально сказано и доказано, – все это отчуждено. Отчуждено, потому что только то, что я могу пробормотать, внутренне ощутить и как-то пережить, вот это действительно заслуживает сути обозначения как человеческое. Для тех, кто нуждается в подтверждении этой мысли, с которой приходится сталкиваться постоянно, – знаменитые гарвардские лекции Умберто Эко 1992 года, опубликованные под названием «В лесах вымысла».

Так вот, в России поставленная здесь проблема риторики оказалась второй после той, что поставил Аверинцев вначале. Если первым, альфой, так сказать, его духовного бытия и духовной биографии было внутреннее болевое ощущение неповторимости интимного существования внутри человека, то вторым стал вопрос о риторике, то есть о том, как это сказать.

Михаил Леонович в течение двадцати с лишним лет выражает свою любовь к фразе Витгенштейна, заключающую его логико-философский трактат: «О том, о чем нельзя сказать, надо молчать». И все эти двадцать лет в прямых и в не прямых разговорах я пытаюсь убедить его в том, что это абсолютно неверно. Что человек начинается там, где он

находит слово, находит форму, где он может что-то выразить и у него есть обязанность не только пережить, но сказать, сказать внятно и ясно, сказать людям. И вот на этом скрещении, на этом столкновении, постоянном взаимодействии того, что невыражаемо и потому живет себе как адекватное, и того, что должно быть сказано и выражено и именно поэтому стать настоящим, – в этом и состоит проблема отношения Аверинцева к риторике, которой он посвятил очень много работ.

Эту двойственность риторики он остро ощущал. В его разговорах о риторике очень часто, чтобы не сказать всегда, присутствовал несколько иронический тон. Все-таки это такое детство самовыражения, которое за счет красоты выражений и изящества формы найденных отношений очень этим гордится, а у нас, знающих, что такое невысказанное и утонувшее под риторическим покровом, у нас эта риторическая пестрота вызывает часто и иронию, о которой Сергей Сергеевич говорил и писал очень много. Но решением проблемы стало имя, относящееся к тем именам, которые не окрашивают эпоху, не окрашивают тексты, но живут в подсознании времени и образуют суть его, открытую только тем, кто готов и может в нее вдумываться. Это гений Аристотель. Последние работы Аверинцева в большинстве своем связаны с его именем, или непосредственно фигурирующим в названии статей начала 1990-х годов, или же присутствующим в подтексте.

Одна из статей называется «Античная риторика и судьбы античного рационализма». Последний абзац, заключающий эту статью, звучит так: «О будущем культурном синтезе, когда мы, не возвращаясь к риторическому прошлому, сумели бы полноценно, с выходом в практику оценить его здоровые резоны, пока можно только гадать». Гадать пришлось недолго, потому что в том, что было сказано выше, – о полном отрицании риторики как некоторого отчужденного полутела литературы – нужно было найти окончательную и убедительную форму, то, что Аверинцев и А.В. Михайлов называли «готовым словом». Так вот, все эти понятия были признаны окончательно отодвинутыми в антикварное прошлое. Но счастье в том, что пока люди остаются людьми, а человечество – человечеством, истина и ее способность воплотиться, сделаться

конкретной и внятной, обрести форму не могут стать антикварным прошлым.

Отсюда и исходит устойчивый интерес Сергея Сергеевича Аверинцева на протяжении последнего периода его творчества к Аристотелю. Бытие, которое обретает форму, – эти слова, передающие суть аристотелизма, следовало бы написать на его могиле, если бы она была. И это аристотелевское начало, аристотелевское умение, заключающее духовное развитие Аверинцева, начав с острейшего внутреннего невыговариваемого переживания действительности и императива формы, завершает его творческий и литературный путь в двух видах. С одной стороны, он говорит о столь характерной для православия доктрине исихазма Григория Паламы, которую тот заимствует у Аристотеля. Совершенно бесспорно и очевидно, что исихазм растет из Аристотеля. И в другом месте той же статьи Аверинцев говорит о том, что принцип католической традиции требует, чтобы ради ограждения одного личного существования от другого субъекты воли были, подобно физическим телам, разведены в моральном пространстве.

Там, где Аристотель говорит о том, что сущность вещи есть форма, возникает западное ощущение автономии единичного бытия, и Аверинцев прямо связывает это с Аристотелем. И там, где Аристотель высказывает самую заветную, самую великую, самую европейски значимую свою мысль об энтелехии, он говорит об источении энергии, о том, что божество реализует себя в воплощенном источении энергии. Две эти вещи дают нам возможность повторить в заключение то, с чего мы начали. Аверинцев никогда не жил и не думал на общественно-политической и на конфессиональной, на хроникально-повседневной поверхности жизни. Он жил и думал на глубинном горизонте времени, на горизонте культуры и ее судеб.

П.М. Нерлер

Спасибо, Георгий Степанович. Кстати, могила Сергея Сергеевича существует. Наталья Петровна привезла в Москву урну. Тем, кто хотел бы посетить место, где захоронена урна Сергея Сергеевича, сообщаю, что это Даниловское кладбище.

Я предоставляю слово Григорию Соломоновичу Померанцу.

Г.С. Померани

Для меня сам Сережа всегда был чем-то более интересным, чем даже то, что он писал и говорил. Не потому, что он в устной форме выразил больше, чем в письменной, или в реплике, чем в статье, – нет. Он себя достаточно выразил во всем, и я многим обязан ему. Например, я, как студент, слушал лекции Аверинцева по истории средневековой эстетики, по истории католического и православного богословия.

Но все-таки еще более Сергей Аверинцев был мне интересен как человек. Я попытаюсь вспомнить несколько его реплик и проанализировать, что за этим стоит. Он был очень «другим», очень непохожим на все, что его окружало. Он был как росток от дерева, срубленного почти до основания. И вдруг поднялась еще одна веточка. Он был сыном старого профессора, который сложился еще до революции и только благодаря какому-то случаю (Сережа мне говорил, но я забыл, что это был за случай) не был расстрелян. И естественно, он не очень любил то, что его окружало, в чем-то продолжая следовать традициям семьи.

Но многое Сергей внес и сам. И это вытекало уже из его биографии, начиная с раннего детства. Вскоре после того как мы с ним познакомились, он пригласил меня на свою квартиру. Я оказался в жуткой трущобе, в Бутиковском переулке, и на меня сразу нахлынули воспоминания детства, которые я не мог выложить, чтобы не травмировать его маму. Но потом, когда мы с ним снова встретились, я спросил: «Сережа, Вас били мальчишки с вашего двора?» – «Да, – ответил он, – били». Я говорю: «Считайте, что мы породнились».

Это были младшие братья тех мальчишек, которые меня травили, прижимали к стенке, дергали меня за волосы, когда я проходил мимо, потому что я жил на углу этого самого Бутиковского переулочка и, признаюсь, относился к нему с большим страхом. Думаю, что это знакомство даже не с образом народа, а с конкретным народом в лице его пролетарских отпрысков избавило Сергея Аверинцева от народопоклонства, что нас тоже сближало.

Но было различие, которое я все время чувствовал. Он был, опять-таки судя по рассказам, болезненным и слабым ребенком, мать много возилась с ним, чтоб он остался в живых. Сергей не всегда мог ходить в школу, и именно его

болезненность и слабость будила зверя в этих пролетарских отпрысках. И даже когда он стал уже совсем взрослым, то по телефону сообщал маме, что задерживается, вел себя как подросток, хотя ему было уже лет тридцать. Потому что, как Сергей мне объяснял, он целиком был обязан маме, которая его вытаскивала из всех детских болезней. И от этого детства, от домашнего ребенка было что-то в его характере, при этом как-то по-своему им интерпретированное.

Когда в 1968 году многие подписывали обращения – не очень многие, как оказалось, но шумели многие, – я его спросил: «Сережа, почему Вы ничего не подписываете?» Он мне ответил: «Я человек робкий». И сказал это не в порядке извинения, а с такой интонацией, что я почувствовал здесь некоторую линию поведения, в чем-то опиравшуюся на традицию семьи, которая, в общем-то, жила, внутренне советской власти не признавая, но исходила из того, что «этот рояль не надо трогать, чтоб не заиграл». Впоследствии эту точку зрения Сергей четко выразил в какой-то статье, где говорил о том, что культура нуждается в людях, которые целиком ей принадлежат и не вмешиваются ни в какие другие области. Я бы назвал это упрямой робостью или робким упрямством.

Это сказывалось в очень многих его действиях и поступках. Например, он строил фразу так, чтобы слово «Бог» стояло сразу после точки. А когда пришлось ему писать свою книгу (это было время запрета цензурой библейских легенд Корнея Чуковского, потому что он не мог выполнить требования редакции вычеркнуть два слова: Бог и еврей), Сережа вышел из положения, употребив выражения «эллинская и ближневосточная традиции». Слово «ближневосточная» ласкало слух цензоров – они сразу вспоминали «Фронт национального освобождения», но поскольку речь шла о временах до Рождества Христова, то читатель мог сообразить, о чем шла там речь. Он избегал прямого столкновения, но очень упорно, осторожно проводил свою линию.

Что за этим стояло? Не только семейная традиция. У нас был однажды метафизический спор, о чем, не помню. Но я сказал, что знаю это из опыта – и Сережа с некоей внутренней убежденностью ответил: «У меня тоже был опыт». Я, не задавая ему вопросов, старался понять, в чем заключался его опыт и когда он был. И в связи с тем, что он начал

рассказывать, как рано начал читать такие книги, как Евангелие, я заподозрил, что опыт был связан именно с этим. Позже я точно узнал, что у Сергея был опыт того, что митрополит Антоний Сурожский называл Встречей. И этот опыт был окрашен детским возрастом, когда в семь лет он прочел Евангелие и как-то по-семилетнему его пережил. И когда я взял в руки его статью «Христианство» в Философской энциклопедии, то обратил внимание на частотность употребления некоторых слов, для меня удивительную. Я взял карандаш, подчеркнул и подсчитал: слово «любовь» было упомянуто один раз.

Он много говорил еще в доперестроечные времена о том, что православие или переменится, или погибнет. Я даже возразил ему – он потом смягчил формулировку. Но именно эта гиперболическая формулировка показывает, насколько он болел за состояние церкви. Так что я думаю, что, как отец Георгий уже упоминал об этом, просто освободилась пружина, которая была у Сережи до сих пор в напряжении, в Космодамиановском приходе смогла развернуться. При этом, когда Антоний Сурожский в 2000 году выступил со своей речью, где он поддержал о. Георгия Флоровского в том, что трагедия церкви началась с Вселенских Соборов, которые слишком жестко определили то, что надо было предоставить свободному решению сердца, Сережа назвал это мистическим анархизмом.

Я был недоволен этим и пытался возражать. Тогда он мне начал говорить, как любил Антония и любит его до сих пор, но с этим не может согласиться. Должен сказать, что с Сережей очень часто можно было не соглашаться, но продолжать находиться в любви и в дружбе. Это пример, которому стоит подражать. Мы часто полемизируем, но редко умеем полемизировать с идеями, не раздражаясь и не теряя доброго отношения, интереса и внимания к человеку, с которым интересно спорить, даже оставаясь на разных позициях.

Я постарался понять, что вызвало такое неприятие Сергеем достаточно резкой позиции владыки Антония, с которым, кстати, до некоторой степени его самого можно поставить рядом. Потому что при всем различии сфер, в которых они действовали, оба были под впечатлением Встречи, хотя и разной. Встреча, пережитая пятнадцатилетним юношей, поведавшим, можно сказать, огонь, воду и медные трубы, и

Встреча робкого домашнего ребенка были разными. Тем не менее эти встречи жили и действовали в них обоих.

Может быть, я не совсем понимаю это, но мне кажется, что резкая формулировка Антония Сурожского, разрушавшая твердые стены, противоречила свойству Сережи, которое проявлялось в разных оценках. Он говорил мне как-то, что нам заповедано любить ближнего, но вот религии Индии и Китая для нас не ближние, они такие далекие, что это задача тех, кто с ними соприкасается, живет где-то рядом. А наша задача – любить то, с чем мы соприкасаемся. Вот задачей Сергея было любить неправославные ветви авраамистических религий, потому что с ними он постоянно сталкивался.

Но потом, в последнем интервью, была совершенно другая формулировка. Аверинцева спросили, чем он объясняет то, что европейцы тянутся к религии Индии и Дальнего Востока, и он дал очень слабое объяснение: тем, что эти религии проще. Вот конфуцианство утверждает идеал семьи, а буддизм – идеал монашества, в христианстве же парадоксально сочетается и то и другое.

Но тут явная ошибка неполной индукции, рядом был индуизм, где тоже прекрасным образом сочетается и идеал семьи, и идеал отшельничества. Да и вообще современного европейца испугать парадоксальностью трудно – наоборот, парадоксы в период театра абсурда привлекают, и в основном-то тянулись европейцы к школам мистического опыта, к школам, к технике экстаза, именно это их влекло. Словом, обе характеристики, мне кажется, были не совсем удачными попытками объяснить то, что лежало глубже уровня осознанности, хотя Сережа пытался это осмыслить.

Самым первым свидетельством этого было то, что он мне подарил две книжечки с прекрасными иллюстрациями, с фресками Аджанты, сказав: «Мне это не нужно, а Вам может быть интересно». Мне это действительно было интересно. Но почему это было ему неинтересно? Я думаю, это разрушало то его качество, которое Наталья Леонидовна Трауберг лет сорок пять тому назад назвала «берложностью», то есть у него была склонность жить в замкнутом духовном пространстве.

Правда, «берлога» Аверинцева была очень большая. Я его как-то в шутку назвал «средиземноморским почвен-

ником», а его почвой была вся традиция средиземноморских культур. Но вот по ту сторону Суэцкого канала это был какой-то странный мир, в котором все перевернуто, – что для них тьма, для нас свет, и т. д. И он как-то не решался шагнуть в бездну, где самые основные символы имеют другое значение. С этим была связана одна характерная ошибка Сергея в комментировании «Игры в бисер». Там надо было объяснить, что такое «инь» и «янь», и он объяснил их как раз наоборот. Потому что свет и тьма – мы всегда поставим на первое место свет, а потом тьму. А то, что китайцы наоборот ставят, ему непривычно было. Обжегшись на этом и будучи академически добросовестным человеком, когда Сергей вынужден был заходить в эту запретную для себя область, он штудировал какие-то книги и все его ссылки были абсолютно корректны. Но это было вынужденным, затем, чтобы, так сказать, не сделать ошибки. Вся сфера индийско-китайских культур ему была чуждой, и он в нее неохотно заходил.

Мне кажется, в какой-то степени такой «берлогой» был для Сергея и академизм. Это было той экологической нишей, в которую он также уходил, как, допустим, в структурализм. И Бахтин мне говорил, что наши структуралисты интересные, а вот французские – уж такие скучные, что терпеть невозможно. Потому что у нас это была экологическая ниша, куда входили все, кто спасался от марксизма. Так можно было спастись, уйдя и в академизм, и т. д. А потом Сергей в известной степени к этому привык и оправдывал, но внутри его все-таки жило то, что в детстве было им пережито, – непосредственное переживание реальности Христа в жизни. И в своей внутренней жизни он двигался от детского переживания Христа с трепетом, надеждой и страхом к познанию любви, прежде всего в живой, практической реальности.

В связи с этим я думаю, что изменилось и его понимание опыта, который жил в его сердце. Вот, наверное, основное, что мне хотелось сказать.

П.М. Нерлер

Большое спасибо, Григорий Соломонович. Как средиземноморскому почвеннику, Сергею Сергеевичу было, может быть, легче, чем многим другим, чувствовать себя как дома не только в культурах и языках, но и в реальных горо-

дах, в реальных средах обитания. Меня поразило, как быстро он вжился, врос в Вену, как полюбил ее отдельные кварталы, отдельные храмы, улицы. Аверинцев втянулся, если угодно, в такую языковую игру – любил пародировать австрийскую речь, любил играть на разнице между австрийским немецким и немецким немецким, ну, и многое другое. Это было его естественным состоянием в городе, в котором ему пришлось жить последние несколько лет жизни.

Именно об этом – венском – периоде жизни Сергея Сергеевича прислала свои воспоминания его ближайшая сотрудница, ассистентка и коллега из Венского университета Роз-Мари Циглер. Я не стану их сейчас зачитывать, хочу только привести две-три детали. Она вспоминает, с каким блеском Сергей Сергеевич прочел свою лекцию или доклад, когда он претендовал на место полного профессора Венского университета. О том, какое он произвел впечатление на слушателей – как на присутствовавших там россиян (на Ефима Григорьевича Эткинда, например), так и на немцев, своих будущих коллег по кафедре. Она пишет о том, как любили его лекции студенты, как надеялись на то, что он поправится. В Вене он умер.

У нас еще двое выступающих, и я передаю слово Нине Владимировне Брагинской.

Н.В. Брагинская

Мне довольно трудно говорить после всех, тем более что последний выступающий предварил несколько мыслей, которые и я хотела высказать. Я захотела сказать о том, что теперь наступает эпоха без Аверинцева, после Аверинцева. Выдающиеся люди дают имя своей эпохе, на которую они совершенно не похожи. И Аверинцев для тех, кого мне хочется назвать «мы», а это в общем-то люди, средний возраст которых весьма солидный, – был чудом этой эпохи. А познавалось это чудо и визуально, и акустически, и по любому наугад взятому кусочку живой ткани его текстов. Можно было даже не понимать целого, не прочесть всей работы, но любой образец его текста был живым, и это отличало его от языка эпохи, по которому она будет называться. И когда уже к середине 1990-х годов вышел двухтомник, я с жадностью его схватила и захотела, наконец, увидеть это целое, меня вдруг кольнуло в сердце: «И это все?» Мне вдруг показалось, что этого мало.

Здесь я хотела повторить, только немножко по-другому, мысль Григория Соломоновича, что Аверинцев больше того, что он написал. Не потому, что он написал мало или не является большим ученым, как назвал его Михаил Леонович, – и то и другое верно, там 600 или 800 наименований, масса переводов и очень много сделано. Но он больше того, что он написал. Так бывает – некоторые люди меньше, некоторые больше, некоторые примерно такие же.

Связано это со способностью Аверинцева создавать синтетическую картину широтой горизонта и точностью деталей при этом птичьим полете, которая не закрывает тему. Тот, кто получил от него эту картину, не думает: «Вот теперь я это знаю!», а думает: «Теперь я хочу это узнать!» Эта энергия понимания как участия и любви к объекту, о котором идет речь, сообщается читателю. Это начало, это импульс, это сила, которая выходит из этих текстов, которая в них не заключена и не заперта.

Я бы сказала, что главный жанр Сергея Сергеевича можно было определить как сермонес или эпистолы. Как беседу. Независимо от того, в письменном ли она виде или в устном, хотя устный жанр использовался им много больше, чем традиционно академическими учеными. Он жил в клетке, как и все остальные. Но есть такие птички, даже иногда совсем незначительные, как воробьи, которые не живут в клетках, а умирают. А эта – такая, в общем, Жар-птица! – в клетке выживала.

Я не хочу дурного слова сказать о тех, кто отдал сопротивлению этой клетке все свои силы и не оставил в себе какие-либо возможности. Сергей Сергеевич этого не делал, но и не делал ничего постыдного. И его опыт – это опыт органической инаковости, которая позволяет противостоять, не сжигая себя радикальной борьбой, и быть ободряющим присутствием для остальных людей.

Я сказала, что этот человек обозначает эпоху. Эпоху, которая закончилась, после которой нам нужно как-то жить дальше. И я думала о том, что можно взять с собой благодаря Аверинцеву в это предстоящее нам, по-видимому, довольно противное время. Мы не можем взять у него ни его талантов, ни его дарований, но давайте возьмем эту инаковость.

Не будем адаптироваться и говорить – время такое! Аверинцев менял пристрастия, разочаровывался в каких-то

своих влюбленностях, но никогда не сжигал то, чему он раньше поклонялся. Он сохранял живое равновесие трезвости. Я предлагаю взять с собой его трезвость без цинизма и разочарованности. Аверинцев уважал читателя. Допустим, произошла смерть автора. Произошла смерть читателя. Но если его все-таки уважать – может быть, он воскреснет. Я предлагаю уважать читателя.

И еще, наверное, можно взять с собой в дорогу такую старомодную, неизысканную, но добротную вещь, которая у Аверинцева была, – веру в добро. В дороге пригодится.

П.М. Нерлер

Мне кажется, что, неизменно оставаясь самим собой, Сергей Сергеевич как органический носитель внутри себя чувства свободы, которая проявлялась и в его письме, и в его поведении, и в его манере говорить со всеми, внес на самом деле свой вклад в определенное противостояние, о котором шла только что речь. В каком-то смысле его внутренняя свобода – свобода ученого, мыслителя и верующего человека – оказала большое влияние на его слушателей, она усваивалась ими во время лекций и бесед с ним. Я думаю, что это тоже не должно быть забыто.

Я передаю слово Владимиру Борисовичу Микушевичу.

В.Б. Микушевич

Дамы и господа! Кончина Сергея Сергеевича – это большая утрата для нас. Утрата, боль от которой не проходит, и я думаю, не пройдет никогда для того, кто так или иначе с ним соприкасался.

А я не просто с ним соприкасался – я был его внимательным читателем. В 1977 году в мою жизнь вошла его книга «Поэтика ранневизантийской литературы», которая произвела на меня неизгладимое впечатление, я ее перечитываю до сих пор. Чем воздействовала эта книга на меня? Он мне показал, что церковные и православные поэты, которых я с детства знал по литургии, являются еще и поэтами, в общем, того же ряда, что Тютчев, Баратынский, Вячеслав Иванов. И это чувство что-то во мне изменило, оно было насущным для меня.

Не знаю, помнит ли Григорий Соломонович Померанц нашу полемику в Локкуме, когда он выступал на сто-

роне тех, кто считал, что литургию надо в целях понятности упростить. Я возражал ему: что вы скажете, Григорий Соломонович, если ради понятности будут упрощать Гёльдерлина и Пастернака? Как же можно упрощать наших литургических поэтов, не менее сложных, может быть, даже более сложных? Когда я это говорил, то опирался на книгу Сергея Сергеевича.

Я очень благодарен Михаилу Леоновичу за то, что он упомянул о молчании, о значении молчания для Сергея Сергеевича. Только что говорилось о том, что он предпочитал свет тьме, если я правильно понял. А разве не Аверинцев напомнил нам о том, что Божество для Дионисия Ареопагита – это глубинная тьма непостижимого? Это относится и к тем литургическим поэтам, о которых я только что сказал. Могут ли быть понятны и доходчивы вещи невидимые? Так определяется вера в Евангелии. Об этом Сергей Сергеевич всегда хорошо помнил.

Его анализ православной апофатики, может быть, главной в православии, останется на долгие годы. Он, конечно, об этом только напомнил, но нужно было уметь высказать это так, как высказал он. И конечно, когда Витгенштейн говорил о молчании, он имел в виду не то, что имел в виду Дионисий Ареопагит, но, может быть бессознательно, следовал этой же традиции. Носителем этой традиции – человеком, умеющим молчать о главном, был Сергей Сергеевич. Именно эта апофатическая сторона нашей традиции вызывает на Западе нарекания в том, что у нас не развито богословие. То, о чем на Западе болтают, у нас молчат. И Сергей Сергеевич умел также об этом молчать.

Может быть, этот вкус к православной апофатике и привлек его к Мандельштаму, как ни странно. Несомненно, для Сергея Сергеевича имела огромное значение строка Осипа Мандельштама: «Господи! – сказал я по ошибке». Расхождение Мандельштама с символистами состояло в том, что они употребляли религиозную символику всуе, против чего тот категорически возражал. И следующий момент, очень важный – о нем написал Павел Маркович, вспоминая о последних своих встречах с Сергеем Сергеевичем. По мнению последнего, когда Мандельштам говорил, что акмеизм – это тоска по мировой культуре, это была именно тоска, а не, скажем, обладание или владение ею. Очень глубокие слова.

Но возникает вопрос: а что такое вообще мировая культура, если не тоска по мировой культуре? В своем курсе по истории мировых культур я высказал мысль, что слово «культура» вообще появляется тогда, когда исчезает или в лучшем случае начинает исчезать то, что это слово обозначает. Вот где коренится тоска по мировой культуре. В конце концов, что осталось от Шпенглера? Не его эффектные, натужные схемы, а именно тоска по мировой культуре, которая и скрывается в этих словах, на что обратил внимание Карен Севосян в предисловии к своему переводу. Несомненно, и для Сергея Сергеевича эта тоска по мировой культуре была чем-то существеннейшим. Может быть, это было главное в нем.

Не могу согласиться с тем, что он был в стороне от политической жизни. Я не знаю, почему никто из выступающих не сказал о том, что он был депутатом. Я не знаю, первый или последний это был Верховный Совет в истории Советского Союза, наверное, хронологически последний. И вот тогда произошел у нас с ним знаменательный разговор. Я спросил его: «Сергей Сергеевич, а научный атеизм будет дальше преподаваться?» Для меня этот вопрос был актуальным, могла не выйти моя большая книга из-за того, что в ней надо было писать Бог с маленькой буквы, на что я не мог согласиться. Я постоянно наталкивался на эту проблему. Сергей Сергеевич мне на это грустно ответил: «Владимир Борисович, научный атеизм преподаваться, может быть, и не будет, но что Вы скажете, если те, кто преподавал атеизм, будут преподавать православие?»

Собственно говоря, это и произошло. Религиозная и антирелигиозная пропаганда заговорили на одном языке. И для меня это самое страшное и самое опасное из того, что происходит в нашей духовной жизни. Это действительно очень опасно, и я позволю себе высказать предположение (если его сочтут бестактным близкие Сергею Сергеевичу люди, я прошу у них извинения). Не потому ли, что преподаватели научного атеизма стали преподавать православие, он удалился в свое прекрасное австрийское далёко?

Сергея Сергеевича не хватало нам, но я убежден, что и ему там не хватало России. И не знаю, – дай Бог, чтобы я ошибался, – не ускорило ли это его конец и не лишило ли нас возможности услышать ответ на вопросы, которые мы

все равно хотели бы ему задать? Ибо Сергей Сергеевич был собеседник, диалогический человек, он не просто изучал Бахтина, но был человеком этой стихии, это тоже его сближало с Мандельштамом.

Этим он отличался от Якова Эммануиловича Голосовкера, которого нужно было слушать, изредка задавая ему вопросы. Яков Эммануилович, во всяком случае в том возрасте, когда я его встретил, в собеседнике практически не нуждался. Я нуждался в том, что он мне говорил. А вот Сергей Сергеевич нуждался в собеседнике.

И еще насчет постмодернизма. Того, о чем пишет Павел Маркович, – о неприятии постмодернизма Сергеем Сергеевичем. Это понятно, потому что постмодернизм пытается уйти от тоски по мировой культуре, сделать вид, что ее нет. Но здесь есть одна тонкость, одна хитрость: когда мы полемизируем против постмодернизма, мы сами становимся постмодернистами. Возражения на постмодернизм постмодернистичны. Что же можно тут противопоставить, если можно этому действительно противостоять? Нужно открыть в постмодернизме иное.

Мне кажется, над поисками этого иного Сергей Сергеевич работал последние годы своей жизни, и как ужасно, что они действительно оказались последними. У Мандельштама есть две такие строки: «Есть ценности незыблемая скала над скучными ошибками веков». Что такое скучные ошибки, мы сейчас испытываем каждый день на своем опыте. «Скучные ошибки веков» – кто его знает, может, история такая скучная? Но вот «незыблемая скала» – это то, за что Сергей Сергеевич выступал всегда твердо. Не пожертвовал ли он жизнью ради этой скалы, чтобы ее не расшатывали и чтоб у нас в конце концов осталась хотя бы она?

П.М. Нерлер

Спасибо. Собственно, я хотел окончить немножко другим. Да, мы осиротели. И осиротела семья, где Сергей Сергеевич был мужем, отцом и дедом, осиротели Мандельштамовское общество, Институт высших гуманитарных исследований, осиротела российская наука. Да, надо привыкать к той мысли, что мы живем дальше без Сергея Сергеевича Аверинцева. О том, в чем заключается его завет, говорилось сегодня много. И может быть, каким-то вкладом

в это будет книга, которую мы задумали здесь, в Манделъштамовском обществе РГГУ. Мы хотим собрать все его статьи о Манделъштаме и избранные воспоминания о Сергее Сергеевиче.

А для напоминания о том, как Сергей Сергеевич говорил, как думал, у нас есть видеозапись. 15 лет назад готовился фильм, снятый на киностудии под названием «Лада». Фильм, посвященный 100-летию Манделъштама, состоял из двух больших серий, и Сергей Сергеевич в нем тоже был снят. Я помню эти удивительные съемки в его ставшей тесной новой квартире на Юго-Западной, в которой тоже, наверное, теснота, но не сравнимая с той, какая была в предыдущих. Так вот, снимали Сергея Сергеевича Аверинцева, Михаила Леоновича Гаспарова и Александра Анатольевича Морозова – их беседу. И у меня остались, вернее, мне чудом удалось добыть впоследствии смытые исходники, то есть то, что не вошло в фильм. И там есть несколько минут, на мой взгляд, замечательных съемок Сергея Сергеевича. Давайте посмотрим.

На экране – С.С. Аверинцев в 1990 году. Он читает стихи Манделъштама, некоторые из них комментирует...

*Стенограмма подготовлена Л. Брусиловской,
Д. Мамедовой и П. Нерлером*

¹ Печатается с незначительными сокращениями.

² Н.П. Аверинцева не подтвердила сообщаемых здесь сведений. Свое брачное предложение С.С. Аверинцев сделал ей на русском языке и по телефону. – *Ред.*

³ «В каких же условиях живут советские ученые! И что же тем не менее возникает при этом!» (*нем.*). В памяти Н.П. Аверинцевой умозаключение Фензена запечатлелось несколько иначе: «Советские ученые уделяют относительно мало внимания своему быту». – *Ред.*

Приложение 3

Конспекты лекций С.С. Аверинцева
1970-х годов¹

<1>

О римской литературе²

В начале сегодняшней лекции мне, пожалуй, нужно что-то сказать о римском мировоззрении и о том новом, что ввел в античное видение мира Рим.

Говорить о Риме, о римском понимании бытия не так легко. Как-никак для восприятия Греции в России существует очень хорошая традиция, которая позволяет целый ряд самых основных вещей считать выясненными и к ним апеллировать. Совсем не то с Римом.

Рим, пожалуй, никогда в России по-настоящему не любили и не понимали – тому были свои основания и свои причины. По крайней мере для широкой публики (за исключением очень немногих специалистов) еще продолжается та эпоха, которая была непосредственно порождена реакцией на классицистическое преклонение перед Римом, – эпоха, характеризующаяся мышлением в антитезах: греческая естественность и оригинальность – римские подражательность и академичность, греческая свобода – и римский сервильизм и т. д. Сейчас уже вполне ясно, что такого рода антитезы к сущности вещей имеют очень мало отношения; хотя с ними, вероятно, нельзя расправиться, просто перейдя к торжественному возвеличению римского вклада в основы европейской культуры, к тому глорифицированию Рима, который характерен для ряда преимущественно не-

мецких филологов, самым талантливым из которых в наше время является Карл Бюхнер. Очевидно, что ни укоры, ни похвалы Риму не исчерпывают той весьма многозначной проблематики, которая связана с переходом от греческого типа культуры к римскому. И вот передо мной сейчас стоит очень трудная задача: как-то [в немногих словах?] эту проблематику наметить, не торопясь ее ни исчерпать, ни разрешить.

Мое положение ухудшается еще и вот чем. В то время как мы располагаем блистательными переводами целого ряда греческих авторов: классическими переводами Гомера, по-своему блестящими переводами Аристофана, выполненными Андреем Пиотровским, – с римлянами дело обстоит очень плохо. Из переводов по-настоящему для русского читателя доступен только самый примитивный из великих римских поэтов, – а именно Катулл. В то время как невероятно многослойный словесный космос, скажем, Горация доступен только тому читателю, который может читать Горация в подлиннике, притом не лазая за каждым словом в словарь, а довольно спокойно вглядываясь в слова, как в нечто уже известное.

Так вот, как же быть с римлянами и как же понять то, что эта культура, часто оставляющая у нас мучительное ощущение некоей неестественности, фальшивости, надломленности, ложной монументальности, – что она, а не греческая культура, легла в основание западноевропейской и питала ее практически вплоть до немецкого неогуманизма конца XVIII века?

Если бы до времен Лессинга и Гёте Запад вообще не знал греческих текстов, картина развития европейской культуры не изменилась бы. Без Гомера человечество догётевских времен в конце концов могло обойтись. Без Вергилия оно не могло обойтись ни в одно из столетий, идущих по Вергилию к этому самому XVIII веку. Безусловно, римская культура была началом европейского гуманизма; прежде всего начальной его точкой была римская, а не греческая культура.

Прежде всего, начнем с самого простого. По своему структурному положению в истории римская культура была первой культурой эллинистического типа – первой культурой в том смысле, который феномену культуры придали

греки, сделавшие из культуры нечто самозаконное и себя осознавшее, – первой такой культурой, однако, вне мира греческого языка.

В самом деле, что было до сих пор? Пока греческая культура была действительно греческой, пока она выростала из греческой почвы, она была, так сказать, частным делом греческого народа. Затем, когда трудами Аристотеля и Сократа и прочих теоретиков – осмыслителей греческой культуры она была понята как нечто в принципе универсальное, а благодаря походам Александра Великого реально распространена на восток, она продолжала распространяться как культура греческого типа. В ней принимали участие как сотворцы и (прошу прощения за скверное слово за недостатком другого) потребители этой культуры люди, хотя и являвшие собой сирийцев, или египтян, или малоазийцев по крови, чисто этнически, но не по языку, [а] стало быть, по всему складу словесного мышления это все равно были греки, были эллины, и они так себя называли.

Лукиан, скажем (я беру автора более поздней эпохи, но такие же отношения были и раньше; а Лукиана я беру просто потому, что он такое известное лицо), так вот, Лукиан – уроженец города Самосаты на Евфрате; но живет он в Афинах и видит свое высшее достоинство в том, чтобы быть совсем греком, совсем эллином, чтобы забыть то, что он сириец, или превратить это просто в смешную, пикантную, экзотическую подробность своей биографии.

Не то римляне. Воспринявши, и воспринявши при очень сложных обстоятельствах, о которых речь пойдет ниже, эллинистический склад культуры, они не оставили своего языка.

Возникает литература – впервые – литература греческого типа, с греческим жанровым мышлением, руководимая греческими идеалами, ориентирующаяся на греческие примеры ([пропуск], как говорит Гораций), но не на греческом языке, а на совсем ином. Возникает впервые поэтика – эстетика чужого слова, чужого имени, иноязычного имени, вставляемого в списки обыгрываемого.

[Отсутствует страница.]

...женное ощущение количества времени: то, что было много поколений назад, это уже несущественно и неинте-

ресно; у римлян как раз этого не было. Потом мы увидим, что ощущение исторического времени в его протяженности, в его перспективе, понимание задачи, передаваемое от поколения к поколению на протяжении десятков поколений, – это как раз в высшей степени свойственно римлянам (столь же свойственно им, сколь чуждо грекам).

Но забывчивость римлян связана с тем, что во фрейдистских терминах можно назвать «насильственным вытеснением» чего-то в «бессознательное».

В самом деле, в начале второго века, в 186 году до н. э., произошла такая страшная вещь.

В Риме, в Италии, стал распространяться оргиастический культ Вакха, занесенный из Греции; были какие-то ночные сборища, о них рассказывали всякие страшные вещи, и, в конце концов, этим делом занялся сенат. И началось страшное расследование и гонения, прямо-таки настоящие инквизиционные процессы, в результате которых, по сообщениям римских историков, было казнено свыше 3000 человек.

Это в любом случае, – что бы ни скрывалось за слухами о чудовищном разврате, невероятных злодеяниях и т. д., которые под покровом ночи творились адептами этого самого оккультного увлечения, – в любом случае все это страшно. Это жуткое переживание, которое должно было душевно задеть очень многих, ведь погибло так много человек. И это было не в какие-то полусознательные времена седой древности – это было довольно раннее, молодое время римской цивилизации, но тогда, когда римская культура вполне существовала уже как культура эллинистического склада. Это совершилось, что называется, при свете истории, среди народа, вполне ясно видевшего и сознававшего, отнюдь не в каком-то полубессознательном, архаическом состоянии коллективной психологии.

И что же? Римляне упоминают эти события скороговоркой, как что-то очень несущественное, мало того, загипнотизированные этим, современные историки тоже упоминают все это как-то в примечаниях – ну, вот, были такие и такие важные события и вот, между прочим, казнены 3000 человек за участие в дионисийских культах.

Казалось бы, само имя Вакха, сами образы вакхического исступления, оргии и т. д. должны были бы после это-

го стать для римлян не такими безобидными литературными выражениями, как для европейцев нового времени (скажем, как для поздневозрожденческих европейцев), а чем-то страшным и, по возможности, неупоминаемым. Ведь все-таки в доме повешенного не говорят о веревке, по крайней мере в шутку.

Нет, это несколько не мешает римским поэтам использовать все эти образы для самой спокойной, самой невозмутимой литературной игры – вот у Горация: «Мой ум поражается вакхическим исступлением» и всяческие там несущиеся вакханки и все прочее, весь реквизит. Как будто это действительно было для них таким же невинным делом, как для каких-нибудь добрых христиан XVII, скажем, столетия, которые ходили в воскресенье к обедне, а потом писали стихи про вакханок.

Так вот нет же. Точно сейчас же реальным оказалось не то, что было на самом деле кровно реальным – вот только что эта страшная вещь, – а те образы, нормы и даже шаблоны и стандарты эллинистической культуры, эллинистической образованности, те школьно-литературные понятия и ассоциации, которые принято связывать с Вакхом, с вакханалиями, вакханками, ночными оргиями, тирсом, светочем...

Римская культура, вероятно, не может быть понята, не может быть понята совсем единственное в своем роде настроение од Горация, если мы не почувствуем, что это культура, которая не вырастает из почвы, а, будучи построена на почве, ей враждебной, постоянно чувствует себя угрожаемой и нуждается в дисциплине, чтобы не распасться и не погибнуть. Это культура, которая все время чувствует себя перед лицом хаоса, перед лицом безумия.

Горациевы оды имеют такое спокойствие и удивительную ясность, которые, вероятно, даются только тем писателям, которые всерьез ощущают себя на грани сумасшествия и в борьбе с этим выработали совсем особую уравновешенность и стройность дикции, которые для них невероятно важны, ибо эти ясность и стройность дикции – не эстетическая прихоть, а вопрос жизни и смерти, терапевтический способ как-то спасти себя от подступающего сумасшествия.

(Что-то подобное в литературе XX века – это проза позднего Гессе. Чем ближе этот писатель чувствовал свое

сумасшествие, тем более стройным у него делался синтаксис. У Горация – что-то подобное.)

Восприятие эллинистической культуры произошло в Риме как овладение некоторой культурой; то, что римляне поспешили в некотором роде отречься от себя, это само по себе в высшей степени естественно. Как раз на римлянах впервые была по-настоящему и на тысячелетия доказана универсальность, общезначимость, повелительность, страшная сила и возможность экспансии, таившиеся в греческом культурном идеале.

По этому поводу можно было бы вспомнить одну оду Горация. Это девятая ода четвертой книги. Гораций там говорит как будто бы вещи очень обычные и привычные для поэтов всех времен, включая всяких архаических певцов в совсем древние времена, т. е. он говорит, что он поэт, его слова останутся жить [и не?] погибнут, а поэты если он воспевает своего друга Лоллия, то этого Лоллия будут помнить, а он его воспевает потому, что Лоллий этого заслуживает.

Так, собственно, мог бы говорить любой скальд и т. д., любой архаический певец, который знает, что слово остается, если оно вставлено в песню, а потому он, певец, имеет силу сообщать имени бессмертие. Но Гораций говорит не только это, не совсем это. Вот как он аргументирует. Он говорит, что немисливо представить себе, что его, Горация, слова погибнут, ибо не погибли же слова Гомера, Алкея, Сапфо, Стесихора (он перечисляет целый канон греческих классических авторов), их слова не погибли. Между тем, говорит Гораций, были же события несколько не менее важные, чем, скажем, Троянская война, воспетая Гомером, которые безнадежно забыты, которых все равно что и не было. [Но что не попало?] в световой круг классической греческой, греческого типа культуры и словесной культуры, все лежит в темноте, и все равно что этого нет. Доблесть, ну вот, предположим – Гораций этого не говорит прямо, но имплицитно именно это – вот предположим, доблесть каких-нибудь варваров все равно что не существует. «Она мало отличается от бездеятельности, – говорит Гораций, – потому что не попала в этот световой круг». Но достаточно было какому-нибудь человеческому делу, достойному (скажем, подвигом Агамемнона) или недостойному (как, скажем, предлюбодеяние Елены) – дела совершенно не касается – стои-

ло какому-нибудь человеческому делу попасть в мир этого с Гомера начавшегося слова (предполагается, что до Гомера и вне этой, с Гомера начинающейся традиции человеческого слова и явленности в слове вообще нет), стоило ему попасть сюда, и оно становилось бессмертным. То, что попадает в темноту, оказывается вне этого освещенного круга, все равно что не существует, оно не явлено, и все великие герои, завоеватели, цари остаются как будто несуществующими, ибо для них не нашлось [своего?] поэта. Надо было с невероятной силой ощутить все, что находится вне светового круга греческой образованности, как несуществующее, чтобы с такой силой полюбить чужое и забыть... если не решительно забыть свое, то забыть так много из своего, как это сделали римляне. Это у Энния есть очень забавное место, когда он говорит, что до сих пор песни на италийской, на римской почве слагали всякие там фавны (это в данном месте более или менее ругательство – вот такие вот дикие лешие и какие-то вот несуразные песни), а он, Энний, впервые начал сочинять стихи как полагается, по-настоящему, наконец-то настоящие стихи.

И ведь римляне забыли свою метрику: у них же была своя оригинальная метрика совершенно иного склада, чем греческая, на основе которой развивалась вся известная нам римская поэзия. Но они же забыли свой (сатурнинский?) стих, забыли так основательно, что сейчас приходится разбираться в том, что же это такое был (сатурнинский?) стих. И разобраться в этом, оказывается, очень трудно.

Конечно, римская культура некоторым образом начинается с самого начала как цепь заимствований и как цепь таких последовательных ученичеств, ибо до того, как римляне стали учениками греков, они были на выучке у этрусков.

Совершенно особый, новый, незнакомый Греции, зато невероятно очень близкий нам, русским, тип отношения к культуре, когда культура есть нечто, что любовно откуда-то принимается и затем возникает совсем особая, удивительная смесь пиетета и иронии, и какого-то совсем особого глубинного чувства превосходства над этими самыми, любимыми и такими сияющими в своей духовной славе чужими учителями, как это было у римлян по отношению к грекам. Ибо в одном отношении римляне имели перед греками преимущество: греки так до самого конца и не сочли нуж-

ным принять к сведению само существование римской культуры, а римляне знали греческую культуру так же хорошо, как сами греки.

Что можно сказать о римской психологии и римском подходе к миру? Притом, что мы все время должны учитывать этот верхний слой эллинистической культуры, который лежит на собственно римском, так что противопоставление римского и греческого не может вестись с апеллированием к тому, что что-то было у греков, а у римлян нет. Все, что было у греков, римляне старались воспроизвести, старались этим овладеть. Овладение культурой – это нечто совершенно иное, чем укрытость внутри культуры. Притом это отнюдь не обязательно менее серьезный и менее глубокий подход к культуре, но это совсем иное.

Так вот, это римская психология, римская сущность, римская душа под слоем эллинистической культуры.

Сами римляне, рассуждая о том, что их, римлян, отличает от остальных народов и прежде всего от греков, любили говорить как о своей доблести, и добродетели, и национальной черте, – скорее национальной черте, чем доблести и добродетели, ибо черте амбивалентной, о своей *gravitas*. *Gravitas*, – так как уж слова надо еще переводить, хотя надо иметь в виду их непереводаемость, – *gravitas* – это значит «серьезность». Буквально, по изначальному смыслу, «*gravitas*» значит тяжесть. Таким образом, *gravitas* – это не просто чисто социальная респектабельность, но некая бытийственная тяжесть, весомость. Римляне – они тяжелые люди; это делает их и несимпатичными тоже. Греки – легкие, римляне – тяжелые люди. Говоря так, мы не совершаем насилия над словами, потому что в римском *gravitas* этот нехороший смысл тоже есть – смысл непереносимого, но прежде всего – смысл весомости. Лучше всего, вероятно, перевести на немецкий язык – [пропуск]; вот [пропуск] – это «тяжелый».

Было бы очень любопытно сравнить слова, которые разные народы употребляют для передачи понятия «серьезность». Вот у греков «серьезность» – это [пропуск]. А [пропуск] – нечто, связанное с заинтересованностью и, таким образом, отнюдь не исключающее, в общем-то, игровой подход; вот нечто, связанное со [пропуск], нечто, во что человек себя вкладывает, что вызывает у него достаточно сильный и продолжительный аффект. И человек, который умеет испы-

тывать эту [пропуск] все время и продолжительно, он-то и будет серьезен в греческом смысле этого слова. Иной серьезности грек не знает. [Здесь пропущен пассаж приблизительно такого содержания. В русском языке, например, вообще отсутствует слово «серьезный». То есть оно есть, но иностранного происхождения, что само по себе делает его несколько несерьезным.]

Римская серьезность – это весомость и тяжеловесность. Она связана с некоторой мрачностью.

Ну, весьма характерно, что если для грека плясать или, скажем, играть на сцене – я нарочно не говорю «быть актером», это обозначение профессиональной принадлежности, а у греков это было ведь сначала не совсем то, – так вот, плясать или играть на сцене – для грека занятие в высшей степени почетное, просто самое почтенное, что может быть на свете.

Для римской *gravitas* это безнадежно не подходит. Даже такой пропитавшийся почти греческим чувством юмора человек, как Цицерон, говорит: «Никто не пляшет в трезвом виде, разве что по случайности свихнется». Вот это презрение римской серьезности к греческой легкости, римской тяжести к греческой легкости.

Что дает образ тяжести, кроме невыносимости? Легкое колеблется, оно может парить и в то же время увлекается каждым ветерком; тяжелое падает вниз, к той точке, к которой оно устремлено. Тяжесть, тяжелость, эта римская *gravitas* – это устремленность к цели. Это то свойство, которое очень существенно отличает римский подход ко всему на свете от греческого.

Мне приходилось говорить, ну, скажем, по поводу контраста между Библией и Гомером, до какой степени глубоко коренится в греческом эпосе, в греческом духовном и душевном складе этот закон незаинтересованности в конечном результате, уверенность, что сегодняшний день важнее завтрашнего.

Для римлянина – наоборот. В каком-то смысле эта заинтересованность в результате, это постоянное спрашивание «что потом?» и направленность всего к некоей абсолютной цели почти что роднит (при всей невероятной разнице) римское мирозерцание с библейским. Как там существует некоторая провиденциально поставленная цель, к кото-

рой устремляются жизни отдельных людей, подвиги отдельных людей, существующих не сами по себе и не сами для себя, а для этой цели (свершение обетований, данных Аврааму, величие избранного народа и т. д.), так для римского народа все устремляется к цели постепенного поступательного возвышения римского народа и осуществления им своих провиденциальных назначений.

Римская история имеет ведь удивительный ритм и удивительную планомерность. Эти римские завоевания удивительны не тем, как много люди воевали и завоевывали (сравнительно не так уж много, т. е. если иметь в виду большие войны), а тем, с какой невероятной планомерностью и последовательностью от поколения к поколению римский мир расширялся и раз завоеванное цепко удерживалось и уже не отдавалось назад. Греки способны были – ну, не греки, конечно, а главным образом македоняне, – в высшей степени увлечься самыми грандиозными завоеваниями на протяжении жизни одного-единственного поколения при Александре Македонском. И тогда была завоевана территория, которая существенно больше, чем Римская империя; и затем всему этому было предоставлено распасться, потому что все это сразу стало неинтересно: ну, завоевано, а что же дальше с этим делать?

Для римлян отступить от раз завоеванного – это что-то невероятное. Это не просто оскорбление государственных интересов, не просто непатриотический акт – это какое-то религиозное преступление.

Когда во II веке н. э. Адриан отказался от ставших ненужными и стратегически неудобными завоеваний Траяна в Месопотамии, то это было воспринято с неким священным ужасом, как кощунственный акт. В самом деле, вспоминали римляне, когда в какие-то незапамятно древние времена на Капитолии строили храм Юпитера Наилучшего и Величайшего и для этой цели убирали всякие до того существовавшие мелкие святилища, то не пошевелили святилище Терминуса – бога границ и пределов в знак того, что он никогда не должен сходить с места. Раз поставленный предел владений римского народа не может для римского ощущения быть сдвинут, потому что это было бы что-то вроде греха перед временем: это пространственное расширение связано с временным ритмом (от века к веку, от поко-

ления к поколению), [приобрести что-то] и затем отдать – это значит сбить этот ритм.

В римскую добродетель, *gravitas*, конечно, входят упорство и терпение. А упорство и терпение суть добродетели, связанные с ощущением времени, с мышлением – впрочем, тут речь идет не о мышлении, а о чувстве – с ощущением, с живым ощущением огромных временных массивов, с ощущением, которого не было у греков.

Серьезность, римская серьезность, римская *gravitas*, римская суровость, римская несговорчивость – ибо вот ведь римляне тяжелые люди, значит, несговорчивые, – наложила очень своеобразный отпечаток на римскую этику.

Мы говорим, и это вполне справедливо, что римская этика насквозь проникнута юридическим духом. Римляне – это народ великих юристов, создавший для Европы ее правовые основы на тысячелетия.

Право – это, конечно, вещь чрезвычайно почтенная и полезная, но очень сухая, рассудочная, невкусная, несъедобная и неэстетичная, так что все это лишний раз делает нам римлян хотя и почтенными, но не очень симпатичными, а кроме того, по-видимому, не имеет отношения к эстетике.

Но дело вот в чем: [пропуск] надо ощутить стоящее за этой юридической манией римлян очень живое ощущение драматического противостояния индивидуумов друг другу, противостояние их друг другу как разных волей, каждая из которых не может уступить иначе, как внутри некоего договорного порядка, который как-то снимет этот волевой конфликт.

За этим юридическим ощущением мира стоит гораздо более живое ощущение индивидуальности не просто как индивидуального эйдоса, как это было у греков, индивидуальности как характера, как характерного образа, который можно рассматривать, и созерцать, и каталогизировать его свойства, и главное – это самое главное для греков – поскорее эту индивидуальность причислить к тому или иному типу, ибо, когда индивидуальность берется как характер и как образ, берется, говоря по-немецки, не в [пропуск], а в [пропуск], не в существовании, а в качественном бытии, тогда индивидуальность неизбежно должна типологизироваться, и этот процесс типологизирования и есть для греков самое интересное в созерцании индивидуальности.

Напротив, когда индивидуальности берутся как воли, тогда уже приходится считаться не только с их [пропуск], но и с их [пропуск], не только с тем, что мы можем вот этого индивидуума как-то типологически описать, причислить к такому-то типу и обрадоваться и успокоиться, а мы должны всерьез посчитаться с тем, что он есть не просто объект нашего созерцания, но субъект своей воли, с которым мы должны еще сговориться, а то он еще, пожалуй, и не захочет с нами говорить; и нам приходится считаться с тем, что эта его несговорчивость есть нечто, от чего мы не можем отделаться, разрисовавши его как картинку, представивши его как образ и отнеся к типологической категории.

Потом мы увидим, как существенно сказалось это на римском понимании любви – понимании любви, которое безмерно отстоит от греческого и с которого по-настоящему начинается любовная психология Европы. Но пока мы должны – так же, как за легко приедающимся и надоедающим нашему вкусу порядком и строем и жесткой дисциплиной римского эстетического идеала должны ощутить эту тревогу, которой он противостоит, это подступающий хаос, который его стены должны отразить, – совершенно так же мы должны за трезвой, сухой, жесткой логикой римского нравственного мышления, мышления исключительно в категориях долга: верность, договорная верность; благочестие, но благочестие, понятое опять-таки как строжайшая, на жизнь и смерть, верность договорным обязательствам перед богом и людьми; понятое отнюдь не как созерцание божества или слияние с божеством, а как исполнение своих обязанностей по отношению к божеству; мы должны за этой сухой этикой обязанности и долга ощутить трагический и драматический взаимоупор воль, которые должны как-то друг с другом рассчитаться и которые сталкиваются с такой силой, какой Греция не знала.

Почему это было так? Ну, есть такие слова, как там национальный характер, или народная душа, или еще что-нибудь, которые употребляются тогда, когда нечего сказать, но все-таки хороши тем, что регистрируют нечто, пока дальнейшему объяснению не подлежащее.

А кроме того, этот драматизм душевного состояния римлянина был, помимо несговорчивости римского душевного склада, обусловлен теми историческими метаморфоза-

ми, которые с римским народом произошли. Ибо впервые Рим осуществил в пределах средиземноморского мира мечту об устойчивой мировой державе – в смысле замкнутого культурного мира, замкнутой средиземноморской ойкумены. Действительно, вот один из городов-государств, начинавших как город-государство, – итальянские города – это, конечно, не совсем греческие полисы, но все равно город-государство – постепенно становится миром. Это означает такое жуткое пребывание все время на грани невозможного и немислимого, уничтожение пределов невозможного...

Римлянин – это человек (особенно римлянин эпохи империи), который не знает, как мы теперь не знаем, что же возможно и что же невозможно. У Сенеки есть такое место в одной из его трагедий, где хоровая песнь говорит: «Вот теперь персы пьют из германских рек» (или что-то в этом роде), – вот такое полное сдвигание всех народов с их этнической почвы.

Действительно, до какой степени в римском мире все делается подвижным, все делается необычайно близким и все этнические привязанности к своей почве теряют всякий смысл и всякую реальность, можно судить, скажем, из того, что Плутарх в одном из своих диалогов изображает своего приятеля, который только что вернулся из Британии, где он преподавал греческий язык, и т. д. Все устои исчезают. При этом римлянин – человек, который без устоев не может. Но именно поэтому для него утрата устоев – это гораздо более серьезная и гораздо более реальная вещь, чем для грека.

Грек может себе позволить в крайнем случае разгрызать почвенника среди беспочвенного мира, как это делает, скажем, милейший Плутарх, который рисуется тем, что он живет в Херонее и вообще херонейский гражданин, а совсем не римский, хотя он был именно римский гражданин.

Римлянин по причине своей *gravitas*, по причине своей серьезности на это не был способен: для него потребность в устоях была абсолютной, а стало быть, утрата этих устоев тоже была абсолютной. Значит, надо было в каком-то отчаянном эксперименте эти устои заново искать или, скажем, конституировать свое существование в мире без устоев. Самые гнусные и жуткие картины римской истории эпохи цезарей, все вполне клинические события времен Ка-

лигулы или Нерона постоянно имеют, кроме всего прочего, некий характер сумасшедшего эксперимента: вот, а что если – коль скоро все то, что было значимо до сих пор, теперь уже не значимо – вот тогда почему бы и нет, почему бы Калигуле не решить вполне реально, что он бог, и не попробовать, не учинить такой эксперимент и не вести себя в полной уверенности, что он бог в самом реальном и самом конкретном и буквальном смысле этого слова.

Истории цезарских безумий (особенно с первого времени империи) имеют в себе какое-то отличие от разных гнусных придворных историй, совершавшихся, ну, скажем, при таком традиционалистском дворе, как персидский, или у каких-нибудь Птолемеев и т. д.: там все это было неутешительно, но это было лишено характера сумасшедшего эксперимента, безумной пробы возможностей чистого аморализма и полной несвязанности никакими нормами.

[вероятно, пропуск] Игровая ситуация творцов римской культуры может быть описана примерно так: вот были поколения суровых и деловитых, шедших к намеченной цели полководцев, завоевателей, судей, хозяев, дельцов – людей, делавших дело. А потом у этих людей, делавших дело, рождались сыновья, которым становилось противно делать это дело, – беспутные сыновья. Беспутные не потому, что у них не хватало воли и собранности на то, чтобы быть деловитыми, а потому что им не хотелось быть деловитыми и они хотели быть беспутными, они ставили перед собой жизненную цель, жизненную программу – быть беспутными.

Но эти беспутные сыновья деловитых отцов, оставаясь сыновьями своих отцов, в самом своем беспутстве удерживали, хотя бы и в обращенном виде, эту римскую собранность, устремленность к цели, систематичность, методичность, последовательность, планомерность. Иначе говоря, римлянин мог быть легкомысленен, т. е. беспутен, и именно такой римлянин чаще всего занимался, ну, скажем, поэтическим творчеством. Ибо, если бы он был совсем хороший римлянин, он не писал бы стихов, а водил бы армии или делал бы что-нибудь столь же общественно полезное.

Но в самом беспутстве, в самом легкомыслии (поставивши себе легкомыслие в качестве жизненной нормы) римлянин не мог быть легким. И это его легкомыслие гораздо более мучительно, гораздо менее утешительно и красиво,

чем греческая легкость, и в то же время включает в себя такие возможности душевного опыта, каких у греков не было.

Это в полной мере выявляется в самой беспутной области римской литературы – в римской любовной поэзии. Прежде чем говорить о римской любовной поэзии, я хотел бы сделать маленькое терминологическое рассуждение.

Античную любовную поэзию принято называть греческим термином «эротика». Ученые люди употребляют это слово, которое для обывательского уха являет собой некий эвфемистический синоним порнографии. Но вот, вероятно, для греков, применительно к греческому материалу в высшей степени осмысленно и разумно употребление этого особого, специфического термина «эротическая поэзия» – для римлян, пожалуй, нет. Эротика и любовная поэзия суть вещи разные – по крайней мере, если мы договоримся, что это термины, которые обозначают разные вещи, и что есть две очень разные вещи, которые нуждаются для своего обозначения в разных терминах. И вот я предлагаю, на чисто договорных условиях, употреблять применительно к ним термины «эротика» и «любовная поэзия».

Эротика отличается от любовной поэзии отнюдь не обязательно большей низменностью, меньшим коэффициентом одухотворенности, сублимированности и т. д. Совсем наоборот. В некотором отношении эротика, может быть, еще легче поддается сублимации, эстетическому или мистическому переосмыслению или унесению в какие угодно высоты, притом без особого сопротивления. Но любовная поэзия есть любовная поэзия, а не эротика. Вот в чем я вижу разницу и как я ее понимаю.

Эротическая поэзия есть такая поэзия, которая берет стихию любовного чувства в каких угодно аспектах, начиная от самых плотских и кончая вот этим самым платоновским божественным Эросом, который возносит нас в духовные высоты и т. д., но абстрагируясь полностью от одного и только одного аспекта – от проблемы соотношения мужской и женской воли, мужской и женской личности, проблемы их несоизмеримости и их соизмерения в любви (то, на чем стоит вся европейская любовная психология и чего полностью не существует, скажем, для ближневосточной эротической поэзии, для греческой поэзии, за редчайшими исключениями, которые подтверждают факт).

Для греков любовь есть что угодно – например, предлог для того, чтобы рисовать красивые картинки. Греческая эротическая поэзия очень тяготеет к картинкам, к мгновенным зарисовкам. (И вспомним, что слово «картинка» будет по-гречески [пропуск] – идиллия, так что вот это самое слово «картинка» и стало в Греции обозначением одного из поэтических жанров.) Греческая эротика может говорить о состоянии души влюбленного, но совершенно безотносительно к загадке души того, кого он любит. В Риме совсем не то.

Чтобы понять эту антитезу, это различие, это коренное различие между греческим и римским подходами к описанию любви в целом, мы должны решительно отмежевать это различие, эту антитезу от целого ряда других, более известных антитез, которые давно описаны и давно всем известны и которые пересекаются и переплетаются в живой реальности и с той и с этой антитезой, но по смыслу своему с ней никоим образом не совпадают.

Ну, скажем, в любом популярном курсе античной литературы можно прочесть, что до определенной эпохи, т. е. до распада классического полисного уклада, классической полисной культуры, любовь как таковая темой поэзии быть, собственно, не могла (если не считать такие совершенно обособленные и архаические, а не классические явления, как Сапфо) – любовь как личная любовь, индивидуальная любовь, индивидуальное чувство, – что индивидуальное любовное чувство делается открытием эпохи эллинизма и т. д. и затем в этом отношении эллинизм продолжается Римом.

Это и верно и неверно. Ибо греческий подход к изображению любви как космической эротической стихии значим в равной степени и для доиндивидуалистической и для индивидуалистической эпох. В обоих случаях он выявляется весьма различно, т. е. когда, скажем, у Эсхила Афродита говорит (это фрагмент монолога Афродиты, фрагмент из утраченной трагедии, имевшей сюжетом Данаид), итак, когда Афродита говорит, что небо в любовном соитии оплодотворяет землю и от этого вообще все живет, – вот сколь все это важно, и почтенно, и прекрасно и т. д. – это у Эсхила укоренено в живом религиозном чувстве и в полисных устах и т. д.

Когда на исходе античной культуры от всех устоев уже ничего не осталось, романист Лонг пишет «Дафниса и Хлою», где уже не как реальность, постепенно выявляемая в поэтическом слове, а как предмет для сентиментальной тоски издали дается любовь, эротическая стихия опять-таки как чисто природная стихия, и ее достоинство, ее величие и ее невинность состоят именно в том, что это есть одна из потенций космоса.

Ну, конечно, слова Эсхила о небе, оплодотворяющем землю, очень серьезны, и сравнительно с ними, когда у Лонга дело идет о том, чтобы любить друг друга вот так, как это делают овцы и бараны или козлы и козы, – это почти оперетка сравнительно с Эсхилом. Но основная идея, основной смысл тот же самый, и мы не можем провести черту между полисной, классической и эллинистической эпохами в этом отношении. Сама идея оправдания и освящения любви, чувственной любви через ее возведение к космическим, природным основам для самой серьезной и самой легкомысленной, самой сверхличной и самой индивидуалистической греческой поэзии остается в принципе значимой.

Мне все-таки хочется – я предупреждаю об этом как об отступлении – сказать несколько слов о «Дафнисе и Хлое». Этот странный мотив, на котором «Дафнис и Хлоя» зиждется, т. е. что влюбленные по своей чрезвычайной неопытности не знают, что им друг с другом делать и поэтому долгое время не могут приобщиться к любовному миру, который репрезентирован теми животными, которых они пасут, – этот мотив, как кажется, в новое время оценивается не совсем справедливо и несколько неисторично.

Довольно часто приходится читать о приторном, извращенном и т. д. преувеличении невинности героев, сентиментальности Лонга. Что Лонг сентиментален в самом серьезном, шиллеровском смысле, т. е. что его поэтика питается тоской по тому, чего у него, Лонга, нет, – это понятно. Но репрезентирование невинности у Лонга неэстетично хотя бы потому, что ни христианского, ни новоевропейского, буржуазного, так сказать, понятия невинности у Лонга нет, ибо он его не знает. Поэтому для него, с его, Лонга, точки зрения, эти самые влюбленные не то чтобы слишком невинные, а недостаточно невинные. Они такие хорошие, они почти совсем добрые звери, но все-таки от мира богов и жи-

вотных их отделяет некоторая черта неполноценности, которую они преодолевают только в последней фразе романа, как известно.

Получается, что вот эта самая тоска подростка о том, чтобы через эротический опыт взрослых приобщиться к миру взрослых, у Лонга поворачивается так, что этот самый мир взрослых, по отношению к которому люди несовершеннолетние – этот мир взрослых – это мир животных, и, совсем взрослея, человек наконец-то становится совсем как животное. Это очень греческая логика, которая весьма обычна у Феокрита (за отсутствием времени я не буду приводить и описывать места).

Ну, вот на этом можно строить что угодно. Можно это же самое сублимировать и уподоблять эротическое влечение уж никак не эмоциям животных, а мировой симпатии и доходить до самого умопостигаемого места, до [пропуск] платоновского. Но одной вещи здесь нет: здесь нет опыта ощущения объекта любви как ТЫ, на которое натывается мое Я и которое дает ему предел. (Кстати говоря, один из аспектов греческой склонности к тому, чтобы в качестве культурного стимула рассматривать не любовь к женщине, а однополую любовь, один из аспектов этой греческой странности состоит именно в том, что в однополой любви мужчина избавляется от обязанности преодолеть свою несоизмеримость с женщиной и признать в женщине такой совсем другой, чужой и равноценный ему объект.)

Римская любовная поэзия начинается с Каталла. У Каталла есть удивительное стихотворение, которое звучит для нашего уха очень непоэтично, почти нелепо, сухо, жестко. Действительно, после утонченнейшей культуры греческой эротики это падение, это варварство. Каталл в каких-то очень неловких, с трудом подбираемых словах – с трудом подбираемых словах для чего-то, чего еще никто не описывал, – говорит, как он любил свою Лесбию. Он ее любил не так, как чернь, [пропуск] любит подружку, [пропуск]. Ну, хорошо, значит, его любовь была не низменной, а какой? Одухотворенной, сублимированной? Да. На эту тему греки могли очень много наговорить... Афродита Урания? Нет, нет, совсем не так. Не как философ любит идею или еще что-нибудь – нет, нет! Он любил Лесбию так, как отец любит сыновей и зятьев.

Ну, сыновей... странно... Но когда говорится еще и про зятьев, для нас делается совсем ясно, что имеет в виду Катулл. Катулл имеет в виду не нашу сентиментальную, теплую, чревную, нутрянную, семейную любовь – совсем не это. Он имеет в виду римскую семейную мораль, которая была насквозь проникнута чисто договорным мышлением.

Римская семейная мораль – это *gravitas*, это строгая верность своим обязанностям, строгое осознание своей ответственности, и отец в своем отношении к сыновьям и зятьям взят отнюдь не как [пропуск], отцовское сердце, излучающее теплоту, нежность, а как человек, осознающий свою ответственность. И вот эта ответственность, этот момент абсолютной серьезной ответственности, который для римлянина (для римлянина хороших времен, когда были настоящие, непошатнувшиеся устои) реализовался в очень правильной, очень законосообразной любви отца к детям и зятьям, к членам его *familia* в чисто римском смысле. (*Familia* – это не семья, это такое маленькое государство со своими законами и со своей юрисдикцией, отец ведь имел право юрисдикции по отношению к сыновьям.) Это сознание ответственности для Катулла воплощается в самом беспутном чувстве: в незаконной и беззаконной любви к Лесбии. Он заверяет, что он ее так любил – ее, чужую жену, беспутную женщину. И вот вместо того, чтобы к этому договору, к этому союзу отнестись так же серьезно, как он, она его предала, и теперь он испытывает к ней еще большую страсть, но уже не может испытывать этой ответственной и серьезной, и светлой, и ясной заботы.

Это удивительно, т. е. это стихотворение так обнажает перед нами то, что делалось в душе римлянина, для которого изначальная, исходная точка – это устои договорной морали, затем антитеза к этому тезису – полное изничтожение всяких устоев, когда обнаруживается (об этом говорится очень много), что для Катулла его общность – это его друзья. (Кстати, что еще очень важно для римлянина – что любовь включает в себя, кроме всего прочего, *amicitia*, дружбу.)

Так вот, эти любовные и дружеские отношения, отношения чисто приватные, внезаконные и беззаконные, должны, однако, чтобы заменить эти прежние устои и этот прежний порядок, быть проникнуты такой же строгостью и осо-

знанностью и ответственностью, как и те; должен быть заново построен вместо утраченного космоса такой перво-зданной общинности и почвенности столь же строго организованый микрокосм чисто личных, чисто приватных отношений верности и договорной ответственности.

При этом Катулл чувствует, что он и его поколение, и вообще римлянин в нем делает это впервые. В этом есть, как и во всех существенных проявлениях римской жизни, характер эксперимента. И вот этот эксперимент не удастся. Но неудача эксперимента сама есть некоторое приобретение. Неудача эксперимента может уничтожить душевно, а то и физически, уничтожить экспериментатора.

Катулл после того, как этот опыт договорно-союзнических отношений с беспутной Лесбией проваливается, чувствует себя погребенным под развалинами этого здания, этого мира, который он себе строил. Но с чисто экспериментальной точки зрения это – обогащение, это новый опыт. Катулл делает то, чего, насколько мне известно и насколько я сейчас пытаюсь вспомнить, не делает ни один греческий лирик: он ссылается на свой душевный опыт как на нечто могущее противостоять всякой логике, обычным представлениям, тому, что с точки зрения здравого смысла должно быть.

В его знаменитом двустиишии, которое начинается со слов «*odi et amo*» – «ненавижу и люблю»... («Я ненавижу и люблю. Может быть ты спросишь: зачем я это делаю? – я не знаю, но чувствую, что это так».)

Что это происходит, что это совершается, [пропуск], вот это вот [пропуск] – это то, что делает римскую лирику, при всей ее строжайшей связанности каноном и формой, началом лирики в европейском смысле слова, исповедальной лирики, лирики как фиксации душевного опыта, лирики, которой в таком смысле Греция не знала.

Вот этот новый опыт, это новое обогащение, новая позиция, позиция гораздо более личностная, чем в греческой поэзии, гораздо более субъективная, создает известное разрушение греческого эстетического мира.

Тот же самый Катулл переводит стихотворение Сапфо – едва ли не самое архаически-безотчетное выражение страсти в греческой поэзии, сопоставимое по своей архаической поэтике, по своей стихийности с «Песнью Песней». Но

к этому стихотворению он добавляет всего-навсего одну строфу.

Вот мы сначала слышим голос самой стихии страсти, как и у Сапфо. Поэт говорит о том, что для него просто подобен богу тот, кто может сидеть рядом с его возлюбленной и разговаривать, а он, когда видит ее, он немеет и близок к обмороку, к смерти; это телесное состояние описывается возможно более выразительно. До этого момента все очень поэтично, и очень телесно, и очень безлично, как в оде Сапфо.

И затем он добавляет совершенно неожиданно одну строфу, которая современному читателю, вероятно, должна казаться просто портящей впечатление от прекрасного стихотворения, совсем непоэтичные, нелепые, прозаические строки, словно на голову читателю выливают ушат воды. Катулл вдруг сентенциозно замечает, что его губит *negotium*, т. е. праздность, незанятость. (Римляне очень жестко делили жизнь на *otium* – дело и *negotium* – все, что не есть дело.) Его, Катулла, губит *negotium*; *negotium* уже губил царей и царства, *negotium* погубит и его. Такая моралистически-резонерская концовка, которая как будто бы до крайности не подходит ко всему стихотворению. Но благодаря ей из монолога получается как бы внутренний диалог; перед лицом стихии страсти мы видим человека, личность, который напрягает свою волю, хотя воля сейчас будет поглощена стихией, который хотел бы спастись и который рассуждает о том, что же именно его губит.

Римская любовная поэзия есть именно потому любовная поэзия, а не эротика, что она, будучи несколько не менее плотской и телесной, чем греческая поэзия, будучи, может быть, менее одухотворенной, чем она, гораздо более... по-русски, к сожалению, нет хорошего слова, поэтому употребляю слово «одушевлена» в смысле немецкого [пропуск]. (Дело в том, что в русском языке, к сожалению, невозможно выразить отчетливо противоположность между двумя разными понятиями: «одухотворенность» и «одушевленность». Для нас в нашем бытовом языке «одушевленное» противостоит просто «неодушевленному», а «одухотворенный» мы все время употребляем в смысле «одушевленный». Например, когда человек смотрит на готическую статую и говорит «Ах, какая одухотворенность!», он имеет в виду, что в ней много души, а не обязательно духовности.

Духовность тоже может быть, но сплошь да рядом под одухотворенностью понимается именно [пропуск] – «наполненность душевным содержанием».) Потому что любовная лирика римлян всякий раз связана (за единственным исключением, исключение – это Гораций) с трагической проблемой несоизмеримости двух любящих как двух личностей. Любовь не удастся или всегда не совсем удастся не потому, что этого хотел рок или еще что-нибудь столь же неопределенно-безличное, а потому, что у него и у нее разные души, и потому, что чужая душа – потемки, и потому, что одна воля разбивается о другую волю.

Вообще говоря, вполне понятно, что любовная лирика римлян, как и эротика греков, имеет дело по большей части, выражаясь условно-терминологически, с нехорошими женщинами. Но нехорошость женщин может быть понята и освоена и представлена в поэзии трояко. Она может быть понята просто как набор типологически характерных черт развратной женщины: вот мы ставим печать и навешиваем ярлык, что вот это именно есть развратная женщина, и мы рисуем картинку того, что есть развратная женщина, как она выглядит, какие у нее черты и приметы. Это путь греков.

Остаются еще два пути, и эти два пути характерны для римской любовной лирики. Женщина может быть нехорошей, потому что она неуловима и непредставима, потому что ее душа – это темная глубина, это потемки, в которые нельзя проникнуть, потому что нельзя знать, что она сделает, т. е. в конечном счете потому, что она – это другое Я, это другая воля. Таков путь Катуллы и в большой степени эллигов – Тибуллы и Проперция.

Либо женщина может быть нехорошей в несколько другом смысле, т. е., наоборот, она может быть понята в силу своей развращенности как вполне доступная и поддающаяся овладению. Но это делает ее объектом технического эксперимента. Это путь Овидия, прежде всего в его «*Ars amandi*», – то, что переводят как «Наука любви» или «Искусство любви» и что, вероятно, лучше и точнее всего по смыслу перевести (ну, конечно, это невозможный перевод в качестве литературного перевода, но самый точный из всех возможных) «Техника любви». Ибо у Овидия речь идет именно о мыслимости технического экспериментирования

с любовной сферой. Если женщина доступна... Доступность и овладение – ведь эти слова для беспутных потомков завоевателей и дельцов имеют совершенно особый смысл, совершенно не сводимый к фривольности во французском вкусе. Беспутные потомки полководцев, завоевывавших провинции, и проконсулов, удерживавших провинции, хотя научиться овладевать, завоевывать женщин и удерживать их так же планомерно, с той же холодной расчетливостью, как это делали проконсулы и полководцы по отношению к провинциям. Без этого Овидий непонятен.

Вообще говоря, к Овидию, как мне кажется, вполне приложимо то, что я позволил себе сказать о римлянах вообще: что римлянин может быть легкомысленен, т. е. может взять легкомысленность в качестве программы своего поведения и мышления и в качестве темы для своего творчества, но он не может быть легок. Что касается Овидия, то говорить о его мире очень трудно, ибо он, при кажущейся двумерности и однозначности, имеет в себе самые неожиданные возможности.

Ну, например, то обстоятельство, что в столь условной, строгой, по-своему благонаправной (хотя совсем не в новоевропейском духе благонаправной), в столь строгой, канонической и ритуализированной любовной поэзии и любовном этикете средневековья Овидий сыграл роль наставника, отнюдь не было дурацким и пустым историческим недоразумением. Люди, слишком легко привыкшие ассоциировать Овидия с гривуазностью французского лада и не угадывать за его легкомыслием неимоверно жесткой римской логики, буквально мании логики, воли к тому, чтобы в этом мире, потерявшем всякий закон, отыскать его собственный внутренний закон и с полной жесткостью его проследить, чтобы само беззаконие понять как закон, люди, которые не видят всего этого в Овидии, слишком легко относятся к овидиевским рецепциям в Средние века. Между тем Овидий был воспринят всем течением рыцарской куртуазной любви в Средние века как законодатель. Это было совсем не случайно и совсем не по недоразумению. Средневековье с очень большой глубиной увидело в римском поэте то, что в нем слишком охотно не видят в Новое время, т. е. эту манию закономерности, правильности, логичности, стройности.

Римская любовная лирика имеет в себе, безусловно, ту развратность, которой греческая эротика никогда в самых крайних своих проявлениях не имела. Что я имею в виду?

Греческая эротика слишком безлична, чтобы быть развратной, т. е. чтобы вообще иметь какое-то отношение к нравственной проблематике. Эротическое событие, которое рисуется в греческой эротической поэзии, существует как бы вне времени и вне человеческой судьбы, а потому оценивать его нравственно невозможно и, стало быть, оно и неразвратно, и, кроме того, действие, оказываемое такой поэзией, очень спокойно.

Напротив, когда Овидий в какой-то своей элегии в I книге «Amores» (где-то в самом начале «Amores») рисует такую картину, как он в полдень сидит и вот приходит его Коринна, у него там нет бытовых подробностей. Бытовые подробности, бытовые картинки любили греки. Бытовые картинки ведь не дают ощущения быта, совсем наоборот. А у Овидия при полном отсутствии стилизации быта есть живое ощущение бытовой атмосферы, омывающей все это происходящее.

Вот так, действительно, человек, каждый из нас может в полдень сидеть, и вот как неожиданно с ним может случиться такое приключение. Это несравнимо острее, несравнимо человечески психологичнее и потому несравненно развратнее, чем греческая эротика. Мы ощущаем, что то, что случилось, случилось не между мужчиной и женщиной вообще, – вот как бы некоей такой четой, если и извлеченной из мифологического мира и перемещенной в бытовой мир, то все равно очень явственно ощущаемой как вполне мифологическая чета сочетающихся бога и богини, – это случилось с этим самым Овидием: вот, может быть, он вчера сидел действительно у себя дома и в полдень, в такое время, когда люди все-таки... То, что все это происходит днем, а не, скажем, ночью, ведь тоже вносит такую развратно-острую черту, которой нет у греков: что может быть более каноническим, чем ночь любви? А вот это было в полдень.

Так вот, с другой стороны, под [безблагодатностью?] я имею в виду не только эту остроту, но и неутешительность всей этой поэзии, ее тотальную неутешительность. В мире, в котором происходят страсти греческой эротики, ничего неутешительного случиться не может. А когда грек, такой

необычный грек, опередивший свое время, непонятый и т. д., как Эврипид, попробовал изобразить что-то вроде того, что потом будут изображать римляне в качестве, собственно, главной темы своего творчества, – я имею в виду Медею, – то ему понадобилось эту женщину, которая – подумайте только! – сама имеет какую-то душу, которая потемки, и сама делает страшные вещи, ему понадобилось ее сделать варваркой, колдуньей, колхидкой, привлечь самый невероятный и экзотический реквизит.

Наоборот, эти самые римские дамы, которые фигурируют у римских поэтов, это уже и не чудовища. Это просто женщины, с которыми мужчины, оказывается, не могут сговориться и на которых они не могут положиться и до сердец которых они не могут до конца достучаться, и человеческие отношения остаются до конца нераспутанными, непонятными, непроясненными.

И в этом глубокая неутешительность римской любовной поэзии – неутешительность, которая делает ее для нас, может быть, менее приятным чтением, чем греческую поэзию, но которая была вопросом, открытым в будущее.

Неутешительность вообще присуща римскому видению мира. Римское видение мира – невеселое. Ведь «невеселый» – это, в конце концов, один из синонимов этого же самого слова *gravitas*. Уж конечно, римская *gravitas* остается невеселой даже в беспутстве.

Чтобы покончить с беспутством: какая римская фигура этот самый Петроний – человек, который с чудовищной методичностью, планомерностью и теоретически оснащенной сознательностью занимается, профессионально занимается при дворе Нерона беспутством, такой эксперт по беспутству. Это же страшно римская фигура! Недаром этот самый Петроний проявил в общем-то что-то похожее на римские доблести, неожиданно, когда ему пришлось кончать с собой, т. е. он сделал это так же, как жил, в полной верности себе, как и приличествует римлянину.

Итак, неутешительность римского мира. XIX век любил сравнивать Вергилия с Гомером не в пользу Вергилия. Это, конечно, было в какой-то мере оправданной реакцией на два тысячелетия, которые забывали Гомера за Вергилием. Но пониманию самого Вергилия это несколько не могло помочь. Две стороны вергилиевской поэтики и вергили-

евского ощущения мира, на которых я хотел бы по этому поводу остановиться, существенно связаны с отвращением XIX века против Вергилия.

Герой Вергилия – Эней, этот абсолютный герой римской культуры. Вот если бывают такие герои, такие персонажи, которые исчерпывают целиком смысл целых миров (ну, как Дон-Кихот, как Фауст), то вот такой герой – Эней.

Это человек, который все время делает то, чего он больше всего не хочет делать. Это предельная противоположность Ахиллу, который всегда, в любую секунду поступает так, как ему хочется.

Эней – это человек, который нежно любит родину и, однако, покидает ее в час гибели, хотя ему больше всего хочется погибнуть вместе с ней. Это человек, который любит Дидону, и вынужден ее бросить. Это миролюбец, который вынужден вести бесконечные войны. Все это потому, что он, Эней, живет не для жизни, не для сегодняшнего дня, а для исполнения задач. Его жизнь – это задача, которую надо решить... Очень характерно, что боги помогают ему во всем, что касается исполнения его задачи, и обрекают его на полную беспомощность во всем, что связано просто с ним, с его приватным существованием и не связано с его задачей. Боги предупреждают Энея обо всем, обо всех затруднениях, которые ему встретятся на его пути при исполнении его миссии, но когда умирает нежно любимый им отец, Анхиз, это сваливается на Энея как полная неожиданность – ни один из бесконечных оракулов никак его об этом не предупредил, ибо это его приватное дело.

Эней бесконечно беспомощен, бесконечно бессилён в абсурде своих отношений с Дидоной и своего с ней разрыва. И его постоянное настроение выражается в словах: «О, трижды и четырежды блаженны те, которые умерли там, под Троей, и лежат спокойно – им уже не надо решать никаких задач». Но жизнь – это решение задачи, и уклониться от нее нельзя. Это очень невеселый герой, который не совпадает с тем, чем он должен быть, чем он должен являться для мира в своем значимом действии и слове.

XIX век с очень большой легкостью рассматривал это как художнический просчет Вергилия: вот гомеровские герои – они цельные, монолитные и т. д., они всегда ведут себя так, как для них естественно вести себя; Эней всегда ве-

дет себя так, как для него вести себя неестественно. Но, предъявляя Вергилию эти укоризны, не должны ли мы скорее усмотреть открытие новой реальности, новой печальной реальности в том, что Вергилий усмотрел некий зазор, некую дистанцию, различие между внутренней сутью человека и его внешней судьбой, его маской? Маска. Это слово для грека слишком легко отождествлялось с внутренней индивидуальностью, с внутренним лицом. Лицо и маска – для грека одно и то же. И действительно, для гомеровского героя его позиция, его поза перед миром и его внутренняя сущность совпадают вполне и вполне отвечают друг другу. Эней – человек, который страдает оттого, что на нем выявились разведенность, различие этих двух вещей.

И второй момент эстетики и поэтики «Энеиды», который вызвал немалые нарекания в XIX веке. Герои Вергилия, и прежде всего главный его герой Эней, очень остро нуждаются в богах и очень много о них думают (Эней – это [пропуск], «благочестивый Эней»). В их душах, и прежде всего в душе Энея, горит огонь любви к этим богам, верности им и остро ощущения необходимости их для своей жизни, необходимости божественного миропорядка, потому что, если и этого не останется для Энея, тогда для него не останется ничего. Но эти боги, которые появляются в «Энеиде», удивительно несоразмерны тем чувствам, которые они вызывают у людей, и той нужде в них, которая у людей есть. Они более почтенны, чем гомеровские боги, почтенны в смысле чисто внешней респектабельности, но они очень бледны и очень мало весят, очень малоощутимы и реальны, очень мало могут дать.

Я полагаю, что обращать к Вергилию укоризны по этому поводу, по поводу непластичности его богов, по поводу этого самого классицистического аппарата богов, который только портит поэму и прочее, столь же праздно, скажем, было бы праздно упрекать, – ну, я возьму пример несколько драстический, сравнение не есть уподобление – упрекать Кафку за то, что у него образы мирового правопорядка чрезвычайно неутешительны и несимпатичны, а вот какие красивые они были, скажем, у Данте.

Читая «Энеиду», ощущая гениально выраженную Вергилием несоразмерность между абсолютной серьезностью человеческой потребности в божественном миропорядке и пустотой тех образов божественного миропорядка, ко-

торые ему сейчас предъявлены, мы понимаем, почему через некоторое количество веков римляне примут христианство. Вергилиевская поэма открыта будущему. В ней нет – есть на уровне чисто словесном, композиционном, техническом, поэтическом, но на более глубоком уровне нет – пластической замкнутости и завершенности. Именно за счет того, что она открыта будущему, что она содержит в себе вопрос, на который должен быть найден ответ.

Вообще римская культура, великая римская культура (во всяком случае великая в своей литературе) отмечена существенной внутренней диспропорцией. В самом деле, бывают культурные эпохи, которые представляются нам очень внутренне соразмерными и пропорциональными, – замысел отвечает воплощению, художественная воля отвечает художественным возможностям, смысловое богатство отвечает формальному богатству и т. д. Такой была афинская культура V века до н.э., такой была культура флорентийского кватроченто.

Но бывают совсем другие эпохи. Эпохи, может быть, не менее великие, во всяком случае не менее плодотворные, которые не сбываются в том смысле, что задача, в них поставленная, решена быть не может и остается в качестве вопроса на будущие времена, в качестве источника внутренней тревоги; эпохи, когда слово, необычайно весомое и готовое стать одеждой для возвещения и пророчества и возвещения очень глубокого смысла, оказывается повисшим в воздухе и не может ни на что опереться, и не обретает этого смысла, которого оно было бы вполне достойно; когда поэты, которые ощущают в себе вполне достаточно силы, чтобы стать возвестителями нового смысла, новой эры, обновить человечество, создать новую возможность жизни, вместо этого всего-навсего пишут хорошие стихи – хорошие стихи остаются, но задумано все это было не так.

Ну, что-то в этом роде в недавней эпохе (чтобы не обращаться к слишком близким временам, которые мы не можем оценить), некоторое зрелище, подобное этому, являет эпоха немецкого романтизма, которая создала определенные ценности, но настоящая ценность которой так и осталась нереализованной и настоящий смысл которой заключен в ее проектах, в ее вопросах и в

[Здесь текст обрывается.]

Русское Средневековье³

Материал русского Средневековья хронологически будет охватывать допетровский период и для того, чтобы его можно было понять, частично и материал XVIII века. Обращение к этому материалу позволяет предположить, что явления, которые так легко можно было бы назвать явлениями карнавального типа и которые довольно часто так и называются... Ну, мы сейчас называем карнавальными и явления, связанные с календарным циклом русского фольклора, и такое своеобразное явление, как фигура древнерусского юродивого.

В ряде работ развивается мысль Эйзенштейна о том, что опричнина – явление, до сих пор историками однозначно не оцененное и в значительной мере загадочное, – представляет собой некий широко поставленный исторический карнавал. Такого же рода оценки применяются и к известным петровским поездкам с квазикрестным ходом, антикрестным ходом. Казалось бы, очень легко, даже напрашивается, истолковать их как факты карнавальной или смеховой культуры, факты исключительно важные, открытые М.М., и открытие это в полной мере сохраняет свою научную и культурную ценность. Но полагаю, что такого рода приравнивание мало что нам объяснит. Скорее мы просто употребим одно вместо употреблявшихся до сих пор других слов, производящее впечатление новизны, и этим создадим не знание, а некое квазизнание.

Я не берусь судить, в какой мере Рабле Бахтина есть Рабле. Но сейчас я исхожу из того, что Рабле Бахтина есть настоящий исторический Рабле. Если сопоставить его с теми текстами Гоголя, которые сопоставляются в работе Бахтина, то нельзя не заметить их существенного несовпадения. В гоголевских, так сказать, амбивалентных ситуациях не происходит никакого снятия трагизма. Смех делается отнюдь не разрешением ситуации, создается нечто, напоминающее скорее кошунственные ситуации, то, что называл Блок «попираньем заветных святынь» или же «холодом бездны». Это явления, которые находят параллели в других обрядовых натурологических традициях и не могут быть

объяснены словом «карнавальная», амбивалентная смеховая культура. Также, когда мы обращаемся к этнографическому материалу, мы обнаруживаем, что отношение самих участников явлений, как бы параллельных карнавалу, к карнавалу в общем иное. Речь идет не о том, чтобы некое противоречие, данное во внекарнавальной жизни, некая антитеза высокого мира добра и [пропуск] мира зла снималось в смеховой условной ситуации. Когда мы имеем дело с русским календарным обрядом, мы сталкиваемся с тем, что очень часто носители обряда понимают его не как избавление в смехе, искусстве и песне от мира зла, а как неизбежный грех. Очень часто выполнение, скажем, святочного цикла требует последующего покаяния. Его нужно сделать, он обязателен в определенных ситуациях, но он от этого не перестает быть грехом. Возьмите, например, текст о том, как девушки гадают у овина. Информантка говорит: «Ну, известно как: ну, кресты сняли, волосатика помянули», т. е. помолились черту. В эту минуту гадающие вступают в дьявольский мир. Это совсем не то, что имел в виду М.М., говоря о карнавале.

Таким образом, здесь мы сталкиваемся с несколько иным мироощущением и с иным смыслом сходных обрядов. Конечно, само сходство вряд ли может быть снято как случайное, и, вероятно, в определенном смысле оно в полной мере заслуживает рассмотрения. Но хотелось бы, чтобы за этим сходством не скрылась бы и существенная функция [пропуск].

Наблюдения разнообразных источников, их исследования, предпринятые в области древнерусских текстов, убеждают, что в пределах русского Средневековья человек в определенных ситуациях оказывался обязанным вести себя неправильно. И это неправильное поведение, оставаясь для него неправильным, не делаясь ни в коей мере амбивалентным, оставалось обязательным. Между прочим, здесь можно было бы привести и существенную разницу между представлением о членении загробного мира на рай, чистилище и ад и членением двучленным на рай и ад без всякого чистилища. Такого рода членение, казалось бы, не очень существенное, потому что загробный мир все-таки дело [пропуск], но для средневекового человека дело первостепенное.

Но дело в том, что это, казалось бы, не очень важное различие оказывало очень сильное влияние на реальное поведение при жизни, поскольку при трехчленном членении предполагалось, что человек может осуществлять нейтральное поведение в жизни, не быть святым и не быть грешником, потом пройти некоторое пребывание в чистилище и спастись. Между тем как в случае, когда чистилища нет, человек при жизни должен быть или святым, или грешником. Но святым было быть исключительно трудно, поэтому предполагалось, что человек на земле в общем осуществляет грешное поведение. Поэтому или же ему нужны заступники: вот он грешит, а кто-то за него молится – нужен какой-то, который осуществляет душевное спасение, или какие-то иные системы. Связанная с этими вещами проблема карнавала уже по этому одному признаку ставится в разных культурных ареалах принципиально по-разному.

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что для русского Средневековья исключительно важным было представление о моральной оценке разного рода пространств. Например, предполагалось, что есть безусловно святое место, место, в которое человек помещается в силу своего достоинства. И есть безусловно грешное место, причем место в прямом смысле, пространство на земле. И в связи с этим человек в ходе своей жизни перемещается: по своему достоинству или в грешные земли он идет, вот как Святополк, поскольку он убил брата, он побежал в грешные земли. Никем не гоним, никто его не преследует, ему только казалось, что его преследуют, и он побежал на запад между [пропуск], где и пропал. Кстати, в то самое место, куда побежал колдун в «Страшной мести». Этот географический путь совпал, видимо, не случайно: Гоголь очень тонко чувствовал дух восточноевропейского Средневековья.

С другой стороны, если человек праведный, то он также перемещается в пространстве – это вплоть до апокрифических текстов о человеке, взятом заживо [в рай?]: он настолько хорош, что для него уже нет перемещения в монастырь (первый шаг), ни хождения в святые земли (второй шаг), для него этого уже мало – он берется живым в рай. Точно так же, как очень плохому человеку, как, скажем, посаднику Щиру [?], велят при жизни лечь в гроб, и земля его

сейчас же поглощает, ибо для него тоже есть направленное движение, но уже в другую сторону.

В связи с этим путешествие в сознании средневекового человека Древней Руси (я только хочу подчеркнуть, что само понятие «средневековый человек», – конечно, непозволительная абстракция) имело всегда некий нравственный смысл. Оно или же было движением за светом, причем оно всегда было ступенчатым: по мере пребывания в каком-то месте надо было получить моральное право на движение в следующее место. Конечно, идти в святое место без внутреннего достоинства было невозможно, и не по нравственным причинам. Помните, как колдун у Гоголя пытался скакать на восток – он скакал на юго-восток, и все время оказывалось, что он скачет на запад? А когда он ударил коня, то вы помните, что конь сделал? Обернулся и засмеялся, поскольку конь ясно понимал, что любое движение колдуна – это движение на запад. Как вы знаете, в средневековом мире ориентация пространства такая: юг и восток представляют одно направление, и в той стороне рай, а север и запад – тоже одно направление, и в той стороне находится ад.

Это очень ясно описано в многочисленных текстах, включая и очень интересный спор попа Василия с тверским епископом Федором о том, есть ли рай и ад понятия мысленные, или же они есть понятия географически закрепленные. И спиритуалист и [пропуск] тверской [епископ] Федор доказывал, что это понятия умственные, а более реалистически настроенный Василий говорил, что нет, [ад?] – это за дышащим морем, т. е. где-то в районе Северного полюса. И в раю были – это юго-восток. Итак, пространство оказывается нравственно отмеченным.

Исследование «Хождения за три моря», предпринятое соавтором [?], показало с достаточной ясностью, что поведение Афанасия Никитина каждый раз диктуется тем [локусом?], в который он попадает, причем моральная и религиозная ответственность за поведение с него в данном месте снимается, и когда Афанасий Никитин советует православным христианам, которые поедут в землю Инд [пропуск], в Индию, воскликнуть «[пропуск]», он исходит из того, что [пропуск] есть та религия, которая достойна того места, и человек, попадающий в это место, обязательно также должен стать достойным или недостойным этого места.

Точно так же можно было бы отличать и [пропуск], поскольку само средневековое понятие мира включало очень широкое представление, и мир в широком смысле в копии повторялся в планировании поселения, в копии повторялся в планировании дома с его делением (не частного дома) на те места, которые были относительно нейтральны, и на грешные места в доме. И точно так же планировался храм: ведь не случайно, скажем, картины, изображающие ад и дьявола, могут размещаться только в определенном месте, так сказать, в низшем пространстве храма. Таким образом можно было бы [пропуск] и в пределах [пропуск] человека той поры разные оценочные места, где он должен был себя по-разному вести. Так, например, входя в баню, он снимал крест.

Мы можем сказать, что явления, аналогичные карнавалу, вернее, напоминающие карнавал в таком виде, в каком он описан Бахтиным, представляют здесь не столько смену индивидуального поведения, идущего к амбивалентному снятию противоречий в культуре, сколько перемещение, при том, что сама культура [пропуск] и мира остается неизменной. Это приводит к тому, что даже резкие сдвиги в культуре, как правило, создают не некую новую систему, а приводят к актуализации низшей сферы и к переводению высшей сферы в низшую, но сам принцип распределения остается очень четким.

Докладчик позволит себе привести такой пример. В древнерусской средневековой литературе широко представлена полемическая литература против язычества. Эта полемическая литература держится до церковного раскола XVII века, а потом полностью замещается полемической литературой нового стиля, но в одних текстах место язычества занимает никонианская церковь, а в других текстах – старообрядческая. Но сама схема остается неизменной.

Таким образом, если в понимании М.М. амбивалентная ситуация имеет культурную ценность тем, что [снимает?] жесткие ограничения, существующие в некарнавальном мире, и таким образом создает некоторого другого типа действительность, отмену внекарнавальной классификации, то в тех явлениях, о которых мы говорим, меняются места ценности. Человек иногда оказывается вынужденным вести себя не так, как надо себя вести, но сама шкала остается неизменной и скорее даже утверждает эти переме-

ны. Это оказывается исключительно существенным для динамики культурных явлений и позволяет им проявить очень большую устойчивость.

Когда мы говорим о некоторых закономерностях такой вот внутрикультурологической системы, мы не перечисляем все закономерности. Сама культура – явление настолько гетерогенное и сложное, что вообще перечислить ее закономерности представляется задачей если не невозможной, то превосходящей мою компетенцию. Поэтому, конечно, и позже в средневековой русской культуре можно указать на другие тенденции и другие процессы. И эта устойчивость явлений средневековья особенно проявляется, когда мы взглянем на период резких и глубоких сдвигов, произошедших в Петровскую эпоху. То, что Петровская эпоха сдвинула структуры русского Средневековья, доказывать не стоит. Не менее часто и не менее решительно высказывалось и противоположное мнение – о том, что по сути дела ничего не изменилось, затронут лишь поверхностный слой внешне европеизированной культуры.

Оба высказывания представляются односторонними. Петровская эпоха глубоко сдвинула русскую культуру, но исключительно интересно то, что сдвиги эти привели в значительной мере к актуализации средневековых форм, а не только к их уничтожению. То, что людьми Петровской эпохи воспринималось как европеизация. (Кстати, нужно сказать, что европейцы не воспринимали изменений как [европеизацию?]. Когда мы берем документы европейских путешественников XVIII века, то у них нет представления, что петербургский быт, скажем, им понятней, чем московский. Мы не встречаем текстов, в которых говорится, что московский провинциальный быт – это Азия, а вот в Петербурге они как дома. Напротив, петербургский быт кажется европейским путешественникам наиболее загадочным и наиболее далеким от того, что в их сознании связано с[Европой?].)

Между тем столь энергично проводимая и бесспорно субъективно ориентированная на Европу деятельность и в определенном смысле безусловно приводившая объективно к сдвигам в сторону европейского быта, одновременно приводила и к актуализации очень архаичных форм быта и в значительной мере не расшатывала, а укрепляла средневе-

ковье. Позволю себе привести несколько примеров, которые покажут, что петровская новизна не только объективно, но и субъективно ориентировалась на старину.

Все мы знаем, какое значение для XVIII века имеет путешествие. И новая эпоха начинается с путешествия – великое посольство: Петр едет в Голландию. Но вместе с тем отчетливо видно по осознанию и самого Петра и его современников, что схема этого путешествия в сознании людей Петровской эпохи навязана схемой путешествия к святым местам, только здесь поменяны знаки: запад делается местом света, и за светом едут в Голландию. То, что Голландия выполняет здесь некоторую сакральную функцию, подтверждается такими красноречивыми фактами. Еще в 40-е годы XIX века известный всем профессор Никитенко по служебным своим обязанностям, по службе в департаменте просвещения, осуществлял инспекционную поездку по русскому Северу. В Архангельске он видел крест, сделанный Петром, и на кресте была надпись. Надпись на кресте, естественно, может быть на церковно-славянском языке. Эта надпись руки Петра была сделана по-голландски. Таким образом, сохранилось сакральное место, сохранился текст и сохранилось представление о том, что сохранился сакральный язык. Но этот сакральный язык был подменен, и этот голландский текст выполнил функцию церковно-славянского языка.

Не менее показательным и отношение к такому существовавшему для XVIII века и вошедшему в лексикон XVIII века и через лексикон XVIII века вошедшему в наш научный язык термину «просвещение» и «просветить». Судьба этого термина особенно показательна. Термин «просветить», с одной стороны, в русской публицистике XVIII века отчетливо сознаваемый сознательный перевод с французского термина. Это отчетливый европеизм. Но вместе с тем слово «просветитель» было прекрасно известно. Этим словом начинается в церковной системе апостол, который вносит свет в страну. Просветитель Руси – князь Владимир. До него еще можно считать просветителем апостола Андрея. Не случайно основные ордена XVIII века – это ордена Андрея Первозванного и Владимира. Но дело даже не в этом.

В начале XVIII века известный всем церковный и государственный деятель Феофан Прокопович пишет письма

[пьесу?] о Владимире. Сюжет – крещение русской земли, и крещению этому сопротивляются языческие жрецы, охваченные эгоизмом и невежеством, а Владимир вносит свет. Это действо имело отчетливо публицистический характер с ясным перенесением роли Владимира на Петра, а роли языческих жрецов – на Стефана Яворского. С полной мерой оказывается, что Петр – просветитель, а церковные деятели – антипросветители. Для того чтобы создать трагедию по европеизации Руси, берется традиционная церковная [пропуск], традиционная система в терминах, традиционная система амплуа, но они меняются местами. Казалось бы, естественней было бы Петра изобразить бунтарем против Средневековья, но для Феофана Прокоповича все совершенно ясно: Петр выполняет функцию нового Владимира, а Стефан Яворский оказывается функцией языческого жречества.

Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что то, что воспринимается как новизна, отливается в устойчивые традиционные формы. Происходит не амбивалентное снятие старых форм, а, напротив того, заполнение их же некоторыми новыми понятиями или перевертывание [пропуск]. При этом можно было бы сказать, что наряду с актуализацией допетровской средневековой системы (даже очень важное слово для Петровской эпохи «новые люди», оно встречается и в публицистике XII века в значении «новокрещенные люди», «новохристианский народ») мы можем отметить в этом пласте новой культуры актуализацию и еще более старой культуры.

Так, например, в реальном быту русского послепетровского дворянства, осознаваясь как сближение с европейским бытом, происходит актуализация дохристианского. Например, ни в какой из европейских стран нельзя найти параллели тому, что получило широкое распространение после Петра, а до Петра в русском быту было неизвестно, – факт существования крепостных гаремов. Между тем это факт отнюдь не уникальный. При этом очень интересно отметить, что для людей, связанных с этой весьма распространенной чертой дворянского быта XVIII века, сам гарем воспринимался как форма европейской жизни. Можно было бы привести примеры из мемуаров, дающие очень подробное описание этого устройства: 12–15 девок, при этом есть жена, есть половина семейная, есть половина гаремная. Но

как только девушку из крестьянской семьи берут в гарем, ее одевают в европейское платье и начинают учить французскому языку. Разжалование из гарема, само наказание – в одевании в русское платье и в ссылке обратно в деревню.

Сам Неверов, который по молодости лет, ему было 7 лет, имел вхождение в гарем (другие мужчины не могли входить туда – имелась нейтральная зала, где с этой стороны стоял мужчина-лакей, а с той – начальница гарема), в гареме от крепостных девушек выучил на слух «Бахчисарайский фонтан» Пушкина (дата мемуаров – 20-е годы XIX века), познакомился с Байроном. Это была действительно европеизированная среда. Девушек учили играть на клавесине, им воспрещалось петь крестьянские песни. Это казалось недостойным, слишком престижно низким для населения гарема. Факт, о котором я говорю, не единичный, хотя, конечно, письменные источники фиксируют далеко не все, но попытка создать картотеку гаремов XVIII века позволяет судить об исключительно широком распространении этого явления.

Можно было бы говорить и о других возрождениях языческого быта или же не обязательно языческого русского, поэтому это не возрождение, а некоторая странная культурная реконструкция. Правда, это нельзя связать с сознательным обращением культуры 70-х и последующих годов к псевдоязычеству, поскольку это чистый быт. Вероятно, граф Аракчеев, человек неграмотный или малограмотный, никакого отношения к культуре предромантизма не имел и не осознавал, что он совершает кощунственный поступок, когда поставил в своем саду бюст Павла и делал перед этим бюстом жертвоприношения: он перед тем, как приступить к завтраку, чашку кофе выливал к подножию бюста. Но вместе с этим актуализировались и другие представления, более связанные с реальным дохристианским бытом: он неизменно ставил для Павла прибор. При этом нужно сказать, что Аракчеев все-таки был затронут европейским влиянием – он ведь побывал с Александром в Париже и вывез оттуда столовый огромный сервиз, украшенный исключительно непристойными рисунками, который он держал для интимного круга гостей.

Таким образом, можно говорить о том, что то, что так покрывается словом «европеизация», или же складывание

нового в значительной мере представляет явление куда более сложное. И явление, в котором причудливо соединяются черты действительно сдвинутого быта и сдвинутой культуры и черты, обнаруживающие исключительную устойчивость традиционных культурных форм. При этом хотелось бы отметить, что сдвиги, произведенные в Петровскую эпоху, действительно были реально глубоки. И здесь мы снова сталкиваемся с вопросом, который поставлен М.М. Бахтиным. И я думаю, что как бы мы ни спорили с М.М. Бахтиным, то, что мы с ним спорим, означает, что мы обращаемся к поставленным им проблемам, к проблемам, которых не было до того, как он писал. Я думаю, что именно такой диалог есть наибольшее измерение жизненности написанного М.М.

Когда мы обращаемся к другой стороне русской жизни послепетровской эпохи, то обнаруживаем, что черты, напоминающие карнавализацию, есть, но проявляются они не в тех, казалось бы, внешне эффектных сопоставлениях, сходных с тем, о чем писал М.М., а, может быть, в вещах несколько другого плана. Когда мы обращаемся к быту послепетровской эпохи, мы замечаем в достаточной мере любопытные вещи. Всякий культурный быт, как правило, делится на более или менее осознанные две сферы: на сферу такого поведения, которое самим носителем осознается как не-знаковое, ничего не значащее – вот так просто себя веду, – и на поведение социально значимое, тяготеющее к ритуализации, к выделению значимого жеста, значимой одежды, значимых форм поведения.

Очень отчетливо, скажем, поведение в праздничной ситуации и в обычной. Разница между этими двумя типами поведения состоит в том, что значимость бытового поведения самим носителем не ощущается. Не случайно обычную жизнь описывают, как правило, иностранцы, которые, попадая в этот коллектив, не знают, что здесь ритуально и значимо, а что здесь повседневно-бытово. Между тем как сами носители склонны фиксировать формы ритуализованно-праздничного поведения и почти никогда не фиксируют то, [про] что говорится: это и так все знают. При этом естественно, что обычное поведение не имеет фиксированных норм, и люди усваивают его не по учебникам и не от учителей, а от непосредственного погружения в среду, между тем

как разные формы ритуального поведения имеют тяготение закрепляться в наставлениях, в учебниках и быть руководимыми нормой.

Такого рода членение отчетливо существовало и в допетровскую эпоху. В послепетровском обществе в этом смысле произошел существенный сдвиг. Я имею сейчас в виду только дворянское сословие, поскольку в новом, как называл Петр, регулярном государстве регламентации подлежало не только публичное, но и частное поведение, и частная жизнь должна была быть перестроена по европейско-голландскому образцу. Человек начала XVIII века оказался в несколько странном положении: он должен был учиться бытовому поведению как чужому поведению. И должен был усваивать то, что, казалось бы, дается интуитивно, непосредственно из общения в бессознательном детском возрасте, во взрослом возрасте.

При этом очень характерно, что опять сохранилась резкая граница свое – чужое, но поменялась местами: чужое должно было стать своим, а свое должно было стать чужим. В известном всем источнике «Юности честное зеркало» говорится, как надо вести себя благовоспитанному юноше: «надо вообразить, что с иностранными обращаешься». Вот в быту надо представить себе, что твои собеседники – иностранцы, и тогда твое поведение будет правильным. И при этом даются указания о том, как осуществлять не ритуальные, а бытовые действия. Таким образом, бытовое поведение из сферы бессознательного переходит в сферу сознательного, из сферы, не имеющей метаописания, переходит в область описываемую, и учатся бытовому поведению не как родному языку, а как чужому языку, по грамматике, и даются учителя грамматики, и таким образом оказывается, что дворянин погружен полностью в чужой быт и должен вести себя как человек, всегда находящийся в ритуальной ситуации.

На святки крепостные допускаются в театр. На святки крепостные одеваются в вывернутую одежду, в антиодежду, которую ключница им потихоньку дает из кладовой. Одеться гусаром или одеться в дворянский мундир, как одеться в немецкое платье, – это значит одеться чертом. И вместе с тем одеться [пропуск]. С одной стороны, происходит исключительно широкая теат-

рализация дворянского быта. Ну, можно в порядке курьеза назвать одного московского барина, который был меломан. Это был [пропуск] меломан и построил свой дом как непрерывную оперу: кучера были басы, лакеи были тенора, все голоса, и сам он разговаривал с ними только речитативом. Но, выходя за порог дома, все должны были музыку кончать. Таким образом, дом воспринимался как некая оперная сцена и жизнь представлялась некоторой непрерывной оперой. Такого рода театрализация воспринималась не только как сцена для сцены, но все время присутствовала и публика.

Когда, например, в одних мемуарах рассказывается о человеке, который прошел трудный путь, угодил в тайную канцелярию, там его гладили по спине горячим утюгом, вырывали ему ногти для того, чтобы выяснить, в чем он виноват. В конечном счете его выпустили, и он потом в своем доме жил, превратив свою жизнь в постоянный спектакль. Был строгий сценарий, он повторялся, он даже был выдержан точно в [пропуск] стихе, но при этом все время присутствовала публика: крестьяне и дворовые могли [пропуск], а за это девки с чердака должны были окатывать их водой. Публика допускалась, но в таком вот балаганном виде. Итак, этот расчет на зрителя означал нечто не внешнюю черту. Дело в том, что подражание театру имело только [...пропуск одного или нескольких слов] и, может, стало не самой важной чертой этого специфического быта, включавшего в себя элементы того, что можно сопоставить [?].

В дальнейшем происходила эволюция, которую легко можно было бы назвать складыванием поэтики бытового поведения. Если вначале речь шла о фиксации простого быта и превращении его в быт ритуальный, то в дальнейшем явно выделяются амплуа, и разного рода деятели XVIII века уже довольно свободно выбирают такое амплуа-маску, по которому строят свою реальную биографию, и это закономерно приводит к тому, что подобное поведение человека оказывается в значительной мере предопределенным той маской, которую он себе придумал: маской богатыря, например, человека, который обязан по всем жизненным показателям делать что-то, превосходящее возможности обычного человека. Кстати,

такого рода богатейство – это первая форма складывания амплуа чисто комического. А сама реальная жизнь начинала напоминать такую [comedia del'arte?], где можно прибавлять еще и еще и еще один эпизод, но не выпадать из маски.

Но в дальнейшем можно заметить значительное влияние трагедии, особого театрального жанра, и выбора тем или иным человеком для себя определенной роли из современного ему театра, что, естественно, в конце XVIII века ставит перед людьми вопрос, который, казалось бы, не должен и стоять: вот, каков будет мой пятый акт, и вопрос, какой будет моя гибель, [станет] для поколения 1800-х годов одним из основных стимулов бытового поведения. Театральный, эффектный, благородный пятый акт оказывается кульминацией жизни.

Но хотелось бы подчеркнуть, что в этом существенно измененном обществе осталась одна характерная черта. Подобно тому, как в календарном обряде есть представление о том, что хотя наряжаться и надо, но это все-таки грешное поведение, которое требует очищения, подобно тому, как представление о том, что у господ все время праздник и что это грех и что поэтому господа ведут в принципе грешную жизнь, – оно было свойственно не только зрителю, оно исключительно [сильно?] влияло к началу XIX века на поколение людей [пропуск] интеллигенции и требовало от них покаяния.

Вот это участие в жизненном празднике естественно воспринималось как нечто, в чем нужно раскаяться и что требует искупления, за что следует принести повинную, о чем очень ясно говорил [пропуск] в западной поездке, что было важно и для декабристского поколения и что потом породило тот тип, который был назван михайловским и еще до него типом кающегося дворянина, очень характерно именно для людей послепетровской эпохи.

Между тем как те люди базаровского типа, которые разорвали с этой культурой бытового театра, одновременно утратили и жажду покаяния, и чувство своей вины. Конечно, для чувства своей вины были и иные социальные причины, которые чувствовали и сами современники и которые остро ими переживались.

<3>
История⁴

Я тоже как-то, должен сказать, не совсем понимаю, что такое классическая история, которая состоит из фактов и не состоит из образов. Но если Фукидид – это вроде бы история, то как история это все одни сплошные образы. Я не знаю, слово «классическое» – слово опасное, не ясно, какая же эпоха называется классической.

Мне очень недостает, например, в нашей историографии, что хотя об угнетенных вроде бы говорится довольно много, но слишком часто говорится, что их положение было невыносимым, и слишком редко говорится, в какой степени их [пропуск] и сколько у них было примерно дней в году, когда они могли плясать и петь и т. д. Но так же как цены на хлеб и у кого были лучше мечи – это страшно интересно, это всякий раз человеческая ситуация, это не просто меч, который лучше, но человек, у которого меч лучше, и человек, у которого меч хуже. Но когда история занималась только этим, это было сравнительно недавно, когда она занималась только этим и не очень продолжительно, и я не думаю, что это классика, это период новшества. Но классическая история – все-таки, наверное история людей, и как она строилась – это другое дело, что мы видим образ существенно иначе, чем Фукидид, чем [пропуск] и многие другие почтенные люди. Но я не знаю, примерно с половиной вещей – это ближе мне по роду занятий – которые [пропуск].

...Вроде бы классик, когда я читаю его книгу об эпохе Константина, которая относится к области моих занятий, я по существу даже могу там не соглашаться примерно с половиной того, что там говорится. Отчасти это потому, что известные мне уже изученные, уже сгруппированные факты... Факты – почтенные вещи, я никак не думал на них замахиваться. Боже избави, и факты и образы – это вообще вещи, не противоречащие друг другу. Что касается ситуации, когда А убил В – если бы когда-нибудь была бы история, в которой ничего не говорилось бы, что А убил В еще и потому, что А был храбрее, или ему было весело сражаться, или что он привык сражаться больше, чем В, или что-нибудь еще, а только что...

[На этом текст обрывается.]

Подготовка текста В. Василевской и Н. Кулаковой

¹ Подборка публикуемых лекций носит случайный характер. Благодарим В.Л. Василевскую, которой принадлежат идея их публикации и общее редактирование. – *Ред.*

² Была прочитана в рамках курса лекций по античной литературе зимой 1969/70 г. в здании гуманитарных факультетов МГУ на Моховой ул. в так называемой «Тихомировской» аудитории (самой большой в здании). Запись Ирины Замойской.

³ Название условное. Лекция была прочитана в одном из литературных музеев в 1975/76 г. Магнитофонная запись получена от Леонида Невлера из журнала «Декоративное искусство». Подготовка текста Н.Н. Кулаковой.

⁴ Отрывок из конспекта лекции. Название условное. Время и место прочтения лекции не установлены.

Приложение 4

Курсы лекций,
прочитанные С.С. Аверинцевым
в Венском университете

Зимний семестр 1994/95 г.

Religiöse Motive in der russischen Literatur // Религиозные мотивы в русской литературе

Probleme der russischen Lyrik (in russischer Sprache) // Проблемы русской лирики (на русском языке)

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten // Литературоведческий семинар для русистов

Летний семестр 1995 г.

Russische Literatur I // Русская литература I [старая русская литература]

Die Rezeption der europäischen Dichtung bei Vasilij Žukovskij // Восприятие европейской поэзии В. Жуковским

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten // Литературоведческий семинар для русистов

Зимний семестр 1995/96 г.

Russische Literatur II // Русская литература II [новая русская литература]

Der russische Symbolismus und Postsymbolismus //
Русский символизм и постсимволизм

Russisches Slawophilentum und polnischer Messianismus // Русское славянофильство и польский мессианизм

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten:
Altrussische Hagiographie // Литературоведческий семинар
для русистов: Древнерусская агиография

Летний семестр 1996 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Die Lyrik Anna Achmatovas // Лирика Анны Ахматовой

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten //
Литературоведческий семинар для русистов

Зимний семестр 1996/97 г.

Russische Literatur II // Русская литература II

Der russische Vers im slawischen Kontext // Русский
стих в славянском контексте

Vjačeslav Ivanov: Aspekte der russischen Moderne //
Вячеслав Иванов и черты русского модерна

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten //
Литературоведческий семинар для русистов

Летний семестр 1997 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Russische sakrale Diglossie (Russisch versus Kirchenslawisch) und ihre Auswirkungen auf Sprachpsychologie und literaturwissenschaftliche Forschung

garisches Sprachgefühl // Русское сакральное двуязычие (русский язык vs церковно-славянский) и его воздействие на психологию языка и литературное чутье языка

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Neoklassizismus in der russischen Lyrik von Vladislav Chodasevič bis Bachyt Kenžeev // Литературоведческий семинар для русистов: Неоклассицизм в русской лирике от Владислава Ходасевича до Бахыта Кенжеева

Зимний семестр 1997/98 г.

Russische Literatur II // Русская литература II

Das Phänomen Puškin im europäischen Kontext // Феномен Пушкина в европейском контексте

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Prosa Gogol's // Литературоведческий семинар для русистов: Проза Гоголя

Летний семестр 1998 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Religiöse Themen der russischen Literatur in komparatistischer Sicht // Религиозные темы русской литературы в сравнительном аспекте

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Versdichtung // Литературоведческий семинар для русистов: Лирика

Зимний семестр 1998/99 г.

Russische Literatur II // Русская литература II

Konversatorium zur Vorlesung «Russische Literatur II» // Собеседование к курсу лекций «Русская литература II»

Die russische Moderne // Русский модерн

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Prosa Dostoevskijs // Литературоведческий семинар для русистов: Проза Достоевского

Летний семестр 1999 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Pasternak im Kontext seiner Zeit // Пастернак в контексте своего времени

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Puškin: Versdichtung und Prosa // Литературоведческий семинар для русистов: Пушкин: Поэзия и проза

Летний семестр 2000 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Mandel'stam: Lyrik und Prosa // Мандельштам: Лирика и проза

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Prosa Leskovs // Литературоведческий семинар для русистов: Проза Лескова

Зимний семестр 2000/01 г.

Russische Literatur II // Русская литература II

Konversatorium zur Vorlesung «Russische Literatur II» // Собеседование к курсу лекций «Русская литература II»

Europäische Dichter im Spiegel russischer Nachdichtungen // Европейские поэты в зеркале русских переложений

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Russische Übersetzungen deutschsprachiger Dichter, deutschsprachige Übersetzungen russischer Dichter // Литературоведческий

семинар для русистов: Немецкая поэзия в русских переводах, русская поэзия в немецких переводах

Летний семестр 2001 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Die russische Moderne // Русский модерн

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Prosa Gogol's // Литературоведческий семинар для русистов: Проза Гоголя

Зимний семестр 2001/02 г.

Russische Literatur II // Русская литература II

Konversatorium zur Vorlesung «Russische Literatur II» // Собеседование к курсу лекций «Русская литература II»

Russische Versdichtung zu Beginn des Puškinschen Zeitalters: Krylov, Žukovskij, Batjuškov, Katenin // Русское стихосложение в начале пушкинского времени: Крылов, Жуковский, Батюшков, Катенин

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Altrussische Hagiographie // Литературоведческий семинар для русистов: Древнерусская агиография

Летний семестр 2002 г.

Russische Literatur I // Русская литература I

Russische Verskunst in historischer Sicht // Русское стихосложение в исторической перспективе

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Die Prosa Tolstojs // Литературоведческий семинар для русистов: Проза Толстого

Зимний семестр 2002/03 г.

Russische Literatur I // Русская литература I [с этого семестра как новая русская литература согласно измененному учебному плану]

Mandel'stam: Lyrik und Prosa // Мандельштам: Лирика и проза

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Hauptströmungen der russischen Moderne // Литературоведческий семинар для русистов: Центральные течения русского модерна

Летний семестр 2003 г.

Russische Literatur II // Русская литература II [с этого семестра как старая русская литература согласно измененному учебному плану]

Marina Cvetaeva: Lyrik und Prosa // Марина Цветаева: Лирика и проза

Literaturwissenschaftliches Seminar für Russisten: Russische Übersetzungen deutschsprachiger Lyrik, deutschsprachige Übersetzungen russischer Lyrik // Литературоведческий семинар для русистов: Немецкая поэзия в русских переводах, русская поэзия в немецких переводах

¹ С.С. Аверинцев читал лекции летнего семестра 2003 г. только до середины мая; чтение лекции по русской литературе и проведение литературоведческого семинара взял на себя С. Симонеко. В зимних семестрах 1994/95, 1996/97 гг. и в летних семестрах 1995, 1996 гг. С.С. Аверинцев не уточнил темы литературоведческих семинаров. Спецкурсы С.С. Аверинцева для его дипломников и диссертантов (Privatissima für Diplomanden und Dissertanten) в список не включены.

Подготовлено С. Симонеком

Приложение 5

Из переписки с С.Н. Есиным

Отступление от романа, или в сезон засолки огурцов.
Педагогические этюды и размышления об искусстве стать писателем. М.: Советский писатель, 1994. С. 169–177.

Главному редактору журнала «Столица»
А.В. Мальгину

Глубокоуважаемый господин Мальгин!
Дорогой Андрей!

В конце августа я получил письмо от нашего замечательного ученого, С.С. Аверинцева. На этот раз он выступал в своей другой ипостаси – в качестве председателя Мандельштамовского общества. Письмо касалось: мемориальной доски, находящейся на стене института рядом с окном открывшегося пункта обмена валюты, с которого мы, в известной мере, «кормимся». Первое движение у меня было – черт с ним! Со студентами, со сложностью жизни – все к чертям собачьим позакрывать, ежели наши крупнейшие сердцеведы и ученые не понимают невыносимой сложности экономического момента. Но потом я одумался, в конце концов, студенты, преподаватели, самочувствие института мне дороже, и, отвечая на письмо глубокочтимого Сергея Сергеевича, я попытался объяснить все. Но по мере написания я вдруг обратил внимание – изнутри какой «башни из

слоновой кости» написано это письмо мэтра! Ответное мое письмо получилось большое, и тут я понял, что оно имеет некое даже общественное, простите меня за смелость, значение, и в такой ситуации, увы, могут оказаться многие, многие и многие, а не один институт. В общем, дорогой Андрей, решите: стоит ли печатать. На всякий случай я Вам посылаю и письмо и ксерокопии письма Сергея Сергеевича. Можно ли предавать огласке почти личное письмо? С другой стороны, чего же помалкивать, когда все письма пишутся на бланках и звучат как бумаги весьма официальные.

С уважением и надеждой на Вашу неизменную доброжелательность к Литинституту и его ректору
С. Есин

Ректору Литературного института
Сергею Николаевичу Есину

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич!

Как известно, Осип Эмильевич Мандельштам проживал по адресу Тверской бульвар, 25 дважды – и в двадцатые, и в тридцатые годы. В год столетнего его юбилея – в январе 1991 года была открыта поразительная мемориальная доска в его честь работы скульптора Дмитрия Шаховского. Висит она поблизости – и вместе с тем на тактично-почтительном расстоянии – от другой доски, Андрею Платонову.

Чего, к сожалению, не скажешь о знаменательной новации последних месяцев: пункт обмена валюты не постеснялся распахнуть свое многоприбыльное окошко в считанных сантиметрах от мандельштамовской доски!

Соседство, согласитесь, не самое естественное, вопиюще наглядно нарушающее не только человеческие (что подчеркивает и ряд поступивших в Общество обращений), но и юридические нормы: критерии охранной зоны мемориальной доски здесь, со всей очевидностью, нарушены.

На наш запрос держатели пункта адресовали нас во Всероссийский биржевой банк, под шапкой которого он действует, однако договор между ними, естественно, не со-

держит в себе арендных взаимоотношений. Поэтому – также в силу давних отношений, установившихся у Мандельштама с литературой, а у Мандельштамовского общества – с Литературным институтом (наше учредительное собрание проходило в Ваших стенах!), мы обращаемся к Вам, Сергей Николаевич, не сомневаясь в том, что Вы сумеете разрешить эту проблему.

Не думайте, пожалуйста, что мы не догадываемся о возможном значении этого пункта для бюджета института и призываем Вас разорвать договор об аренде. Конечно, догадываемся, но к тому, чтобы внести коррективы в этот договор, мы все-таки решаемся Вас призвать. Ибо в Вашей власти найти взаимоприемлемое решение, например, выделить другое помещение, окнами выходящее, скажем, во двор. Или же, как это сделано в ЦДЛ и других местах: обслуживание внутри, а не извне здания. При этом сама меняльная контора не пострадает, «гарантом» чего является ее фантастически центральное положение в городе.

Зато замечательный уголок, освященный гениями российской словесности, а с ним и честь Литинститута будут избавлены от культурной бестактности и, в определенном смысле, спасены.

С уверенностью в Вашем солидарном понимании и с призывом выправить положение

Сергей Аверинцев,
председатель Мандельштамовского общества

Мандельштамиана Сергея Аверинцева

Библиография

Составление и редактирование

Осип Мандельштам. Сочинения. В 2 т. Т. 2: Проза. Переводы / Сост. С.С. Аверинцев и П.М. Нерлер. Подгот. текста и комм. П.М. Нерлера и А.Д. Михайлова. М.: Художественная литература, 1990. 464 с.

Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования / Ред.: С.С. Аверинцев, В.М. Акаткин, В.Л. Гордин, О.Г. Ласунский, А.И. Немировский, П.М. Нерлер, Т.А. Никонова, В.А. Свительский, Ю.Л. Фрейдин. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. 544 с.

Статьи

Вместо послесловия // Осип Мандельштам. Последние творческие годы. Стихи. Письма. Воспоминания о поэте. [Предисловие Э. Герштейн; Публикация «Стихов о неизвестном солдате» и комментарий И.М. Семенко; Публикация писем родным и комментарий Е.П. Зенкевич и П.М. Нерлера; Н. Штемпель. Мандельштам в Воронеже; С.С. Аверинцев. Вместо послесловия] // Новый мир. 1987. № 10. С. 234–236.

Ранний Мандельштам // Знамя. 1990. № 4. С. 207–212.

- Ответ на анкету журнала «Вестник Русского христианского движения» // Вестник Русского христианского движения. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1990. № 160. С. 187–191.
- Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления // Известия АН СССР. Сер. Литература и язык. 1990. № 3. С. 213–217.
- Судьба и весть Осипа Мандельштама // Осип Мандельштам. Сочинения. В 2 т. Т. 1: Стихотворения. М.: Художественная литература, 1990. С. 5–64.
- На пороге новых дней: Мандельштам и революция // Голос. 1991. № 3. 19–25 янв. С. 12.
- Конфессиональные типы христианства у раннего Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. М.: Наука, 1991. С. 287–297.
- «Были очи острее точимой косы...» [О книгах Н.Я. Мандельштам] // Новый мир. 1991. № 1. С. 237–242.
- Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления // «Быть знаменитым некрасиво»: Пастернаковские чтения. Вып. 1. М.: Наследие, 1992. С. 4–9.
- «Золотистого меда струя из бутылки текла...» // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Тинафли: Эрмитаж, 1994. С. 18–20.
- «Чуть мерцает призрачная сцена...»: подступы к смыслу // «Отдай меня, Воронеж!..» Третьи Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1994. С. 116–122.
- Судьба и весть Осипа Мандельштама // С. Аверинцев. Поэты. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 189–273.
- Так почему же все-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6. С. 216–220.
- Хорей у Мандельштама // Сохрани мою речь. Вып. 3–4. Записки Мандельштамовского общества. М.: Изд-во РГГУ, 2000. Т. 10. С. 42–54.
- Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28–29 декабря 1998 г.). М.: РГГУ, 2001. С. 17–23.
- Поэзия под вопросом: Мандельштам и другие. [Из незавершенной книги «Знамения времени». Глава девятая.] // In Memoriam. Сергей Аверинцев / Отв. ред. и сост. Р.А. Гальцева. М.: ИНИОН, 2004. С. 287–289.

«Die fremde Sprache sei mir eine Hülle...». Ossip Mandelstam denkt an Ewald von Kleist // Sergei Awerinzew. «Die fremde Sprache sei mir eine Hülle...»: Essays und Vorträge. Wissenschaftliche Redaktion und Vorwort: Rosemarie Ziegler. Wien: Verlagshaus «Pereprawa», 2005. S. 145–164.

Фонозаписи

С.С. Аверинцев читает стихотворения О.Э. Мандельштама «Неумолимые слова...», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Как землю где-нибудь небесный камень будит...» // Осип Мандельштам. Звучащий альманах. М.: Государственный литературный музей, [2003].

Составили П. Нерлер и Д. Мамедова

Contents

<i>The Foreword by the Compilers</i>	9
Mandelstam Studies by Sergey Averintsev	11
<i>S.S. Averintsev's</i> Articles on Mandelstam	
“We are sensists...”	19
S.S. Averintsev's Answers to a Questionnaire of Vestnik Russkogo Khristianskogo Dvizhevnia (The Bulletin of the Russian Christian Movement) Journal	29
Pasternak and Mandelstam: a Comparative Attempt	37
The Fate and Message of Osip Mandelstam	120
“The Golden Honey Flowed From The Bottle...”	123
Still, why Mandelstam?	132
“The City of Misfortune, the City of Exile”	134
Mandelstam's Trochee	134
Fear as Initiation: One Thematic Constant in Mandelstam's Poetry	147
The Introduction to Elena Glazova's Mandelstam's Poetics: Shift to Post-Modernism	155
Excerpts from the Correspondence about Osip Mandelstam	159
In Memoriam of Joseph Brodsky	165

The Draft to the Article “Fear as an Initiation: One Thematic Constant in Mandelstam’s Poetry”	166
--	-----

Appendices

1. The Reminiscences about S.S. Averintsev	171
2. S.S. Averintsev’s Tribute Meeting at RSUH	218
3. S.S. Averintsev’s 1970s Lectures Memos	257
4. Lecture Courses Delivered by S.S. Averintsev at the University of Vienna	300
5. Excerpts from the Correspondence with S.N. Yesin	306
Sergey Averintsev’s Mandelstam Studies (Bibliography)	309

Averintsev and Mandelstam: Articles and Materials.

This book is dedicated to the memory of the eminent Russian academic S.S. Averintsev, one of outstanding researchers of Osip Mandelstam's poetry. The collection includes Averintsev's articles and letters containing analysis of the poet's creative work. The appendices contain a number of reminiscences about Averintsev as well as the previously unpublished notes of his lectures. The bibliography of the academic's published works on Mandelstam concludes the publication.

The book is recommended for the specialists, graduate and postgraduate students as well as people interested in S.S. Averintsev's creative output.

А19 **Аверинцев и Мандельштам: Статьи и материалы** / Под ред. Д.Н. Мамедовой. М.: РГГУ, 2011. 311 с. (Записки Мандельштамовского общества. Вып. 17.) ISBN 978-5-7281-1182-5

Книга посвящена памяти выдающегося русского ученого С.С. Аверинцева, одного из самых глубоких исследователей поэзии Осипа Мандельштама. В сборник вошли статьи и письма Аверинцева, содержащие анализ творчества поэта. Приложения включают подборку воспоминаний об ученом, а также ранее не публиковавшиеся конспекты его лекций. Завершает сборник библиография публикаций С. Аверинцева о Мандельштаме.

Для специалистов, студентов, аспирантов, а также всех интересующихся творчеством С.С. Аверинцева.

УДК 82(08)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6я43

Научное издание

Аверинцев и Мандельштам

Статьи и материалы

Редактор *Е.К. Солоухина*
Художественный редактор *М.К. Гуров*
Технический редактор *Г.П. Каренина*
Корректор *Т.М. Козлова*
Компьютерная верстка *Е.Б. Рагузина*

Подписано в печать 20.12.2010.
Формат 84×108¹/₃₂
Усл. печ. л. 16,4.
Уч.-изд. л. 16,5.
Тираж 300 экз. Заказ № 375

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Тел. 8-499-973-42-00